СТРАННАЯ ПТИЦА

×

МЕРТВЫЕ АСТРОНАВТЫ



ДЖЕФФ ВАНДЕРМЕЕР

fanzon

Странная птица. Мертвые астронавты

Джефф Вандермеер

Аннотация
Джефф Вандермеер. Странная птица. Мертвые астронавты
Странная птица
- Первый побег
- Темнокрылы
- Первый сон
- Буря
- Плен
- Путники в ночи
- История Старика
- Секрет Старика
- Второй сон
- Второй побег
- Город
- Нетопырь
- Обсерватория
- Третий сон
- Преображение
- Четвертый сон
- Плащ и время

Компас Морокуньи
Остров
Синий Лис
Крайние дни
Пятый сон
На что надеяться?
Куда стремиться?
Где обрести покой?
Мертвые Астронавты
1. Грезы Синего Лиса
2. Троица
3. Растлитель Бегемот
4. Никак не упомнить
5. Левиафан
6. Тело
7. Труп
8. Темная Птица
9. Никак не забыть
10. Мертвые астронавты
Клочок бумаги, найденный в костюме Чэня
От автора

Аннотация

Добро пожаловать в Город без названия. В тень всемогущей Компании, туда, где живут люди и Иные – слившиеся ужасающими и чудесными способами. Синий Лис, мессия, который скользит через лабиринты времени и пространства с таинственной целью. Бездомная женщина, одержимая демоном, ищет ключ в странном дневнике. Гигантский Левиафан, скрывающий тайну памяти, возможно не своей собственной памяти. Три мятежника, которые ведут бесконечную войну за судьбу мира против всесильной Компании. Безумец, который блуждает в бреду по пустыне, затерянной в прошлом, преследуемый своим собственным творением: невидимым монстром, имя которого он забыл и цель которого остается скрытой. Добро пожаловать в Город, в котором на кон поставлена судьба будущего, судьба Земли – всех Земель.

Джефф Вандермеер
Странная птица
Мертвые астронавты

Jeff VanderMeer
DEAD ASTRONAUTS: A Novel by Jeff VanderMeer
Copyright © 2019 by VanderMeer Creative, Inc.
THE STRANGE BIRD: A Borne Story by Jeff VanderMeer
Copyright © 2018 by VanderMeer Creative, Inc.
Published by arrangement with MCD, an imprint of Farrar,
Straus and Giroux, New York
Перевод Григория Шокина
Дизайн Елены Куликовой

Серия «Большая фантастика»

© Г. Шокин, перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Странная птица

Посвящается Энн

Первый побег

Первая мысль Странной Птицы была о небе над океаном, которого она никогда не видела, в месте, далеком от омытой огнем Лаборатории, из которой она спаслась, — заслоны клетки пали, разбились, но ее чудесные крылья уцелели. Долгое время Странная Птица не знала, что есть небо на самом деле; когда она летела по подземным коридорам в темноте, уклоняясь от стреляющих друг в друга фигур, то даже не подозревала, что ищет выход. Но вот в потолке открылся проем, что-то зашуршало и заскреблось снаружи на крысиный манер, и тогда Птица сбежала по-настоящему, воспарив из дымящихся руин, оставшихся далеко внизу. И даже тогда она не знала, что небо голубое и что такое солнце, потому что она вылетела в прохладный ночной воздух, и всем ее удивлением завладели лучи света, которые вспыхивали в темноте наверху. Но потом ее охватила радость полета, и она поднималась все выше и выше, и ей было все равно, кто ее увидит, что ждет в блаженстве свободного падения, скольжения и безграничного простора.

О, если это и была настоящая жизнь, тогда она

еще ни минуты не жила!

* * *

Восход солнца, занявшийся на горизонте над пустыней, на фоне обжигающе-голубой стены, ослепил ее, и от удивления Странная Птица сверзилась со своего насеста на старом мертвом дереве на песок внизу.

Какое-то время Странная Птица держалась низко над землей, расправив крылья, боясь солнца. Она чувствовала зной песка, его зуд, чувствовала ящериц, змей, червей и мышей, которые жили внизу. Она рывками пробиралась по пустыне, что когда-то была дном великого моря, не зная, стоит ли ей подниматься выше, страшась превратиться в тлеющий уголек.

Далеко ли тот свет, или совсем близко? А вдруг это прожектор из Лаборатории, где ее, конечно же, хватились? А солнце все еще всходило, и она все еще была настороже, и воздух дрожал, скорпионы шуршали, какая-то тварь на далекой дюне поймала маленькое существо, отпрыгнувшее от нее недостаточно далеко; воздух пах золой и солью.

Я что, во сне? Что будет, если я сейчас прыгну в небо? А должна ли я?..

Даже под палящим солнцем ее крылья, казалось, становились сильнее, а не слабее, и ее волочащийся след становился смелым, менее похожим на последствие сломанного крыла и более — на сознательный выбор. Рисунок ее крыла на песке напоминал послание, которое она писала сама себе. На память. Но — на какую именно память?

Звук топота лап, вздымающих песок, поверг Странную Птицу в панику, и она забыла свой страх перед горящим шаром и поднялась в воздух почти вертикально вверх, вверх и вверх, и никто не причинил ей вреда, и синева окутала ее и прижала к себе. Кружа супротив ветра, наделяя крылья силой, она заметила двух лис, которые вынюхивали ее след.

Они смотрели на нее снизу вверх, тявкали и виляли хвостами. Но Странную Птицу на мякине не проведешь. Она грозно спикировала на них раз-другой, забавы ради, и посмотрела, как они визжат и таращатся на нее с обиженным выражением в глазах, за которым никак не сокрыть холодный расчет и хищный оскал.

Затем она снова развернулась и, стараясь не смотреть прямо на солнце, направилась на юго-восток. На западе находилась Лаборатория

— место, где производили столь прекрасные и вместе с тем столь ужасные вещи.

Так куда же она направлялась?

Всегда на восток, всегда на юг, потому что в ее голове был компас, настойчивый компас, влекущий ее вперед.

На что она надеялась?

Найти цель и проявить доброту, которая еще не была проявлена к ней.

Где она хотела бы отдохнуть?

В месте, которое она могла бы назвать домом. В месте, которое было бы безопасным. Там, где могли бы быть и другие из ее рода.

Темнокрылы

На следующий день на горизонте рядом с солнцем затрепетал и зашумел город. Жара была такой сильной, что он не переставал трепетать в волнах света. Видом своим напоминал он сотню Лабораторий, сложенных друг на друга и рядом друг с другом, и все эти непрочные конгломераты, казалось, вот-вот упадут и рассыпятся.

Вздрогнув, Странная Птица повернула на юго-запад, затем снова на восток, и через некоторое время могучий город растаял в полосах и кругах тьмы на песке, а затем исчез. Неужели солнце уничтожило его? Может, то был какой-то призрак? Само слово «призрак» отдавалось в ее голове чем-то незнакомым, но она знала, что от него веет смертью.

Неужели Лаборатория превратилась в призрак? Нет, только не для нее.

На седьмой день после того, как чужаки прорыли себе путь в Лабораторию, ученые, отрезанные от поставок и осажденные в комнате, где располагался искусственный остров, предназначенный только для их творений, начали убивать животных, которых сами создали, дабы прокормить

себя.

Странная Птица сидела в безопасности на крюке под потолком и наблюдала, зная, что может стать следующей. Барсук, который смотрел вверх, мечтая о крыльях. Коза. Обезьяна. Она взирала на них и не отводила взгляда, потому что отвести взгляд значило быть трусихой, а она не была трусихой. Она должна была предложить жертвам какое-то утешение, каким бы бесполезным то ни было.

Все добавленное к ней и все отнятое привело к этому моменту, и со своего насеста она лучилась любовью ко всем животным, коим не могла помочь, и холодным ничем — ко всем присутствовавшим людям.

И даже в тех ее частях, что были человеческими, ничто не отзывалось.

* * *

Она встретила своих первых птиц в дикой природе вскоре после того, как покинула город-призрак, прежде чем снова повернуть на юго-восток. Три больших и темных корабля плыли по течению высоко над ней, а еще ближе — стайка крошечных птиц. Она пропела им свою песню — дружеское приветствие, признание

их родными, весть о том, что хоть она их и не знает, но очень любит. Но маленькие птички, остроглазые, роящиеся будто единое целое, поднимавшиеся и опускавшиеся — как волна или призрачная тень, выписывающие пируэты в воздухе… не признавали в ней родню. В ней было слишком много чуждого.

Странную Птицу они сочли за врага. Надсадно чирикая и отчаянно полоща крыльями по воздуху, они кинулись клевать ее. Сбитая с толку, Птица решила поднырнуть под их стаю, но они последовали за ней, щипая и вереща, облепляя ее разгневанным плащом, щекоча ее своими жирными перьями.

Вскоре, не в силах больше терпеть боль, Странная Птица с пронзительным криком оборвала пикирующий маневр — и быстро вознеслась ввысь, прокладывая туннель сквозь колодцы холодного воздуха, отягощенная разгневанными сородичами. Вскоре все они, не в силах следовать за ней на такую высоту, начали отпадать — одна птичка за другой. Остатки стаи собрались темным облаком внизу. Стылый ветер доносил до нее запах металла, и мир предстал перед ней полномасштабно — теперь она видела, что у пустыни был-таки конец и край, что как минимум

с одного края пустыня переходила в лесистую зеленую местность. Слабый, но острый запах морской соли дразнил Странную Птицу. Он был еле уловим, но стрелка компаса, что был внутри нее, сдвинулась с мертвой точки под действием пусть даже и слабого раздражителя.

Но теперь три темнокрылых монстра, что дрейфовали еще выше ее самой, окружили Птицу с двух сторон. Перья на концах их широких крыльев напоминали длинные пальцы, но на голове никакого оперения не было вовсе, и из окантовок серой сморщенной плоти на нее взирали кроваво-красные глаза.

Какое-то время они, вольготно влекомые ветром, летели беззвучно, и Странной Птице даже нравилась компания этих крылатых. Но вот забили тревогу тонкие чувства, отозвались неприятным покалыванием — темнокрылые компаньоны прощупывали границы ее разума, изучали те защитные барьеры, что воздвигли внутри нее ученые. Барьеры, о существовании коих Странная Птица даже не подозревала, вступили в игру, оставив лишь один просвет для ее сознания и окружив все остальное неприступной редутной стеной.

Происхождение?

Цель?

Пункт назначения?

Слова, возникшие буквально из ниоткуда, были помещены ей в голову темнокрылыми летунами. У нее не было ответа, но, приблизившись к ней, они открыли себя — и поскольку они были старше, они еще не чувствовали опасности, не уловили, как сложные механизмы в Странной Птице нарушили их собственные барьеры. Многое из того, что было в них нового (то есть полученного своею волей), возникло лишь с целью становления коммуникационной автономности — почти как у настоящих птиц.

А Странная Птица поняла, что темнокрылы не были птицами в строгом смысле слова — и, в отличие от нее, частично вовсе являлись неорганическими. С ужасом она поняла, что, подобно живым спутникам, они кружили вокруг Земли в течение огромного количества времени — столь многих лет, что она едва могла удержать цифру в голове. Она видела, что им было поручено наблюдать сверху и передавать информацию в страну, которая больше не существовала: приемная станция была разрушена давным-давно в ходе войны, что подошла к концу еще давнее.

В своей беззащитности, выполняя старые зада-

чи, сохраняя данные до полного исхода, стирая какую-то их часть и записывая по новой, Странная Птица собирала картину ушедшего мира. Наблюдала, как города рушатся внутрь и разлетаются осколками наружу, взорванные в самом сердце, развороченные (разверстые — но разве это не одно и то же?) точно бутоны. И вот появилось нечто, следящее с вышины, в часы света яко в часы тьмы — беспристрастное и бессловесное, не склонное к осуждению… ибо кого осуждать? Как привести приговор во исполнение теперь, когда все виновные мертвы и похоронены? Но из всех этих свидетельств Странная Птица узнала, что Лаборатория, как ни странно, служила убежищем… только не для животных, которых там держали.

Темнокрылы не нуждались в пище. Их никогда не обуревала жажда. Они беспрерывно летали и беспрерывно сканировали землю под собой, и никогда их когти не сдирали с окуня чешую, никогда в клювы их не ложилась пища. Эта мысль вызвала у Странной Птицы почти человеческую тошноту.

— Мне освободить вас? — спросила она, в каком-то смысле желая освободить и целый мир, что был сокрыт в темнокрылах.

Ибо она понимала, что это возможно, что при верно подобранной директиве жестко заданные орбиты перестанут тяготить темнокрылов, и они научатся думать сами, и вернутся к истокам далеко внизу. Чем они займутся после — Птица не знала, но освобождение, думала она, наверняка принесет темнокрылам утешение.

Но запрос встревожил темнокрылов, запнулся о внутреннюю систему безопасности — и все трое испустили могучий крик, и прямо там, рядом с ней, взорвались пятнами черноты, которые, как она могла видеть, были миниатюрными версиями их бóльших «я», и пятнышки рассеялись в разреженном воздухе. Темнокрылы исчезли, как будто их никогда и не было, а сердце Странной Птицы забилось быстрее, и она взлетела еще выше, будто могла убежать от того, что видела.

То ли через день, то ли через неделю пятнышки найдут друг друга и снова свяжутся вместе, скользнут в старый, знакомый узор — и снова три темнокрыла станут бороздить кожу мира, следуя невидимым морщинам на этой невидимой коже, выполняя приказы погибших давным-давно хозяев. Так они прослужат еще век-другой, эти живые мертвецы, пока то, что их питает, не состарится, пока органическая их часть не истлеет.

Но даже когда частицы разлетались по сторонам, влекомые порывами ветра, летуны-темнокрылы общались друг с другом. Странная Птица слышала разговоры их разобщенных целостностей, они делились собранной о ней информацией, говорили нечто наверняка лживое.

>> Анализ: *ДНК птиц, homo sapiens, некоторых других наземных форм жизни. Гибрид нестабилен.*

>> Миссия: *в высшей степени неопределенная; несоответствие синаптической карты оригинальному дизайну: стопроцентная вероятность наведения помех.*

>> Вывод: *имеются неизвестные директивы; происхождение и намерения не ясны.*

>> Предписание: *не вступать в контакт к0нтакт 0-такт 0 0 0 0.*

В сумерках она нашла насест на ржавом корпусе корабля, увязшего в пустыне полвека назад. Она очень устала. Печаль охватила ее, когда, дрейфуя в небесном просторе поверх пустыни, она стала замечать, что впереди — все меньше песка и все больше нагромождений ржавой электроники: древние рукотворные караваны легли ничком в дюнах и замерли навек.

Вместе с печалью пришло осознание собственного потенциального могущества — ведь она, Странная Птица, почти так же велика, как темнокрылы! Ее лапы когтисты; когти служат для того, чтобы резать, рвать, полосовать. Ее клюв остер и изогнут. Она не нуждалась в пище, как обычные птицы, ну или, во всяком случае, не нуждалась так же часто — и в этом подобна была темнокрылам.

По мере того, как давала о себе знать сокрытая до поры ночная жизнь, а ветер дул все медленнее, но становился притом сильнее в порывах, запах животного мускуса набирал мощь — а вместе с ним и дурной металлический привкус, побочный продукт вековой нечистоты. Странный птичий организм постоянно очищал себя от наваждений, от смертоносных частиц, что были еще меньше по размеру, чем слагаемые темнокрылов.

И столь же естественен, сколь вдох-выдох для легких, для сознания Странной Птицы был прилив-отлив истории окружающего ее мира — в мельчайших подробностях. Например, под кораблем, на который она уселась, были погребены и многие другие ему подобные — в море песка, что когда-то было морем соленой воды. Потенциальная глубина этого места едва ли умещалась в

восприятии — воистину, мир умел ошеломлять.

В Птице пробуждались новые способности — такие, о каких она и не подозревала. Они то вспыхивали, то гасли, словно Лаборатория еще не закончила трудиться над ней. Если бы она попыталась, то смогла бы дотянуться до края мира, могла бы почувствовать пульсацию жизни во всех направлениях даже из-за заслона, даже сквозь страдания, даже на грани смерти — на самом ее краю.

Странная Птица попробовала заснуть, но сон ее был чуток и неглубок, потому что где-то внутри нее находился глаз — извечно бодрствующий, всегда открытый.

Первый сон

Во сне Странная Птица видит женщину с черными волосами и коричневой кожей, которая очищает кусок фрукта, яблоко, взятое из крытого сада, нарезает его и кладет кусочки в миску. Эту женщину она знает по Лаборатории, ее зовут Санджи. Женщина передает чашу другой женщине, очень похожей на Санджи, но выше и с более округлым лицом, сидящей на диване рядом с ней. Она каким-то образом знает, что подруга Санджи раньше тоже работала в Лаборатории, но ушла задолго до того, как Странная Птица сбежала сама.

Перед ними проплывает голограмма других людей, которые разговаривают и ходят. Женщины смотрят, шутят и смеются. Странная Птица видит Лабораторию, раскинувшуюся за ними — все еще чистую, новую и свежую. Свет все еще работает. Там все еще много еды.

Санджи кормит кусочком яблока свою спутницу и говорит:

— Я спасаю тебя от плохих яблок. Такова моя работа. Все эти годы я — единственная причина, по которой ты не умерла, съев дурной плод. Я

— все, что лежит между тобой и такой вот незавидной участью.

Другая женщина смеется и сжимает ее руку, и второе имя вырисовывается в голове у Странной Птицы, но когда она просыпается — уже не может вспомнить его.

Только ощущение покоя. Только хрустящий вкус яблока.

Буря

Направляясь все дальше на юго-восток через бескрайнюю пустыню, Странная Птица думала, что мир внизу выглядит таким старым и изношенным. Только когда она поднялась на нужную высоту — смогла притвориться, что он прекрасен.

Странная Птица старалась не думать о своих снах на лету, потому что не могла понять их смысла, да и едва ли знала, что такое сон, потому что он не вписывался в ее внутренний лексикон — ей было трудно удержать в голове сами концепции реального и нереального.

Жалкие беспокойные голограммы час от часу навещали мертвый ландшафт пустыни, выполняя подпрограммы из времен столь отдаленных, что уже нельзя было сказать, имелся ли в их действиях некий изначальный смысл. Человеческие фигуры расхаживали там и сям, но состояли они из простого света. Порой они обряжались в специальные защитные костюмы или скафандры астронавтов. Они тащились или бежали по песку, совсем как настоящие, а затем рассеивались, а затем — снова появлялись в изначальных поло-

жениях, чтобы тащиться или бежать вновь… и так — без конца.

И все же, наблюдая за ними, Странная Птица вспомнила свой сон, а также то, как с нее на землю пустыни падали ошметки. Крошечные частички ее самой были ей более не нужны, и этого она не понимала, потому как способ, которым тот материал покидал ее, был слишком отработанным, чтобы являть собой случайность. Птица знала, что чудо-компас внутри нее как-то отвечает за распределение этого расходного материала. Всякий раз восстанавливала она микроскопическую утраченную часть себя — чтобы можно было потерять ее снова.

В Лаборатории ученые еженедельно брали у нее пробы. Каждый день она теряла что-то от себя. Еще хуже было, когда они что-то добавляли, и тогда Странная Птица чувствовала себя неловко, словно приспосабливаясь к лишнему весу, и, потеряв равновесие на насесте, часами полоскала воздух крыльями, покуда сызнова не успокаивалась.

* * *

На пятый день, как только Странная Птица освоилась с этим процессом — и с солнцем, и с

голограммами, и с городами, и с более высокими холмами, где ветер был на диво стыл, — облако затмило край мира, быстро приближаясь к ней. Она еще не сталкивалась с бурями, но знала о бурях, и что-то внутри нее было запрограммировано на уклонение от них. Но облако надвигалось на нее слишком быстро, и охватывало слишком много, и только в последнюю секунду Птица поняла, что никакое это не облако, а рой изумрудных жуков. Стрекот, жуками теми издаваемый, перепугал Птицу не на шутку.

Она попыталась нырнуть в укрытие, но неверно оценила расстояние, и рой настиг ее, подобно стене, и она врезалась в него, потеряла контроль над своими крыльями, провалилась сквозь плотный шквал жуков, затормозила о заслон их панцирей, выпрямилась вовремя, дабы опустить голову и тараном, с закрытыми глазами, прорваться сквозь них, невзирая на перья, выдираемые челюстями жуков, и колкие укусы в живот.

Свобода от роя, наступившая гораздо быстрее, чем ожидалось, принесла ей дивную легкость, и Птица окунулась в воздушный приливный бассейн, образованный ее прорывом. Но миг иллюзорной свободы был краток. Теперь стала по-

нятна причина паники роя жуков — *настоящий* шторм, охвативший горизонт и стремительно приближающийся.

Те аварийные системы ее организма, которые жуки не смогли поставить на уши, тут же встали на уши. Защитные третьи веки полупрозрачной пеленой скользнули на глаза, ушла эхолокация — теперь Птица полагалась на трассирующие инфракрасные лучи в самой гуще вихрящейся непогоды.

И буря грянула в полную мощь, и накрыла ее, и некуда было от нее деться. Никакого плана спасения, никаких защитных мер — только чудо-компас пульсировал внутри нее. Ветер терзал тело Птицы, налетая буквально отовсюду, атакуя со всех направлений, и она отчаянно пыталась сохранить его в целостности, не распасться на куски.

Но вот силы оставили Странную Птицу, и она отдалась воле ветра. Она успела издать пронзительный крик, прежде чем что-то темное и тяжелое вынырнуло ей навстречу прямо из бури. Возможно, в крике том прозвучало чье-то имя — прежде чем удар, выбивший из Птицы сознание, отшвырнул ее в колодец турбулентности. Позже она не смогла вспомнить, было ли так на

самом деле.

Да и кого она могла позвать на помощь? Помочь ей было некому… ведь так?

Плен

Когда Странная Птица пришла в себя, в голове у нее звенело. Она обнаружила себя в переоборудованной тюремной камере в здании, заметенном песком. Лишь узкая, фут длиной, щель окна наверху, под самым потолком, выдавала присутствие солнца. Все было темным и твердым — скамья, вделанная в стену, похожая на длинный и широкий сундук с сокровищами, была тверда, стены были тверды, а того тверже были черные прутья, увитые проволокой и укрепленные деревянными досками. Кто-то не хотел, чтобы она отсюда выбралась. И ничего мягкого, на что можно было бы отвлечься, отрешиться от всей этой твердости. Ни намека на зелень или на какую-то другую жизнь, которая могла бы ее утешить.

Запах, донесшийся до Странной Птицы, был вонью смерти, распада и неисчислимых лет страданий, а тускло освещенный вид, открывшийся перед ней за решеткой, напоминал длинную низкую комнату, заставленную странной мебелью. В дальнем конце арка двери вела в еще более густой мрак.

Странная Птица запаниковала. Ужас обуял ее. Снова — Лаборатория; вернули-таки. И выхода теперь не было. Прощай, небо. Она забила крыльями, завизжала. Скатилась со скамьи на голый земляной пол и легла там, распластав крылья и раззявив клюв, стараясь показаться большой и страшной.

Затем зажегся свет, мрак рассеялся, и Странная Птица увидела своего похитителя. Его она прозвала про себя Старик.

Усевшись на перевернутом ведре близ трухлявого стола, он наблюдал за ней. Комната — довольно-таки протяженная, судя по всему, — большей своей частью все еще скрывалась во мраке.

— Мой бог, да ты прекрасна! — сказал Старик. — И как же я рад, что здесь, в этом месте, хоть что-то прекрасное появилось…

Странная Птица смолчала в ответ. Она не хотела, чтобы ее похититель знал, что она понимает человеческую речь — и даже может, если хочет, говорить. Дабы навести тень на плетень, она стала визжать по-птичьи и бездумно хлопать крыльями. Старик, похоже, взаправду восхищался ее выходками. Но она держала за ним глаз да глаз.

Со временем Старик замкнулся в себе. У него была смуглая кожа, но розово-белые пятна на руках и лице, как будто что-то давным-давно обожгло его. Лишь один глаз остался цел, и именно поэтому, когда Старик смотрел на нее, взгляд его казался сосредоточенным и как бы сконцентрированным, неприятно пронизывающим. Его борода поседела, и поэтому он всегда выглядел так, словно тонет — у подбородка клубилась морская пена, а на обожженном носу и заостренных скулах виднелись белые пятна. На нем была тонкая одежда (рубище? Кто знает) и пояс, с которого свисали инструменты, наиболее приметным из которых выступал ржавый нож с длинным и плоским лезвием.

— Я спас тебя из песков. Ты была похоронена там — только голова и торчала наружу. И повезло же тебе со мной! Буря низвергла тебя с неба, и лисы с ласками непременно бы съели тебя. Стала бы деликатесом в чьем-то брюхе.

Странная Птица решила, что Старик не очень-то похож на ученого из Лаборатории. Он говорил не так, как подобает ученому, да и дом его не напоминал какую-нибудь очередную экспериментальную базу, как она могла видеть. Так что она успокоилась, расслабилась даже. Сломанных

костей она не чувствовала — ушибы да растяжения, но и только. Те перья, что у нее выдрал ветер, отрастут вновь. Прихорашиваясь, она нашла у себя пару жучков и клювом раздавила их, пока Старик говорил:

— Меня зовут Абидахан. Я был плотником, совсем как мои отец и дед. Но теперь-то я много кем успел побывать. Сейчас я, например, писатель. — Он указал на древнюю пишущую машинку, стоявшую на шатком столе. Странной Птице та напомнила маленькую черепаху из металла, чьи внутренности были вытащены напоказ. — Все пишу свою летопись. Доверяю все бумаге. И когда говорю «все» — то и имею в виду. Никаких исключений.

Старик уставился на Странную Птицу, словно ожидая ответа, коего не последовало.

— Я сплю в камере, когда у меня нет гостей, — сказал старик. — Тюрьма вокруг нас и под нами — многоуровневая. Когда-то я был здесь пленником, очень давно, так что я знаю. Но это уже совсем другая история. Старая-престарая, и тебе о ней лучше не знать. И кому бы то ни было еще — тоже.

Хотя тюрьма была огромна, и ветер во время песчаных бурь гулял в ее бесчисленных камерах,

Странная Птица узнала, что весь быт Старика сосредоточен в этой продолговатой комнате. Именно ее он избрал для жизни — все остальное не имело значения.

— Я здесь один, — промолвил Старик, — и мне это по нраву. Но принимать иногда гостей — хорошая идея. Ты моя гостья. Когда-нибудь я покажу тебе здешние земли, если ты будешь хорошо себя вести. Как по мне, даже в таком месте хорошему гостю стоит придерживаться некоторых хороших правил.

Но упомянутые правила Старик никогда не озвучивал, и Странная Птица уже видела три креста, что стояли на песке снаружи, и решила, что были то насесты для других птиц, что давно умерли. Она видела крошечный садик и колодец рядом с крестами, потому что снова включила эхолокацию и забросила свои чувства темной сетью в сверкающее море — поймать все, что лежало за пределами ее камеры. Колодец и сад представляли собой опасность, даже и замаскированные под заброшенные, неухоженные, ненужные.

— Я Абидахан, — повторил Старик, — а тебя я нареку Айседорой, потому как ты — самая ослепительная птица, которую я когда-либо видел, и

тебе потребно столь же ослепительное имя.

* * *

Так, на время, Странная Птица сделалась Айседорой. Она откликалась на это имя как могла — когда старик кормил ее объедками и когда удумывал читать вслух сказки из книг… сказки, совершенно ей непонятные. Она решила, даже задумав побег, притворяться хорошим и покладистым домашним животным.

Но в Лаборатории ученые держали ее при особом освещении, имитировавшем солнце, подпитывавшем ее по-своему. Теперь же, когда от света ей предоставлялся лишь слабейший намек на оный, она чувствовала себя обделенной.

— Ты должна есть больше, — говорил ей старик, но та еда, которую он приносил, часто вызывала у нее отвращение.

— Жизнь трудна, — говорил старик. — Все так говорят. Но смерть — еще труднее.

Он говорил это и смеялся, говорил как утратившую смысл присказку. Странная Птица решила, что кто-то когда-то передал ему эти слова, и Старик так и остался пребывать в тени сказанного. Смерть — еще труднее… вот только она ничего не знала о смерти, кроме того, что видела в Лабо-

ратории, а потому — не знала, правда ли это. Ей хотелось лишь одного — уйти от Земли и живущих на ней людей как можно дальше. Воспарить как можно выше — туда, куда тянет, в самый зенит, и делать там, где ее никто не достанет, все, что душе угодно. Сызнова уменьшить людей до предпочтительных размеров — размеров далеких призраков, что влачат свою тяжкую память, исчезают и появляются вновь, застрявшие в цикле вечного возврата и совершенно неважные.

* * *

За дюной, где укрывался Старик, лежал разрушенный город, огромный, запутанный и опасный. В пределах этого города двигались призрачные очертания монструозных фигур, которые Странная Птица не могла разглядеть издалека. Из них кто-то жил под землей, кто-то — в руинах, а кто-то — в небе над руинами.

Ближе, запечатленный в перекрестье ее дополнительного восприятия… лис на вершине дюны, любопытный и неприметный, будто бы часовой, поставленный наблюдать за позицией Старика. Вскоре к лису присоединились собратья, и Птица, уловив мимолетно их намерения, заинтриговалась. Всякий раз, чувствуя, что они рядом, она

отслеживала их при помощи своей эхолокации — всякий раз, когда больше нечего было делать и подкрадывалась скука. Скука, которая ничего не значила в Лаборатории как понятие — ведь не было ничего такого, от чего ее можно было бы испытать. Но теперь, обретя бескрайнюю синеву неба, Птица прекрасно понимала, что скучно, а что — нет.

Ее чувства также исследовали множество туннелей и уровней тюрьмы, когда Старик отправлялся на охоту, и она могла даже проверять решетки, доски и проволоку, пока его не было. Старик часто пропадал в лабиринте внизу, со своим мачете наперевес, и охотился на длинных черных существ, похожих на горностаев, которые жили там. Она прислушивалась к отдаленным крикам, звучащим, когда он находил их и убивал, и видела в своем воображении пузырьки их жизней, лопающиеся — и пропадающие совсем.

Как же так вышло, что наблюдая за бытом этих созданий, Старик так и не догадался об их уме? По утрам, когда Странная Птица просыпалась и обнаруживала худые, обмякшие тела черных горностаев, лежащих наполовину внутри, наполовину снаружи огромного горшка на столе посреди комнаты, она испытывала чувство утра-

ты, которое Старик не мог разделить.

Странная Птица знала также, что Старик, пусть даже и считающий ее красивой здесь и сейчас, непременно убьет ее в час голода, выдернет ее ослепительные перья, сварит и съест — как любое другое животное.

И тогда ее ощипанная тушка будет наполовину торчать из горшка, обмякшая, ни о чем больше не способная помыслить. И тогда будет она уже не Айседора, а просто мертвая птица.

Путники в ночи

Лисы вышли в сумерках и заглянули в окошко темницы Странной Птицы — украдкой, скрытно, так, чтоб Старик не увидел их. Их глаза сверкали, лучась чуждым ей озорством. Их тявканье, лай, вибрирующее рычание на грани слышимого — все это сплеталось для Странной Птицы в причудливую музыку ночи. Лисы не боялись ни узилища, ни Старика, потому что не были обычными лисами. Куда больше они напоминали животных, которых Птица видала в Лаборатории, — особым образом *настороженных*.

Поэтому она тихо и утешающе пела им в ответ из своего плена, и когда лунный свет густой и яркой глазурью покрывал песок дюны, лисы выделывали зажигательные коленца и манили ее присоединиться к ним, впускали ее в свои умы, чтобы она узнала, каково это: быть лисой и выделывать зажигательные коленца на четырех шерстистых мягких лапах. Что-то в этом было от чувства полета. Что-то.

Странная Птица знала, что в такие моменты лисы тоже могут заглянуть в ее разум. То, что пульсирующий внутренний компас позволял

это, привлекало их. Но время шло, и этот факт ее не волновал, ибо свобода была слишком волнующей, а темница — слишком сырой и ужасной. Так пусть хотя бы лисы узнают, что у нее на уме — и унесут с собой в пустыню какую-то часть ее души. Ведь она боялась, что никогда отсюда не освободится.

Вскоре она стала понимать лис лучше, чем людей в Лаборатории, лучше, чем своего пленителя-Старика, и научилась звать их из-за песков, и они собирались на вершине дюны и разговаривали с ней. Ворча, они задавали ей вопросы о том, откуда она пришла и каково это — летать так высоко над землей. Разве там, откуда ты явилась, лучше? А нам бы понравилось там? Не хуже ли там, чем в твоем плену? Как думаешь сбежать?

И по ночам микроскопические частички ее по-прежнему уплывали через окно камеры — оставляли ее, чтобы она стала чем-то другим где-то в другом месте. Она не могла понять, что это значит. К какому бы соглашению не пришло ее тело с биологами в Лаборатории, она сама на это никогда не соглашалась.

Но лисы радовались этому ее делению — в такие моменты они подпрыгивали в экстазе и с притворной свирепостью набрасывались на по-

кидавших ее микроскопических существ, как бы понукая их лететь прочь, вдаль, вместе с ветром, и никогда-никогда не знать покоя.

История Старика

Старик никогда не открывал дверь камеры, а только просовывал ужасную еду в щель, которую закрывал деревянной доской, прибитой гвоздями. Он, казалось, знал, что Странная Птица смогла бы улететь и через такое малое отверстие, не причинив себе вреда.

Запихивая еду внутрь, Старик всегда говорил:

— Ты молодец, Айседора. Ты хорошая, уж я-то знаю. Ты прекрасна и добра.

Но что такое добро, что такое красота и почему все это так важно для Старика?

Ничто в Лаборатории не казалось ей хорошим, а красота была формой без функции. Все, что было в ней красивого, имело свою цель. Все хорошее в ней тоже имело свою цель. И все же чудо-компас пульсировал внутри нее и временами сводил с ума от желания убежать и мыслей о темнокрылах, о том, как они распались, рассыпались, но все же — сызнова слились в единое целое.

Лисы вбили ей в голову мысль, что она может спастись, превратившись в привидение. Если она станет призраком, Старик не сможет увидеть ее и решит, что она сбежала, и откроет дверь ка-

меры, чтобы она могла сбежать по-настоящему. Странная Птица знала, что для лис само понятие «привидение» означало что-то другое, но все же — собиралась попробовать.

Поэтому она лежала в темноте у подножия стальной скамьи, куда не мог проникнуть солнечный свет, и становилась очень неподвижной, а те нейроны ее мозга, что естественным образом жили в ее перьях, изменяли ее покровительственную окраску, притупляли яркость и упражнялись в точном подборе оттенков и тонов тюремной камеры. Ее камуфляж в обычных обстоятельствах демонстрировал тьму сверху и свет снизу во время полета, поэтому Птице потребовалось сознательное усилие, чтобы изменить его.

Все это время Старик рассказывал ей о своих воспоминаниях о таких людях и местах, о которых она не знала и которые нимало ее не заботили, и в конце концов посетовал на мрак и нагнал больше света, взяв лениво извивающихся белых флуоресцентных личинок и сунув их в емкости, вынутые из потолочных ниш. По тому, как он продолжал жаловаться на мрак, Странная Птица отмеряла свой прогресс в становлении невидимкой.

— У меня, должно быть, совсем со зрением

худо, — ворчал Старик, но позволить себе подсыпать флуоресцентных личинок в светильники он не мог, ведь личинки были пищей на черный день — на тот случай, если горностаи сделаются хитрее, а сад начнет увядать.

Он все бубнил и бубнил свою отповедь, напоминая чем-то капеллана в Лаборатории — того человека, что проводил уйму времени в бессмысленных разговорах с животными.

— Я уже не тот человек, каким был. Когда-то это место было другим. Снаружи есть еще люди. Там есть все что угодно. Но без крова я долго не протяну. Нужен кто-то помоложе, посильнее. Кто-то, кто не так от всего этого устал — а уж я-то знаю, что люди придут сюда достаточно скоро забрать даже то, что имею. В ином направлении — лишь пустыня и пустошь, и ничего хорошего. Уж ты-то знаешь — ты пришла оттуда. Был там город, в котором я вырос, а от него уже и не осталось ничего. Теперь все мертво. Теперь остались только я, ящерицы, горностаи да пара-тройка жаб. И некоторые незваные гости. Ну а теперь еще ты.

Старик мог бормотать так часами — грезить, бредить и становиться совсем не тем, кем его считала Айседора. Но даже это Странная Птица приветствовала, ведь через такие эпизоды она

все лучше и лучше понимала его — не одну лишь речь, но и настроение, и ту нанесенную самому себе рану в его сердце.

Излюбленной темой разговора был город, притаившийся так близко за дюной. Всякий раз, когда старик говорил о городе, его голос становился приглушенным, а лицо испуганным, и Странной Птице вспоминались уловленные издалека тени чудовищ.

— Об этом лучше не говорить. Лучше продолжать жить и не думать об этом. Ухаживай за колодцем. Ухаживай за садом. Не смотри на горизонт.

Из города доносились приглушенные стоны и рев, и Айседора поняла, что Старик их слышит, потому что даже самые отдаленные звуки заставляли его, сидящего спиной к ней за столом с древней пишущей машинкой, дрожать. Потому что он звал ее красоту *отвлечением*. Потому что ему нужно было доверить бумаге то, что он называл своей «великой историей» — рассказ о своей жизни и о том, как мир стал таким, каким был сейчас.

Но Птице были знакомы истории-отчеты Лаборатории, и она знала, что Старику все равно не расписаться всласть — у него была в запасе лишь

одна красящая лента для пишущей машинки, порядком выдохшаяся, да и бумаги всего-то пятьдесят листов осталось. Пятьдесят листов быстро подходили к концу, покрываясь пятнышками буковок с обеих сторон, и тогда Старик возвращался к началу — и все повторял, отпечатывая тот же самый текст поверх уже проделанной работы.

— Видишь ли, красавица моя Айседора, — сказал он, — это способ запечатлеть все это в моей голове. Я печатаю историю, чтобы разучить ее хорошенько, и если я никогда не найду больше бумаги, все равно она будет надежно отпечатана в моей голове. Когда-нибудь, видит бог, я запишу ее так, как надо, набело — и тогда моя история будет вечна.

Но Айседора полагала, что это всего-навсего помогало Старику забыться. Не бередить те воспоминания, кои он не желал хранить, но и избавиться от коих не мог. Он ведь все чаще останавливался, пытаясь припомнить подробности, которые, как она знала, должны остаться в отпечатках на бумаге, в пересекающемся бессмысленном узоре беспорядочно набросанных букв. Если бы Старик только мог оставить все-все там, на странице — был бы уже свободен от подробностей. У нее не было даже такого выхода, в

ее памяти всякий миг продолжал жить, но она не завидовала Старику, потому что видела — печатная машинка не в силах помочь ему.

Шла вторая неделя ее заточения, и Старик, ушедший в свою историю с головой, порой переставал печатать — и вместо этого заговаривал с ней. Рассказывал ей о том, что собирался выразить посредством ударов по клавишам.

— Как-то раз мне преподнесли огромный праздничный торт — подумай только. Помню, в двенадцать лет я задул все свечи, а потом братец мой сунул меня лицом в самую гущу, во всю эту патоку и сливки, но все равно это было здорово… у меня еще никогда не было такого торта, да и все-все друзья собрались в одном месте… кто-то там жонглировал апельсинами, помню. Я так давно не видел апельсинов. И яблок — тоже.

Повисла пауза, замешательство переполнило единственный глаз Старика, обращенный к Айседоре. Веко мелко-мелко дергалось, давая Айседоре понять, что что-то ранит Старика изнутри. Что-то старое, но все еще сильное.

— Теперь уж никто не увидит. Все потеряно.

Но что же было потеряно? Старый мир был не лучше нового для Странной Птицы, он был просто другой.

Затем Старик осторожно, почти украдкой спросил:

— Если я выпущу тебя из камеры, ты останешься со мной? Если бы я это сделал, ты бы осталась со мной, не так ли? Могу я… научить тебя оставаться? Как бы выдрессировать…

Она молчала, не давая ответа, потому что слово «дрессировать» знала по Лаборатории — где оно сулило лишь боль и страдания. И еще — потому что Старик сделался замкнутым и угрюмым. В таком расположении духа он мог быть и жесток.

Поэтому Птица только ослабила свой камуфляж и распушила перья, став более яркой, позволив цвету гореть на перьях, как лесной пожар. Старик решил, что так она отвечает ему — расписывается в своей красоте и, следовательно, доброте.

Секрет Старика

Однажды ночью Старик вышел из туннелей в комнату, неся «особое сокровище» — так он свой улов назвал.

— Спиртовые гольяны, Айседора, — сказал он, протягивая ей пригоршню крошечных серебристых рыбок. — Компания их сделала, ну или до сих пор производит. Мне пришлось бы отправиться в город, чтобы найти их, но я наткнулся на них в подземелье. Рядом со скелетом, каюсь. Но ему-то они точно уже не нужны. Ему теперь вообще ничего не нужно.

Компания? Она не знала, что Старик имеет в виду, но со временем пришла к выводу, что подразумевается нечто вроде ее Лаборатории, разве что — попросторнее.

Он бросил парочку рыбешек на пол ее камеры, а остальные, широко улыбнувшись ей, сунул одним махом в рот и с хрустом проглотил, почти не жуя.

— Восхитительно, Айседора! — промурлыкал он. — Вкуснятина! Попробуй, ну же!

Она послушалась — и подивилась тому, как мало они похожи по вкусу на рыбу. Скорее уж, на

нектар. Неожиданное тепло охватило ее после того, как подачка провалилась в клюв. Вскоре после этого она почувствовала, что куда-то плывет, а когда подняла глаза — Старик прыгал перед ней, и кружился, вытянув руки, будто обнимая невидимого партнера, и замирал на нетвердых ногах, таращась в ее темницу.

— Ты же чувствуешь это? Да, Айседора? Ой, хорошо-то как. Лучше и быть не может.

Его единственный глаз налился кровью. Бледное лицо налилось багрянцем. В Старике будто проснулся дремавший до поры зверь — и теперь рвался наружу, наполняя глаз своего носителя первобытной дикостью.

Но Айседора не сумела распознать в том угрозу. Ей лишь казалось, что Старик будто бы счастлив на этот раз, и она даже стала подражать его танцу, хлопая крыльями и прыгая на стальной скамье. Думая о танце как об еще одном виде полета.

Затем в какой-то момент Старику ударила в голову блажь, и он, перестав танцевать, достал старое зеркало в полный рост, потрескавшееся и видавшее виды. Он поднес зеркало к Странной Птице, сидевшей на скамье в темнице. Сквозь решетки и проволоку она различала свое отражение без труда.

Впервые она узрела себя всю целиком, и ее поистине заворожила игра цветов на своем теле — приливы, переливы и отливы цвета, чудо, разворачивающееся прямо на глазах. Цвет бежал по ее перьям и наливался, становился насыщенным, разрываясь между ослепляющей яркостью и донельзя сгущенной тьмой от участка к участку.

— Видишь, Айседора? — спросил Старик. — Видишь, как ты прекрасна? Не прячь красу свою. В угрюмом мире этом и так ее столь мало… На пламя ты похожа, на огнь драгоценный.

Птица-Айседора покачала головой — вверх-вниз.

— Ладно-ладно, — пробормотал Старик, и она поняла, что ее ответ его не устроил, что это совсем не то, на что он надеялся. Он снова начал танцевать, но на этот раз Айседора не присоединилась к нему; и танцевал до тех пор, пока головокружение не заставило его тяжко повалиться в кресло у стола, схватившись за голову. Со своего насеста она с любопытством за ним наблюдала, пытаясь угадать, что же Старик выкинет дальше.

— Ты хороший друг, Айседора, — произнес он, хоть это и была неправда. — Ты сделала мою жизнь здесь лучше. Просто *глядя* на тебя, я чувствую себя лучше.

Он бросил на нее острый взгляд.

— Хочешь знать, в честь кого я тебя назвал? А?

Не дожидаясь ответа, он повернулся к письменному столу, порылся в ящике, достал маленький металлический кружок толщиной около двух дюймов, положил его на колено и нажал кнопку сбоку.

К восторгу Айседоры, впервые опьяневшей в своей камере, над металлическим кругом возникло изображение танцующей женщины, женщины в платье, с улыбкой на лице.

— Это Айседора, — гордо промолвил Старик. — Я знал ее, знал ее тогда…

Женщина произнесла всего две фразы:

— О, Чарли, ну что за глупости! Выключи это!

Но он заставлял ее делать это снова и снова: «О, Чарли, ну что за глупости. Выключи это. О, Чарли, ну что за глупости. Выключи это. О, Чарли, ну что за глупости. Выключи…»

Птица-Айседора не заметила, как выражение лица Старика посуровело. Как делалось оно все мрачнее с каждым очередным проигрышем записи. Но у нее все равно не получилось бы понять те эмоции, что преображали его лик.

— О, Чарли, ну что за глупости! — выдала она тем же, что и на записи, голосом. Этому трю-

ку она научилась в Лаборатории. Этому — и всему остальному, что умела. Ученых тогда ее способность порадовала, и Странная Птица понадеялась, что и Старик сумеет ее оценить.

Но он вдруг резко выпрямился в кресле и отложил металлический круг в сторону.

— О, Чарли, ну что за глупости, — сказала Странная Птица все тем же женским голосом. — Сначала мы отделяем близлежащие ткани от сердца и легких, затем с осторожностью вводим устройство в боковую часть аорты. Затем вам нужно будет отсосать кровь. Затем вам нужно будет отсосать кровь.

— Заткнись, — сказал старик, уставившись на нее злобно-испуганно.

— Они вырвались на свободу, — сказала Странная Птица, — и заполонили лагерь. Мы не сможем прорваться. Они убьют нас.

— Я сказал, *заткнись!*

— Разве у нас есть выбор? Если мы их не убьем, то умрем с голоду. Неважно, насколько это неприятно, как сильно вам это не понравится, насколько вы к ним привязались…

Старик швырнул металлический круг в прутья клетки и закричал:

— Говорю тебе — замолчи! Уймись *сейчас же!*

— И Птица, — продолжила Странная Птица, как будто не могла удержаться, будто была *обязана* передать последние слова, услышанные в Лаборатории перед побегом, голосом той женщины, что была дорога Старику. — Птица может постоять за себя. Нам нечем ее достать. Она будет сидеть наверху и бездумно пялиться на нас. — У них кончились патроны, и они на нее очень пытливо смотрели… не с той пытливостью, что присуща ученым. Все они — кроме Санджи, занятой попытками открыть воздуховод.

Птица замолчала. Старик сидел, прижавшись к решетке, дрожащий, выкативший до отказа из орбиты единственный свой глаз. Она делилась с ним, а ему было невдомек.

— Ты ничего не понимаешь, Айседора, — сказал он, рыдая, а затем шепотом выдал свой секрет, ничего хорошего ей не суливший. Секрет, при звуках которого она, может статься, не вполне понимая слова, доверилась образам — образам горшка с безвольными тушками черных горностаев, наполовину внутри, наполовину снаружи.

И никакого секрета тут не было.

— Если придется, я скорее убью тебя, Айседора, чем позволю измываться надо мной. Так что ты заткнись. Ты должна заткнуться. И никогда боль-

ше не говори таким голосом, или я убью тебя. Убью или буду держать в этой камере без еды до тех пор, пока ты с голоду не помрешь.

Но Птица-Айседора его не слушала. Потому что Старику ни к чему было говорить ей, что он может убить ее. Она это и так знала. Нет, Птица-Айседора думала о Лаборатории и о той ночи, когда животные выстроились в ряды — сыграть партию под названием «шахматы» в углу огромной скотобойни, в один из тех дней, когда раздор раздробил ученых на отдельные фракции.

Каждая клетка шахматной доски была кем-то занята. Страусы были ладьями — стояли друг напротив друга через всю доску. А еще там были львы, гиены, гигантские саламандры и даже илистые прыгуны[1] — просто тогда террариумы были целы.

С позиции на плече Санджи птица смотрела, как животные стоят тихо и неподвижно. Они боялись, что их привели сюда, чтобы убить — скотобойня есть скотобойня. Санджи была пьяна, все они были пьяны, иначе они не стали бы сгонять туда животных, и все они были вооружены

[1] Примечания: 1

Австралийская тропическая рыба с выпученными глазами и жесткими грудными плавниками, благодаря которым способна передвигаться прыжками на суше в илистых отмелях.

ружьями или палками. Все они пили, а некоторые танцевали — совсем как Старик. И понукали животных к игре, которую те не понимали. Корчились от смеха — но также и от отчаяния. Они не знали, что делать дальше, зато знали, что дальше будет только хуже. В этих комнатах они были такими же пленниками, как и собственные безответные подопечные, и им было некуда идти.

Была ли Санджи такой же пленницей? Могли ли ученые просто уйти? Прежде чем мир отплатит по их счетам — найдут ли они искомое, освободят ли своих созданий, покинут ли эту Лабораторию?

Наблюдая за тем, что Санджи называла шахматами, Странная Птица знала, что исход не будет таков. Какую бы привязанность ни питали ученые к своим подопечным, этим дело не кончится. Все закончится на скотобойне. Где животные, выстроенные рядами, будут ждать конца.

Странная Птица удивлялась тому, что в принципе могла думать о подобных вещах.

Как только дозволили они ей подобный протест? Пусть даже — молчаливый. Пускай — только в ее голове.

Второй сон

Во втором сне Санджи держит яблоко в одной руке, нож — в другой, а она ступает по пляжу в тени голых скал, босиком, в прибое. Кроме них на пляже никого нет. И море пустует тоже — ни судов, ни пловцов.

Странная Птица идет рядом с Санджи. Странная Птица — человек, но она не ощущает своего тела; с таким же успехом она могла бы быть молекулами воздуха. Странная Птица ошеломлена морской солью, шумом волн и ветром, который одновременно так силен и так нежен. Песок прохладный, а линии скал, наполовину затопленных прибоем, темны и скрыты водорослями и колониями сидячих моллюсков. Она не видит солнца, но по освещению судит, что сумерки уже близки. Хотя она не видит здания — знает, что на скалах, за линией деревьев, есть еще одна Лаборатория.

Они долго идут рядом, Санджи смотрит только вперед и ничего не говорит. Странная Птица чувствует непреодолимое желание заговорить, но она не может говорить. Она все еще птица. Она — птица. Она — птица! Но также она — человек, что идет рядом с Санджи, а высоко в небе кружатся

и кричат настоящие птицы; ищут в море рыбу и всякую другую снедь. Есть в небе, помимо чаек и крачек, альбатросы, и Странная Птица знает: они никогда не ощущают твердь под собой, всегда парят в небе, на ее глазах кренятся вниз, будто вот-вот сядут, но тут же устремляются назад, все выше и выше, пока более приземленные собратья не остаются далеко.

— Ты оставишь меня ради этого места, — наконец говорит Санджи. — Когда-нибудь тебе придется покинуть меня, и тогда тебе придется быть умной, умной и храброй. Тебе придется быть очень смелой, раз уж все, что мы сделали, — ради выживания. И я стану храброй вместе с тобой. Мы отыщем способ.

Странная Птица хочет ответить, у нее даже есть нужные слова, но у нее не получается ни одно из них произнести, потому что, оглядывая себя сверху вниз, она понимает — ее тело ей не принадлежит. И тогда, подобно альбатросу, она исчезает в небе — ее тянет все выше и выше, как будто незримая рука подхватывает ее и уносит с берега.

Второй побег

Черной, как смоль, ночью Птица-Айседора решила стать призраком. Она села на пол в темном углу, сосредоточилась на своих мыслях и попыталась представить, что ее совсем нет. Дабы представление укоренилось, она отключила все свои системы, все свои чувства — все, кроме зрения и слуха. Сначала она стала неслышной, а потом, чуть позже — невидимой. Ее атомарный рисунок стал неотличим от рисунка пола, прутьев решетки и деревянных балок, поставленных поперек этих прутьев.

Старик не смотрел на нее — все стучал на пишущей машинке.

Как она себе это представляла, предстоящий побег будет немножко похож на побег из Лаборатории, уже свершенный. Что ж, к подобному она готова. Старик смутится, решит, что она сбежала, откроет дверь клетки — и она, хлестнув крыльями ему по лицу, улетит в угодья горностаев в недрах лабиринта. А там — рано или поздно — найдет воздуховод, ведь где-то он непременно должен быть, и по нему возвратится на поверхность, к свету.

Итак, Старик закончил набирать остервенело текст, обратился к клетке, ища ее взгляда — но не увидел Птицу нигде. Подошел к решетке камеры — и посмотрел прямо сквозь Птицу, что забилась в укромный уголок.

По его лицу пробежала дрожь замешательства. Он скривился, будто раскусив горькую ягоду утраты… но очень быстро оправился. Заулыбался. Засмеялся даже.

— Ах, Айседора, ты обманщица, — промолвил он, качая головой. — И когда только ты успела стать такой? Вы все одинаковы, во всем своем сонме проявлений. У всех — хитринка за душой. И у тебя тоже, но ты не так хитра, как думаешь. Уж точно не хитрее меня. Я знаю все уловки заключенных наперечет — неужто думаешь, что ничего подобного не видал ранее?

Птице вспомнились три креста на песке.

— Я не стану открывать дверь, Айседора, — твердо сказал Старик. — Ты хочешь сделать вид, что сбежала, хочешь, чтобы я так думал… а я так — *не думаю!* — Его голос окреп в гневе. — Я делаю такую важную работу, а ты зачем-то дурачишь меня! И это в обмен на мою к тебе доброту! Проявись! Покажи себя — не стану я отпирать эту проклятую дверь! Ну же! Явись!

Он еще долго ругался, плевался и потрясал кулаком, но она не двигалась, не выдавала себя. Пусть ее план провалился — ей, по меньшей мере, не хотелось, чтобы Старик видел, как она преображается.

И в конце концов Старик сказал:

— Я мог бы оставить тебя здесь, но если со мной что-то случится, ты не выберешься. А мне бы такого не хотелось. Неважно, насколько был я плох или хорош — я такого зла тебе не желаю. Я — не плохой человек.

И, взяв торжественную паузу, он объявил:

— Итак, у тебя будет хороший дом. Гораздо лучше, чем этот. Раз уж ты так отчаянно хочешь дать от меня деру, я отвезу тебя в город и продам. Так будет лучше — и мне, и тебе.

Но был ли такой исход взаправду наилучшим?

* * *

Через некоторое время Старик успокоился и заснул. Она могла видеть его со скамейки. За эту неделю он похудел, и его борода стала такой густой и грязной, что походила на гнездо. Там, в Лаборатории, им не разрешали гнездиться, и все же она каким-то образом знала суть дела. Его взгляд становился все более беспокойным, а руки

иногда дрожали.

В ту ночь лисы не пришли. Луна так и не появилась. Странная Птица лежала во мраке, измученная, и чувствовала зуд в крыльях, боль, скуку и тесноту клетки. В каком-то смысле в клетке было даже хуже, чем в Лаборатории.

Секрет Старика прочно сидел у нее в голове — расцветая и преображаясь, никогда не являя свою суть полностью, но никогда притом и не развеиваясь без остатка.

Странной Птице недоставало опыта общения с людьми, чтобы понять, какие из них — существа благоразумные, какие — не вполне. В конце концов, никто из ученых в Лаборатории не мог похвастаться здравием ума.

Город

На следующий день Старик подсыпал ей снотворное в еду, и когда она проснулась, то была уже не в своей камере, а в мешке, перекинутом через плечо Старика. Они направлялись в город. Она чувствовала, что уже полдень.

Слепая и связанная, Странная Птица ворочалась в мешке. Старик на ее толкотню не обращал внимания — упорно шел по подземному переходу через лабиринт тюрьмы, и только. Ему, похоже, было плевать на то, что в мешке она поранится или ушибется, и из этого Птица заключила, что с равным успехом может послужить ему и мясом на продажу, и диковиной на показ. Но она не боялась, по крайней мере, темноты — потому что внимала изобилию жизни вокруг: двоякодышащие рыбы[2] зимовали в выбоинах в полу внизу, горностаи сновали где-то за стенами, саламандры липли к потолку, а черви и пауки кишели везде и всюду. Не будь она столь сильно зажата в себе — выплеснулась бы сутью своей наружу,

[2] Примечания: 2

Двоякодышащие — древняя группа пресноводных лопастеперых рыб, обладающих как жаберным, так и легочным дыханием.

обретя утешение во всем, что существовало за пределами ее «я».

Впереди Странная Птица могла «видеть» ответвления и тропинки системы туннелей, и различать, по каким Старик мог идти, а по каким нет, трепеща от страха, когда он подходил так близко к какой-то огромной фигуре, скрытой за стеной — к попутчику, нерешительному и боящемуся света, который держал Старик. Тот никогда не знал и никогда не узнает, что делит эти темные чертоги с таким существом, но Странная Птица — знала.

— Между нами есть кое-какие секреты, — сказала Санджи вечером в Лаборатории, когда остальные ученые находились в своих каютах или несли караульную службу на баррикадах. Санджи продолжала работу над Странной Птицей. Всегда — под местной анестезией, так что Странная Птица ничего не чувствовала и не тревожилась, но эти односторонние разговоры ее настораживали. Зачем Санджи заронила в нее эти воспоминания? Птица не знала. Заточение в мешке просто заставило ее вспомнить все те слова и все те моменты, когда она ничего не могла сказать в ответ, но должна была воспринять столь многое.

— Птичьи мозги почти так же хороши, как и человеческие, только упакованы плотнее. Но ты ведь не просто птица, не так ли?

Тогда — *кто же* она? Если не «*просто*» птица?

* * *

Над головой — поздне-вечернее небо. Странная Птица видит его, потому что Старик ее наконец-то вытащил из мешка. Держит, правда, за ноги — руками в толстых перчатках, через которые ее когти не смогут просто так продраться. Она изо всех сил борется с тошнотой оттого, что висит вниз головой, оттого, что видит дугу каменистой земли, прорезанную реками песка, приближающуюся только для того, чтобы отступить. Ни дать ни взять качели. Только вот откуда она знает, что такое качели? Это не ее память, не память Птицы-Айседоры. Когда это она бывала на качелях? Не в Лаборатории же. Значит, где-то еще. Маятник качнулся вниз, а потом опять вверх к небу, к солнцу, все выше и выше, а потом — опять резко вниз, так, что захватывает дух, и на какой-то миг обрывается дыхание.

Они вылезли из дыры в земле, прикрытой присыпанным песком холстом, наружу, и Старик выругался, и шлепнул ее через мешок раз-дру-

гой, как будто Странная Птица виновата была в тяготах затянувшегося перехода. Зато теперь, в высшей точке качельного маятника, Странная Птица понимала, что они пришли в разрушенный город.

Скоро ее продадут. Скоро она попадет в другое место.

Она крепко прижимала крылья к веревке, храня *компактность*, предпочитая тяжелое чувство затекшего тела той боли, что настигнет ее, если она расслабится, если распрямит без оглядки крылья. Она знала, что Старику будет плевать, если она поранится о камни, от коих ей уже приходилось уворачиваться, вертя головой из стороны в сторону.

Дух этого места показался Странной Птице нездоровым. Пахло металлом, поеденным ржавчиной, что заставило ее подумать об осколках темнокрылов, роем рассеивающихся по сторонам. Пахло — пусть даже и не в полную силу, а лишь намеком — мертвой водой, тухлым мясом. Они ползли по дорожкам, окаймленным тощими деревьями и пожелтевшими кустами с жухлой травой, входя и выходя из лабиринтов покосившихся столбов и полуразрушенных домов. Мелькали тени крошечных существ — Птица не

была уверена до конца в том, хищники они или жертвы, но ее внутренний чудо-компас бешено раскручивал стрелку.

Что-то загромыхало вдалеке, сам воздух содрогнулся, и Старик, сплюнув в сторону, прибавил шагу. Он остановился на краю лежащего в руинах подворья, среди грязи, гравия и странного мха, среди осыпавшихся кирпичных стен, выглядящих так, будто их долгое время осаждали некие могучие чудовища.

— Не здесь, не здесь, — забормотал он. — Почему их здесь нет?

Конечно, Птице хватило бы и мгновенья, чтобы нырнуть в небо, воспарить и сбежать, и не быть более ничьей пленницей. Еще бы не сдавливала так веревка на ногах. Может, она вполне способна ее порвать? Получится ли у нее достаточным усилием разъять путы, или она достаточна сильна (хоть бы и лишь по собственному убеждению), чтобы взмахнуть крыльями и улететь, даже будучи связанной? Даже будучи ослабленной длительным пленом?

И вдруг показалась причудливая тень — вид мира был ограничен внутренним двором и руинами, но даже так Странная Птица, что была когда-то Айседорой, увидела ее, ибо тень та была

велика. Очертания, не особо-то и ясные, не выдавали в отбрасывающем ту тень птицу. Если верить очертаниям тени, ее хозяин при обычных обстоятельствах и вовсе летать не мог.

Был в Лаборатории один пятнистый медведь, небольшой такой, себе на уме, шагами меряющий куб из прочного стекла, куда его усадили — по одному и тому же маршруту, ведь других маршрутов внутри куба не было. Птица не знала, что случилось с тем медведем — куда он мог убежать, когда в Лаборатории вспыхнул пожар, как выжил в пустыне. Но хозяин той огромной тени был именно медведь, пусть даже и совершенно иной вид медведя. Этот вид мог летать — как она сама. И хотя Странная Птица видела медведя лишь издали, да еще и не с самого удачного ракурса, от зрелища перехватило дыхание. Чудесный и ужасный, поистине дьявольский — и подобный вековечному ангелу вместе с тем медведь, парящий абрис далеко за горизонтом, перегружал ее многочисленные чувства лучащимся величием. Если бы зверь приземлился рядом, он бы возвысился над ней подобно пяти-шестиэтажному зданию — но эти внушительные габариты не мешали ему свободно и легко, подобно стрижу или ласточке, пронзать воздушные потоки, нырять

в них раз за разом — с какой целью, Птица не смогла бы сказать.

Ей было все равно, что медведь мог сулить смерть; воспарив духом соразмерно высоте медвежьего полета, Птица вдруг смогла вообразить себя головокружительно могущественной — настолько грандиозной, что всем другим тварям внизу не оставалось ничего иного, кроме как питать к ней страх.

Зрелище летящего Медведя наполнило Старика ужасом, и он ослабил свою хватку на ней, не торопясь сызнова усилить — но Птица не вырывалась и ждала, ибо такого послабления было все еще не вполне достаточно.

Словно стыдясь своего страха, Старик нахмурился и уставился на нее сверху вниз, и его единственный глаз был похож на дыру в лице, через которую можно было видеть небо.

— Это Морд, Большой Медведь. Компания его сделала. Да чего это я распинаюсь? Он — Морд, и все. Ни слова более не требуется. Его отсюда видно. И он нас всех оттуда видит. Так — каждый день, Айседора. Он — наше проклятие, но он — далеко. И сюда придет еще не скоро. Может, он и могущественный, но в чем-то — обычный, простой. Не менее простой, чем вон тот выбро-

шенный диван. — И Старик указал на что-то длинное и мягкое, на деревянных ногах — опаленное, присыпанное раздробленным кирпичом.

Но закончив со своей речью, Старик вздрогнул и поморщился, и Странная Птица не поверила ему ни на грош. Старик не понимал Морда — как не понимал и свою пленницу. Вот почему теперь он проклинал свою Айседору и бросал быстрые взгляды из стороны в сторону; ему приходилось неумолимо, почти против своей воли, проверять горизонт, чтобы убедиться, что Морд — все еще далеко.

А реальная опасность оказалась не в пример ближе.

Под опущенной к земле головой Странной Птицы зияла дыра в земле. Выпросталась вдруг рука, хвать Старика за лодыжку — дернула, он и упал, а Странная Птица распласталась по земле и пронзительно закричала. Путы на ее лапах ослабли, и она, перекатываясь прочь и высвобождая крылья, разорвала их.

Там был люк, понятное дело. Скрытый, как и вход в покои Старика.

Маленький человечек в пыльной одежонке, с лицом летучей мыши вдобавок, потянул Старика к себе в логово. Старик закричал и схватил за

крыло Странную Птицу — схватил так, чтобы не дать вырваться, чтобы уволочь к погибели следом за собой.

В панике она полоснула его по руке когтями, нанесла удар кончиком клюва. Старик взвизгнул, но удержался, и когда она отдернула свое крыло и снова ударила его — ощутила, как ломается кость внутри, не приспособленная сгибаться столь радикальным образом.

Подпрыгивая и вспархивая, она выбралась на середину двора, крутанулась волчком на одной ноге, сбрасывая рваные остатки пут — и бросила последний взгляд на Старика. Был тот наполовину уже под землей, а наполовину — все еще тут, в верхнем мире, и за этот мир он так отчаянно держался, что ломал об его твердь ногти, загребал его скрюченными пальцами — и все равно уходил все глубже и глубже вниз. Маленького человечка с мордой нетопыря видно не было — он, должно быть, тащил Старика снизу за ноги.

— Айседора! — взмолился старик. — Айседора!

Он потянулся к ней, как будто они были друзьями, а не пленником и пленницей. Как будто она могла каким-то образом спасти его.

Последний сильный рывок — и Старик провалился в потайной люк по грудь. Лицо у него было

— ну точь-в-точь что мордочка у лягушки, наполовину проглоченной змеей. Песок припорошил его черты, скованные паникой пополам со своего рода стоическим смирением.

— Айседора, — прохрипел старик. — Айседора. Айседора.

Хотя они оба знали, что он уже мертв.

Раненое крыло вывернулось под жутко неудобным углом. Странная Птица проверила его, взмахнув раз-другой — осознавая притом, что если какой-нибудь хищник в укрытии вдруг заметит ее невзгоду и бросится к ней, спасенья не будет, — и поднялась в воздух. Крыло тут же отозвалось болью.

С воздуха Старик, торчащий из ямы в земле, выглядел так, будто никогда и не было в нем ничего сверх головы, шеи и груди. Следя за ее воспарением снизу, он отчаянно махал ей выпростанной рукой и звал по имени, которое никогда ей по-настоящему не принадлежало. В шоке. В ужасе. Пока человек с лицом летучей мыши тянул его вниз.

Вскоре Старик стал всего лишь точкой внизу, такой несущественной. У людей были странные представления о благодарности, право — о том, когда стоит изъявлять ее, когда нет. Должна ли

она быть благодарна за то, что Старик пленил ее? И что она должна чувствовать сейчас? Вопрос она облекла в птичью песнь, и в ней же — в песне той — крылся и ответ.

Воспаряя, она чувствовала, как имя «Айседора» покидает ее. И вот она снова — лишь Странная Птица, не нуждающаяся в каком-либо имени, угодном любителям имен, людям.

Нетопырь

Компас внутри упрекал ее, говорил, что она должна полететь на юго-восток, покинуть город, но стоило ей попытаться изменить направление, как после первого же круга поверх руин внутреннего двора сильная боль разгорелась в ее крыле — и тогда Птица осознала, что досталось ей куда сильнее, чем она поначалу считала.

Крыло ушло в отказ. Выкрученное пульсирующей болью, оно больше не могло помочь ей контролировать высоту полета и поддерживать скорость. Внизу простирался двор, со всех сторон — незнакомая территория, укрыться — негде. Взмахнув здоровым крылом, она подалась к куцей рощице в дальнем конце двора. Борясь, дрейфуя, как мертвый лист, и снова борясь, Странная Птица ухитрилась совершить грубую посадку — вскрикнула, когда поврежденное крыло врезалось в холмик, затем резко взмыла вверх, крепко ухватившись за почерневшую ветку, и, не медля, нырнула в самую гущу зарослей в центре рощи.

Там, разгоряченная, страдающая от жгучей боли, Странная Птица подняла увечное крыло и оглядела двор. Она не видела ни Старика, ни

человека с лицом нетопыря, напавшего на них. Даже люк в земле и тот будто пропал. Но она не доверяла ни тишине, ни отсутствию движения. Если лететь не получится — надо хоть как-то, по открытой местности, добраться до другого укрытия. Такого, где можно было бы восстановиться и исцелиться. Такого, где есть вода, прохлада и тень.

Что, если человек-нетопырь все еще таится в своей западне и ждет? А что, если есть и другие ему подобные?

Она цеплялась за ветку до сумерек, слишком боясь пошевелиться.

Придется проявить терпение. Нужно узнать наверняка.

* * *

Когда взошла луна, две большие ящерицы явились вместе с ней с противоположных сторон двора, настороженно огляделись, а затем помчались через завалы к середине, гоняясь друг за другом, будто лунный свет свел их с ума. Но ни один хищник не набросился на них, и когда лунная лихорадка отступила, ящерки, щеголевато взмахнув хвостами, теперь — каждая снова сама по себе, разбежались по укромным уголкам.

Та, что пробежала мимо укрытия Странной Птицы, не пострадала. Другая задела край люка — и маленький человечек, выпрыгнув чертиком из табакерки, с потрясающей ловкостью подхватил ящерицу прямо на бегу и жадно запихнул себе в рот. Затем — встал на колени там, в лунном свете, огляделся по сторонам почти что с гордым видом, захрустел костями. Хвост ящерки бешено извивался, торча из уголка его рта.

После этого Странная Птица долго оставалась настороже, но, должно быть, на какое-то время заснула-таки — потому что позже, вздрогнув, проснулась и обнаружила, что светило ночи пока еще на своем месте, в темных небесных недрах.

Верхняя половина тела Старика теперь лежала смятая и брошенная у дальней стены, его единственный мертвый глаз был обращен ввысь.

Она услышала шорох, глянула вниз — и чуть не свалилась с ветки.

Человек-нетопырь стоял под ее деревом. Его лицо напоминало серую маску, сально блестящую при луне. Либо так причудливо сказывалась игра света, либо он взаправду плакал без единого звука. Он-то — монстр, убивший Старика и сожравший живьем ящерку.

Он смотрел на нее снизу вверх огромными

испуганными глазами, выражение которых застыло — как и все лицо с огромными раздутыми ноздрями и скулами, выдававшимися под абсолютно нечеловеческими углами, неколебимое лицо, заросшее мягкой тонкой шерстью. Зачарованная, Птица не могла оторвать от монстра глаз — но как же он был чужд и страшен.

Может статься, он ее не видит. Может статься, он вернется в свое подземелье.

Но человек-нетопырь с шипением прыгнул на ствол самого большого мертвого дерева. Большими рывками и ловкими движениями, минуя ветви, монстр приближался к ней, и она, с горящим от боли крылом, порхала с дерева на дерево, изо всех сил стараясь найти где-нибудь такое место, куда нетопыря попросту не допустит собственный вес. Такое место, откуда она смогла бы безопасно спланировать на стену, а со стены — в город.

Ощутив присутствие нетопыря прямо за собой, услышав его шипящее дыхание, Птица добралась до стены, тяжело перемахнула через нее и исчезла в темноте.

Монстр, так и не унявшись, продолжал искать ее где-то в высокой кроне.

* * *

Приглушив цвет своего оперения до пыльно-серого, Странная Птица нашла убежище в дренажной канаве. Она не могла составить никакого впечатления о городе, потому что город не хотел представляться ей. Он был слишком огромным и беспорядочным, и она была слишком отвлечена, наблюдая за тепловыми сигнатурами жизни вокруг нее, чтобы разузнать, чего еще следует избегать. А на зрение в этом пропаренном и маслянистом колодце, куда она забралась, и вовсе полагаться не приходилось.

Когда подступил рассвет, она все еще чувствовала себя в этом городе потерянной — и не была уверена, что сумеет когда-либо найтись. Город был на диво пуст, и при этом — полон опасности до краев; напряженная, вся настороже уже долгое время, Странная Птица дрожала.

Она подобралась к мосту, рухнувшему в грязь, поперек останков фортификационного сооружения (если это было взаправду оно), где у стены лежали обтянутые иссохшей кожей скелеты и ржавая россыпь оружия. В какую сторону идти ей дальше?

Нетопырь встал на мосту, глядя на нее сверху

вниз. Бесстрастный. Любопытный. Так смотрел, будто она была ящерицей, которую стоит пожевать. Или не только пожевать.

Он чувствовал ее, несмотря на всю ее маскировку, и всегда будет чувствовать.

Она запаниковала, поднялась в воздух, презрев боль в крыле, закричала в отчаянии, когда огонь опалил изнутри кости, но все равно вспорхнула неуклюже, закрутившись юлой в воздухе.

Нетопырь кинулся к ней с шипящим криком. Его черты исказились, стали еще более отталкивающими.

Она расправила крылья в отчаянной попытке удержаться в бреющем полете, но тут же упала обратно на землю. Нетопырь прыгнул на нее, и ее когтей было недостаточно, чтобы дать ему отпор. И не осталось безопасного места ни на земле, ни в воздухе — бежать было уже некуда.

Обсерватория

Миры кружились над Странной Птицей и звездами — звездами столь близкими, в столь близком пурпуре небе, пронизанном светом далеких галактик и темными водоворотами туманностей, прошитом серым светом зари, пробивавшейся сквозь трещины в куполе. Сбоку виднелась выгоревшая и проржавевшая конструкция — гигант-телескоп, некогда занимавший здесь центральное место, а теперь потесненный в сторону давно позабытым катаклизмом.

Лисья голова синего цвета красовалась на наклонной боковой стене. И пусть ей, как всякому трофею, и долженствовало быть мертвой, лисьи глаза смотрели на Птицу живо, а из пасти срывалось отрывистое тявканье. Звук заглушался голосами других, пребывавших в этом месте, и поэтому некоторое время, чтобы успокоиться и собраться, Птица игнорировала все, кроме купола над собой, и лисьей головы, что светилась даже на фоне той радужной краски, которой нарисован был космос наверху.

Странная Птица лежала, пригвожденная и распростертая на каменном столе под этим без-

граничным горизонтом, который, как она позже узнает, был нутром брошенной городской обсерватории.

На заднем плане — синий лис. На переднем, в обрамлении космоса — два обращенных к ней лица: одно — знакомое, нетопыриное, другое — женщины, незнакомой Странной Птице.

— Что принес ты мне, Чарли Икс? — спросила женщина.

— Вещь. Существо. Зверя. Птицу.

Чарли Икс всегда говорил так, будто давешняя ящерица все еще стояла комом у него в горле. Изъяснялся отрывистыми скупыми предложениями — только так его удавалось понять. Со временем Странная Птица привыкнет к его манерам. Поймет, что застывшая маска лица Чарли скрывает гамму сложных эмоций, не сдерживаемых логикой или разумом… а порой даже и простым инстинктом самосохранения. Что Чарли Икс может быть добрым, жестоким, отважным и трусливым в одном мгновении, а потом — забыть все это. Возможно, амнезия эта шла ему на руку — ведь на долю Чарли немало выпало, и в горле застрял такой кусок, какой уж не проглотить вовек.

Женщину он называл Морокуньей.

— Убейте их всех, убейте всех! — закричала Странная Птица. — Убейте, убейте. — Из тех слов, что были у нее в распоряжении, лишь услышанные в Лаборатории подходили для атаки и защиты. Она знала — их недостаточно.

Чарли Икс вздрогнул, но Морокунья не пошевелилась, и спокойное выражение ее лица не изменилось ни на йоту — ни одна черточка не дрогнула.

— Искусственная птица, — протянула Морокунья. — Невезучая лабораторная тварь. Не было доселе таких, как ты. Каким-то образом ты сбежала, а о мире снаружи — не знаешь ну совсем ничегошеньки. Вот что могу я сказать, глядя на тебя.

— Ценная! — тявкнул Чарли Икс, раздувая ноздри. Тут его зоб вспучился с хлюпающим звуком — из-за чего-то живого внутри.

Из-за краев каменного стола вдруг стали появляться детские головы — как грибы после дождя, все вскакивали и вскакивали, пока не окружили стол со всех сторон. Морокунье было не до них, пусть даже и все эти детишки льнули к ней.

— Скоро мы узнаем, из чего ты сделана, и тогда устроим представление, правда же?

Дети дружно закивали и уставились блестящи-

ми глазами на Странную Птицу.

Что-то сжалось внутри нее. Если б только она не столкнулась с бурей. Если бы только она успокоила Старика, если бы он не привез ее в город. Если бы только Старик не попал в засаду. Если бы только он не протянул руку и не поймал ее за крыло…

Достав из кармана паука, Морокунья бросает его на Странную Птицу. Длинноногий кристаллический паук забегал по ее телу. Он нырял внутрь него и выныривал назад, наружу, снова и снова, и от его манипуляций Птицу снедал изнутри жуткий зуд. Паук миновал всякие защитные заслоны, и с этим она ничего не могла поделать. Ее безопасность обеспечивали Санджи и другие, прошедшие формальную подготовку, какую сия эксцентричная лоскутная магия не признавала и не уважала. Это существо, испытывающее ее, ползающее по ней, было диким, варварским в своих намерениях. Оно презирало подпрограммы и высшие чувства. И значил что-то не сам паук, поняла она, а воля, стоящая за ним — то есть, Морокунья. Именно она копалась в мозгу Птицы, пока та лежала на столе беззащитная. Морокунья Всезнающая.

Странная Птица закрылась настолько, насколь-

ко могла, борясь за то, чтобы запереть побольше дверей, поскольку зонды паука приближались неумолимо. Но дверей было не так уж много.

Все большая ее часть отпадает по мере паучьего продвижения — так шлюпки покидают тонущий корабль. Только в ее случае сам корабль скорее растворяется, нежели тонет. Что-то подсказывает ей, что Санджи, предвидя подобный исход, запрограммировала процесс. Ведь темнокрылы стали в итоге роем частиц, и она сама в процессе полета отторгала части себя — и теперь происходило то же самое, но с большей отдачей, с возросшей интенсивностью, куда энергичнее и обильнее, чем раньше. Возможно, прежде чем Морокунья отнимет у нее жизнь, большая часть Птицы рассеется — по крупицам утечет через трещины в куполе обсерватории в город.

— Будь храброй, — сказала ей Санджи, которая была лишь призрак из прошлого, лишь нейрон, посылающий сигнал… была ли она вообще хоть *чем-нибудь?* — Ведь порой храбрость — лишь спокойствие и ожидание.

Дети по-прежнему ухмылялись, а Чарли Икс и Морокунья возносились — вместе со своими пытливыми взглядами, — на все большую высоту, пока паук, хрупкий, но оттого не менее смерто-

носный, продолжал свою работу.

Третий сон

В третьем сне Странная Птица — светящееся красное яблоко на лабораторном столе из нержавеющей стали. Санджи, в лабораторном халате и перчатках, смотрит на нее сверху вниз и прикладывает палец ко рту.

— Тс-с-с-с. Это наш общий секрет. Никому о нем не говори.

Да кому она скажет?

Скальпелем Санджи кромсает яблоко на четыре части. Семена выпадают из Странной Птицы, ставшей яблоком, скачут до самого края стола, просыпаются на пол.

— Знаешь, вместе нас свели птицы… мы обе с ними работали. Не так, как сейчас — *так* я с птицами никогда не хотела работать. Но в конце концов у меня отобрали всякий выбор. И у нее — тоже. — Санджи говорит о той женщине, что раньше работала в лаборатории. О той, которую Санджи любила.

Странная Птица не чувствует ни боли, ни ужаса при виде тех надрезов, вместо этого — лишь некое облегчение, как будто какое-то внутреннее напряжение исчезло. Семена должны быть сна-

ружи. Семена должны отпасть от тела и начать новую, самостоятельную жизнь.

— Вот, — мягко произносит Санджи. — Дело сделано. Все, что вам нужно сейчас сделать — вернуться домой. Найти ее, потому что я сама — не смогу.

С этими словами четыре кусочка яблока взлетают, и каждый из них — это она, и все они — Странная Птица. Они собираются вместе над столом — и образуют чудо-компас.

— Компас — это твое сердце. Я запрятала его глубоко-глубоко в тебя, и в чем бы ты ни разочаровалась — никогда не разочаровывайся в нем.

И эти слова, предваряющие конец сна, произносит не голос Санджи, а какой-то чужой, незнакомый. И вторая половина яблока — она все еще где-то лежит, припрятанная.

Двое смеются — знающим, разумеющим смехом.

Звук этот мелодичен и жизнерадостен, но безумно-безумно далек.

Преображение

Старик сказал Странной Птице, что солгал ей, потому что она была так красива. Он солгал ей о тюрьме и своем месте в ней. Солгал и о рассказе, который печатал на машинке.

— Я был тюремщиком в этом месте. Когда мир развалился, ушло верховенство закона, и мы оказались в изоляции. Я оставил заключенных в их камерах. Они бы меня убили. Да, я их всех заморил голодом. И охранников остальных перебил — но ведь они хотели меня убить, выбили мне глаз, обожгли всего. Так я остался здесь один. Наедине с собой, с собственными словами. Таков мир, в котором мы ныне живем, Айседора. И все, что я делал, — сделал бы на моем месте любой другой.

На своих страницах Старик пытался оттиснуть как можно больше о тех, кого он убил. Там были подробности жизней заключенных и охранников, чем больше, тем лучше — этакое жизнеподобие с малой степенью приближения. Странная Птица знала, что Старик обычно не руководствуется разумом, но все еще способен испытать вину, внять сожалению, возжелать

отпущения своих грехов.

Ученые в Лаборатории частенько говорили «Прости меня» или «Мне так жаль» перед тем, как учинить что-нибудь непоправимое с животными в клетках. Потому что чувствовали, что имеют на это право. Потому что мир умирал, и обстоятельства — особые. Поэтому они продолжали делать то же самое, что разрушило мир, — тщась спасти его.

Даже Странная Птица, сидевшая на пальме на искусственном острове со рвом, полным голодных крокодилов, различала в подобной логике значительные изъяны.

Даже Странная Птица знала, что в пауке, запущенном Морокуньей, нет ничего такого, что руководствовалось бы разумом. Открывая Птицу Морокунье, паук открывал Морокунью Птице, и именно поэтому Птица знала, что следует готовиться к худшему.

И вот паук удалился, а дети — почти все голые, с лицами в засохшей крови и грязи, — повернулись к Морокунье, будто ожидая, что та откроет им какую-то великую истину. Даже бедный Чарли Икс взирал на нее как на августейшую принцессу.

— Внутри нее — целый зоопарк, — задумчиво промолвила Морокунья, отталкивая от себя ско-

пище детей, посылая по их рядам волны, чуть не сбивая иных с ног — настолько плотно был набит ими зал обсерватории, яблоку негде было упасть. — Она не из нашей Компании. Мы таких не делаем. Штучное изделие. Так их лаборатория — в городе? Нет, сомневаюсь. Уж я бы знала. Но где тогда? О, не бойся — я-то все по тебе прочту, все из тебя добуду. — Теперь она снова смотрела на Странную Птицу, и последние слова предназначались именно ей. — Даже пойму, кто это там спрятался за твоими глазками. Кто из них смотрит. Я-то вижу, там кто-то есть. И этот кто-то — не ты.

— Могу я. Могу я?..

— Не-а, Чарли Икс, не можешь, и мне плевать, что там у тебя за вопрос.

— Награда! Наг…гр-р-р…града…

— Награда-а-а? — Растянув с издевкой последнюю «а», Морокунья рассмеялась — будто колокольчики зазвенели, и даже Странная Птица, трепещущая на столе, расценила этот смех как предупреждение.

— Птица — невидимка. Сидела на дереве. Слилась с деревом. Чарли Икс видел, птица — пропала. Сбежала. Но Чарли Икс пошел. Выследил. Принес. Награда?

Морокунья грациозно повернулась лицом к Чарли, вытянула руку — и перерезала ему горло припрятанным в рукавчике ножом. И вновь застыла — недвижимая, как статуэтка.

Чарли Икс пошатнулся, удержал равновесие, рефлекторно схватился рукой за шею.

Лица детишек обратились к нему. Маленькие голодранцы взволнованно защебетали на языке, которого Странная Птица не знала. Возможно, то была бессмыслица, тарабарщина. Их не испугал поступок Морокуньи, не удивил чрезмерно — видимо, такое происходило не раз.

Кровь не текла из горла Чарли Икса — вместо нее наружу хлынул поток крошечных мышек. Странная Птица увидела, как грызуны зашивают порез изнутри, сдерживают своими маленькими зубками. Чарли Икс булькал горлом и все пытался выпрямиться, слепо шаря по столу. Рука, мазнувшая по каменной столешнице, зацепила крыло Птицы.

— Знай свой шесток, Чарли Икс. Ты мне не ученик. Ты приносишь мне всякое, а я за это дозволяю тебе жить презренным ктенизидом[3]

---

[3] Примечания: 3

Ктенизид — паук, загораживающий собственным брюшком маскировочной окраски проход в вырытую им подземную ловушку. На английском — trapdoor spider (дословно — «паук-лазейка»).

в своем маленьком царстве и не докучаю тебе сверх меры. Но на этом — все. И я тебе ничем не обязана.

Чарли Икс явно уже пожалел, что попросил награду, — рана срослась, но мыши лезли ему в рот, назад в свое логово.

— Ты мне не ученик, — повторила Морокунья, кивая на детей. — Ты уже не молод. Ты — наполовину нетопырь.

— Я молод! — булькнул Чарли Икс, но не смог опровергнуть второй довод.

Но она щелкнула пальцами, и дети бросились к нему, все еще занятому собственной реконструкцией, и подняли его, борющегося, и вынесли, как живой гроб, держа поверх своих голов, на плечах. Море ребятишек излилось из обсерватории через дальнюю сводчатую арку, неся Чарли назад к люку. Пусть сидит там тихо и догрызает остатки недавней добычи.

Конечно, Странная Птица верила, что нет места хуже, чем Лаборатория или камера в тюрьме Старика, но красота и таинственность планет, вращающихся над ней, не могли сбить ее с толку. Она поняла, что угодила в такое место, о котором Санджи сказала бы — «своего рода ад».

А голова синего лиса на стене тем временем

бесстрастно взирала вниз, светясь, точно лампа, потому что Морокунья превратила ее в лампу, но не дала ей милости забыть, чем она стала, и когда Странная Птица посмотрела на все еще живую лису, то поняла, что Морокунья не убьет ее. Что ее ждет кое-что похуже.

* * *

Все разобщилось и куда-то поплыло. Пристальный взгляд Морокуньи внушал, что уж не быть Птице птицей вскорости — и внушение это опустошило еще до того, как ее коснулись лезвия. До того, как создания-агенты Морокуньи зарылись в ее плоть и свернулись внутри ее тела калачиками. Как она тосковала теперь по дням, проведенным в подземной темнице, и по ночам, разделенным с маленькими лисами. То время казалось теперь идиллией, как если бы тюрьма Старика была спасительным прибежищем.

Дети с мертвыми глазами сомкнули тесные ряды, охочие до зрелища. Всю их энергию и все их намерения Морокунья собрала в пучок и завязала в узел. В узел связи, по которому проистекала ее собственная энергия. В узел почти что семейной связи.

— Айседора, ты такая красивая, — сказал Ста-

рик, но она не могла разглядеть ни его лица, ни лица Санджи. Она не могла понять, что он говорит, кроме того, что теперь вместо него вещала Морокунья.

— Ты прелестная штучка, — говорила она. — Но совершенству и пользе предела нет.

— Мое семя — твое семя, — сказала Странная Птица. Санджи что-то говорила ей. Во сне или в Лаборатории. Но она не могла вспомнить.

Морокунья даже не замешкалась.

— Может, так оно и есть, может, этак. Из нас двоих именно ты преображаешься. Безо всяких обезболивающих. Но ты — сотворенная вещь, а я — нет, так что тебе допинг не нужен — ты и сама найдешь способы заглушить боль. Интересно, понимаешь ли ты, что я говорю, или у тебя мозги как у кукушки в механических часах? Должна понять. Я-то за тебя — не смогу.

— Одна из — в пустыне, другая у моря. Одна в бору, другая — на болоте. — Лаборатория. Процесс изучения. Ее, Птицы.

— И одна — на столе, и готова к работе, — добавила Морокунья.

По ее взгляду, если не по словам, Странная Птица все поняла. То был взгляд, которым Санджи одаривала ее и других в Лаборатории, прежде

чем добавить, отнять, разделить или умножить. Как если бы математизация всех этих действий могла сделать их абстрактными, не подразумевающими вмешательство в плоть и кровь.

Уж в этот раз ей не оправиться. Не сбежать из обсерватории, оставшись самой собой.

* * *

Боль была острой, точно нож, и всепронзающей — как если бы каждый голодранец из свиты Морокуньи зажженной спичкой подпалил каждое ее перо. Как если бы каждое перо стало шилом, протыкающим тело. И даже так не выходило описать агонию, что охватывала ее, когда Морокунья отнимала крылья, ломала хребет, удаляла одну за другой кости… и при том — оставляла ее живой, корчащейся, бесформенной на каменном столе, все еще способной видеть — и потому видящей, как собственные незаменимые клочки летят по закоулочкам. Ей даже клюва не оставили — теперь она дышала через астматически свистящую щель.

Она чувствовала, как напряжение накатывает и отступает волнами. Дети обсерватории одобрительно галдели и ухмылялись — оттягивали напряженные губы очень по-звериному и зубов-

ным блеском затмевали небеса наверху; а потом вдруг все как один затихали, взирая на очередной хирургический фокус Морокуньи — и тогда тишина оглушала Странную Птицу, чьей плоти становилось все меньше. Морокунья зверствовала, но при этом действовала столь уверенно, столь отточенно, столь *клинически*, что у Птицы даже не было возможности умереть от шока — освежеванной, перекроенной.

— Всякая тварь, — звучал где-то далеко и расплывчато голос Морокуньи, — созданная природой либо же технологией, несет на себе оттиск. Порой даже не один. Оттиск создателей своих, увековечивающий их намерения. Намеренно ли, нет — те оттиски несут в себе послание, и если прочесть его, то… о, что у нас тут? Вторая скрипка вмешивается, перекрывает партию — лишняя! Один момент, сейчас я сделаю ее потише… о да, готово. Что ж, как я уже говорила — хотя сомневаюсь, что кто-то из ныне присутствующих сможет меня понять, — без перебивки оттиска операция не пройдет успешно. Но сначала нужно все тщательно прочитать, найти все дорожки. Вот эта вот *птица*… да какая это птица! В ней и головоногий кальмар, и даже хомо сапиенс собственной персоной. У нее неслабо развита маскировочная

способность — как на физическом, так и на органическом уровне. Так во что же мне обратить эту тварь? Во что-то полезное лично для меня, несомненно. У кого-нибудь есть предположения? Предположений нет, как и ожидалось. Но погодите — вот вы взберетесь на этот стол и все сами увидите…

* * *

А потом настал такой момент, когда Странная Птица, распятая на столе, перекроенная сверху донизу, нашла-таки способ заглушить боль — в каждом отъятом от нее фрагменте. На нее волнами накатывал смех голодранцев. Разнимавшие Птицу руки Морокуньи опустились, и даже маленькие невинные создания, всякие паучки и черви, запущенные в тело пленницы, дабы упростить преображение, унялись. Исчезло все — в конце концов остались только голова лиса на стене, благожелательно глядящая на нее сверху вниз, источающая тот неувядающий вечный синеватый свет, да агония, да чудо-компас, все еще живой, тайно пульсировавший и старательно скрывающийся от пытливой Морокуньи. Пульсировавший для нее одной, дико зудевший — и все же одним своим присутствием дававший

понять, что она до сих пор жива. Маяк, зовущий на юго-восток — вот во что превратился компас в ее сознании. Но сама она последовать зову не могла — видимо, юго-восток должен был проследовать к ней. Пульс компаса был пульсом разума Странной Птицы, биением ее сердца, трепетом того живого, что еще осталось в ее теле. Все это спасало Странную Птицу, пусть даже птицей она и перестала быть. Маяк, означавший нечто отличное от плоти, все еще жил в ней.

Как говорила Санджи, ее надзирательница и подруга:

— Нет ничего постыдного в том, чтобы сгинуть во мрак. Нет ничего постыдного в том, чтобы на время сдаться.

Как говорил Старик, чей труп остался снаружи:

— Теперь я — обитатель тьмы. Здесь живу, здесь умираю, здесь опять-таки живу.

Даже оставшись без своих крыльев, Птица, в новообретенной протяженно-сплюснутой форме, занимала весь стол. Тянулся за часом час. Голодранцы разбежались — им наскучило ожидание. Остались только Лис и Морокунья. У Лиса особого выбора, впрочем, не было.

Морокунья утерла трудовой пот с лица и сме-

рила взглядом новое творение, взиравшее в ответ глазами, скрытыми среди переливчатых перьев, глотавшее воздух перемещенным на изнанку рыбьим ртом.

— Когда отойдешь от шока — будешь моим выходным плащом, — сказала она. — И когда я буду носить тебя, плащик-невидимка, никто и знать не будет, как близко я подошла. Может, ты сама и не разделяешь мои чувства, но лично я безумно рада обновке. Не отчаивайся перед лицом перемен — за них мы всегда платим. Кто-то меньше, как я, кто-то больше, как ты.

Нечто на каменном столе обвисло — безвольное и недвижимое. Оно уже обрело цвет и текстуру, присущие ему. Нечто на столе внимало позывным маяка, считывало ритм и ждало.

Куда стремиться? На что надеяться? Где обрести покой?

Четвертый сон

В четвертом сне Санджи — птица, и она летит рядом со Странной Птицей высоко над землей, где не заметны и не ощущаются боль и отчаяние. Как птица Санджи, может быть, не прямо-таки Странная, но причудливая — уж точно: гобелен ее плоти соткан из множества самых разных животных, крылатых и бескрылых. Но все-таки — Санджи летит!

А Странная Птица теперь сделана из воздуха, а не из плоти. Она наслаждается своей воздушностью, упивается ей, ее порыв незрим и исполнен торжества. Она задается вопросом, почему Санджи избрала птичье обличье. Ведь могла бы запросто стать ветром. Стать ничем.

В этом сне Странная Птица задерживается надолго. Так долго, как только возможно.

Плащ и время

Удивительно, но Чарли Иксу она полюбилась. Ему нравилось пробегаться грубыми пальцами по ее оперению — в те моменты, когда Морокунья, как Чарли полагал, не видела. По его касаниям Странная Птица многое узнавала о своей нынешней форме — иные части ее тела сделались безответными, немыми, и только руки человека с головой нетопыря могли теперь помочь понять, что с ними стало.

— Мягкая, — бубнил Чарли Икс, будто не встречавший ничего мягкого доселе. — Очень красивая. — Он восхищался ей как собственным созданием, но ведь все, что он сделал, — убил и обглодал Старика, а Птицу изловил и принес в подарок существу еще более чудовищному, чем он сам.

Морокунья частенько перерезала Чарли Иксу горло, но он возвращался снова и снова, и Птица все сильнее свыкалась с ним, все больше на него полагалась. Она потеряла счет его бессмысленным экзекуциям и не знала, сколько раз из его горла лезли мыши, но от нее никак не укрылось, что руки Чарли с каждым разом дрожат все силь-

нее, а безумная тоска, что ранее читалась лишь в глазах, сказалась и на изуродованном его лице.

Странная Птица ненавидела его касания. То, что он дал ей прочувствовать, он же у нее и отнял стократ, а ответить чем-либо она не могла. Теперь она была как Старик в люке — что-то внутри, что-то снаружи. Сбитая с толку, она кружила на одном месте, приходя раз за разом в исходную точку — без шанса на побег, но с возможностью оного.

Странная Птица не могла снова стать собой после всего того, что с ней сотворили. Она осталась без крыльев, и шок от такой утраты смягчался лишь тем, что Морокунья лишила ее широкого спектра чувств. Ее рот больше не годился для трелей — только для мелких суетных вдохов. Теперь ее глаза видели только то, что было над ней, когда Морокунья укладывала ее спать ночью, и то, что было над ней, когда вставало солнце, прежде чем Морокунья же снова поднимала ее.

Меж этих двух состояний не ведала Птица утешения настоящего сна, а лишь ныряла в болезненную полудрему. Она всегда чувствовала себя измученной и постоянно забывала про свои увечья — била крыльями, которых не было, посылая приступы дрожи через свое гладкое и тонкое

бесформенное тело. На какое-то время осознание того, чем она стала, улетучивалось из ее памяти.

В одну из первых ужасных ночей Морокунья, сама не своя от гордости за себя, отдала плащ голодранцам, и с ним они бегали по обсерватории, держа живую реликвию высоко над головами, — как некогда держали Чарли Икса. Не оставалось места, которого бы не коснулись их грязные руки. Они тянули плащ в разные стороны, пробуя разорвать, пробовали пальцами провертеть в нем дырки и даже прокусить. По всему этому Странная Птица поняла, что свои сумасбродные ясли Морокунья использует для проверки своих творений на прочность.

Громко галдя, дети добежали до телескопа, накинули плащ на разбитое око линзы и стали качаться на свободно висящих концах. Потом — стянули вниз, оттащили в другое место, взялись за старое. Они вгрызались в него — совсем как мыши в Чарли Икса, но без мышиной деликатности. Они заворачивались в плащ вшестером по всей длине и ширине, и Морокунья смеялась, притворяясь, что не видит их ног и голов, торчащих наружу.

И вот Странная Птица снова увидела, как взметнулись в воздух жуки, влача следом за собой

настоящую бурю. Два воздушных фронта, штормовой и жесткокрылый, схлестнулись, и первый разметал второй, и она была и первым, и вторым, хоть с виду и была преисполнена беззвучным покоем.

Надевала ли Морокунья плащ, накидывала ли капюшон — все причиняло Странной Птице боль, ведь она успевала позабыть, что у нее нет крыльев, нет балансира, который мог бы помочь удержаться в здравом уме; напрочь выбивало из колеи чувство *расстегнутости* — ощущение, говорящее, что она всего лишь кожа, скользящая по коже Морокуньи, что она — даже ниже неразумного зверя, даже меньше, чем ничто, просто поверхность без глубины, плоская водяная лужа, что испарится без остатка со временем.

— Мой плащ такой красивый, мой плащ такой полезный! — напевала Морокунья всякий раз, когда отнимала свое сокровище у голодранцев. — Я с ним свершу великие дела!

И Странная Птица всякий раз теряла дыхание, неспособная привыкнуть к постоянной иллюзии падения. Ее спасала лишь греза о том, что крылья ее стали капюшоном плаща — что она в любой момент способна разоблачить невидимую Морокунью, сломать иллюзию, разъяв

покров ее августейшей главы… или же попросту закутать лицо своей владелицы так туго, что та задохнется.

Жизнь в такой близости от той, что уничтожила ее, не поддавалась описанию — всякий миг был исполнен напряжения. Не передать словами, каково это было — чувствовать дыхание и напряжение мышц стана своей губительницы, чувствовать касание гибких пальцев к ткани, сделанной из оперения Странной Птицы и из самой ее жизни. Прикосновения Морокуньи, оправляющие и одергивающие, были даже хуже неловких касаний Чарли Икса. Но что было совсем плохо — постоянный зуд, сопровождавший неподвластное Птице более видоизменение окраски перьев в соответствии с окружающим ее губительницу ландшафтом.

Компас Морокуньи

Не только у Странной Птицы был направляющий компас внутри; имелся таковой и у Морокуньи. Понимание пришло не сразу, а по прошествии недель, месяцев, лет. Ибо теперь Птице ничто не давалось легко и быстро.

На географическом Севере царствовал Великий Медведь Морд, конкурент Морокуньи за контроль над городом. На географическом Юге располагалось здание Компании — место, которое Странная Птица знала как своего рода Лабораторию, намного превосходящую ту, из которой сбежала. На Западе ютились в сердце обсерватории голодранцы, а на Востоке жили двое — мусорщица Рахиль и еще один противник Морокуньи, некто Вик. Рахиль трудилась не то на пару с Виком, не то в непосредственном подчинении ему, и Вик, как и Морокунья, тоже создавал живые существа и использовал их для обмена на разного рода добро.

Завернувшись в Странную Птицу, чтобы прошмыгнуть мимо своих же соглядатаев, Морокунья тайно встречалась с Виком возле обсерватории. Иногда она предостерегала его,

иногда — приказывала или пыталась как-то еще оказать на него влияние. Вик сговорчивостью никогда не отличался — такой же скользкий, как Морокунья, худой бледный человечек, тоже в своем роде — лишь наружность, но не суть.

— Помни, какую страшную боль могу я на тебя навлечь, — говорила Морокунья. Птица в такие моменты удивлялась, почему же она только грозит болью, но никогда не навлекает ее на Вика, во исполнение слов своих. Лишь со временем поняла она, что и Вик, должно быть, по-своему грозен — но к тому часу Странной Птице было уже все равно, потому что вокруг нее все мало-помалу разваливалось, угасало.

Морокунья тайно следила за Виком и Рахилью со своей любимой позиции под утесом, иссеченным изнутри жилищами, близ разлившейся грязной реки. Один раз Морокунья стояла там так долго, что даже Странная Птица насторожилась и вынырнула из круговорота сонного бреда. Морокунья вся напряглась, налилась силой. Вскоре, когда сгустились сумерки, Рахиль и Вик вышли на верхний балкон и затеяли спор. Морокунья тоже начала бормотать, спорить о чем-то сама с собой, и Птица поняла, что она вторит Вику и Рахили. Могла читать по губам, а слова произно-

сила лишь для того, чтобы тверже их запомнить. Странная Птица не имела о Вике никакого четко сложившегося мнения, но ей нравилось, как держится Рахиль: собранно, обособленно, твердо.

В тот же день Морокунья предприняла вылазку во владения Морда, не в пример более рискованную — ибо под покровом плаща-невидимки она подступала почти вплотную к нему, грязному, грузному и непомерному зверю, пирующему на окровавленных останках. Стояла к нему так близко, что могла бы коснуться его, и ее собственные запахи маскировало зловоние пролитой крови. Стояла там, безмолвная и трепещущая от какой-то тайной нужды — в гибели, в опасности? — когда он вздымался громадой, способный всякую простую душу повергнуть в панический бег, насылавший необоримый страх смерти. Но Морокунья простой душой никак не была и потому — лишь испускала дрожащий вздох, проходивший волной через все ее тело.

В отношении Морда она была методична — изучала его привычки по мере того, как тот становился больше и безумнее. Она ступала за ним до самого здания Компании, которое он продолжал стеречь, и наблюдала за напряженным общением между теми, кто был внутри, и медве-

дем-колоссом снаружи.

— Недолго им осталось, — торжествующе ворковала она, возвращаясь в обсерваторию по окончании очередной вылазки. — Медведь стал слишком кровожадным, а они — слишком неудачниками. Надобно поддать им огня. Когда кругом воцарится хаос, я стану воплощением порядка.

Морд уже не интересовался Странной Птицей — столько месяцев (или лет?) прошло с тех пор, как она впервые увидела его. Теперь его полет больше походил на издевку в ее адрес — издевку, достойную Морокуньи. Непостижимость такого существа, как Морд, не могла уже ни вдохновить, ни впечатлить, ибо на Странную Птицу успело обрушиться столько всего, что некогда показалось бы небывалым. Поэтому она льнула к спине Морокуньи и осязала Морда только тогда, когда Морокунья уходила от него, и таким образом Морд стал для нее просто чем-то большим и непонятным, что по мере удаления становилось все меньше и меньше.

Чем бы Морокунья ни занималась — стояла ли на посту, обходила ли свои владения, — Странной Птице всегда приходилось смотреть в другую сторону, на горизонт, к которому та поворачива-

лась спиной. И часто Странная Птица чаяла, что смотрит в будущее, незнакомое Морокунье. Что из-за этого горизонта явится кто-то или что-то — и убьет ее. И нет разницы, порвут ли драгоценный плащ, чтобы добраться до тела, или нет — Птица прекрасно понимала, даже в нынешнем своем плачевном состоянии, что ее судьба неразрывно связана с судьбой губительницы.

Но неважно, когда это случится, совершенно неважно. Ведь Странная Птица более не хотела жить. Ну или не понимала, как будет жить дальше. В сущности — одно и то же.

Остров

Порой, в первые дни бесконечного отчаяния, Странная Птица пускала Старика в свое воображение: он полз по песку острова, служившего ей убежищем, к дереву. Случалось это либо когда Морокунья была занята, либо поздно ночью, когда плащ лежал на каменном столе и внимал приказам, что его хозяйка раздавала соглядатаям и подчиненным. Правда, иногда плащ вешали в темный чулан в тайных жилых покоях Морокуньи глубоко под обсерваторией — и это было хуже всего.

Странная Птица позволяла Старику появиться перед ней, и он называл ее Айседорой, птицей-красавицей, и то, как он это говорил, настолько отличалось от холодных слов и речей Морокуньи, что на мгновение Птица обретала ложное утешение и вспоминала, как лисицы с дюн смотрели вниз, в ее тюрьму. А потом — видела как Чарли Икс тащит Старика под землю, слышала, как Старик признается в своей тайне — и понимала, что видение было не более чем слабостью с ее стороны.

— Слабость может быть силой, — говорила Сан-

джи, но Странная Птица не верила ей. Не *такая* слабость, когда собственное «я» растворяется, а дней связующая нить рвется. Санджи вообще теперь частенько заговаривала с ней, и Странная Птица, потерянная в своих мыслях, отступала к лабораторному островку деревьев, окруженному рвом с крокодилами. Усевшись на ветку рядом с ней, Санджи всегда первая начинала разговор.

Остров тоже был слабостью. Но пусть даже Птица никогда не покидала своего насеста и никогда не срывалась в полет — на острове у нее были крылья. И здесь ни Морокунья, ни Старик, нарекший ее Айседорой, ничего не могли возразить против этого.

Странная Птица часто размышляла о последних изменениях, которые ученые внесли в ее организм перед тем, как она покинула Лабораторию. Потому что лучше думать о них, чем о том, что Морокунья учинила с ней.

— Я, как и ты сама, могу лишь гадать, — ответила Санджи, хотя Странная Птица даже не успела задать вопрос. — Может, я дала тебе карту Лаборатории. А может, вложила компас в твои цепкие птичьи когти. Я хотела, чтобы сбежала хоть ты, ведь сама — не могла.

Странная Птица этому не поверила. Санджи

могла сбежать в любой момент, как и та ее подруга.

— Как? Я-то летать не умела.

Приступ паники охватил Птицу, и она чуть не захлопала крыльями на своем насесте — устрашившись разом и того, что у нее может получиться, и того, что если получится — сойдет с ума. Больше не вернется ни на этот насест, ни на какой бы то ни было другой, и нырнет в воды неба, в воды ночи, и растворится в них без остатка.

А Санджи сказала:

— Ты могла бы пролететь над всеми этими бедствиями, разрушениями, загрязненными зонами. Ты могла бы пролететь над ними, пережить их — и попасть в какое-нибудь место, что всяко получше этого. — Даже будучи призраком, Санджи не утратила небрежности в голосе.

Может быть, и впрямь есть место получше? Здесь, внутри грезы? Порой Санджи брала ее в лабораторный сад, навестить росшую там яблоню, но путь туда неизменно пролегал чрез бойню, так что сады, несмотря на весь их покой и уют, были окрашены в кровавый цвет — сам их образ тонул в разбрызганном алом, делаясь неразличимым для Птицы. Как тогда Санджи удавалось водить

ее по садам? Как Санджи не замечала, что с ней при этом происходит?

— Ну что с меня взять? — вопросила Санджи, возведя очи горе. — Со мной все кончено было. Слишком поздно. Я вложила в тебя слишком много себя. И я не могла наладить связь со своими спутниками — они все пропали. У меня не было иного выбора, кроме как доверить себя тебе.

По этой речи Странная Птица поняла, что настоящая Санджи, Санджи-из-Лаборатории — мертва, верней всего, мертва уже много месяцев. Время для Птицы теперь двигалось столь по-другому, что она не могла сказать, вела ли эти воображаемые беседы пару часов спустя преображающей операции Морокуньи, или прошло уже много лет. Поэтому вполне вероятно, что Санджи умерла давным-давно, в незапамятные времена.

Здесь не было даже намека на солнечный свет, что золотил бы дюны. Было лишь то, что хотелось позабыть. Например, число хирургических вмешательств Морокуньи с момента пленения. Три или четыре? Чтобы сделать плащ идеальным. Чтобы сделать *ее* идеальной. Так сколько же? Пять, шесть, семь?

Сидя на насесте на своем острове, не запертая более в четырех стеклянных стенах и одной лишь

водой, бесконечной, как мир, окруженная, Странная Птица иногда притворялась, что знает.

Иногда она желала увидеть в мыслях лица детей-голодранцев, кучкующихся у стола с каменной столешницей, где проводились операции. Желала найти пускай не тень сочувствия в их глазах, но память о самой себе прежней — они-то все видели ее преображение с начала до конца. Если бы нашла — уверилась бы, что кто-то, кроме Морокуньи, помнил ее не просто как ворох бесформенной плоти со спрятанным в недрах передатчиком-маяком, который то ли по недосмотру, то ли по какой-то еще безвестной причине Морокунья так и не нашла, так и не заглушила.

Сколько было времени? Пора Морокунье вынуть ее из шкафа и вынести в мир.

— Ты — лучшая из нас, — сказала Санджи. — Ты лучше всех нас. Я позаботилась об этом. Я знаю, что путь долог, и я знаю, что он будет опасен, и ты будешь бояться. Но ты должна не сдаваться и лететь дальше.

Последнее, что Санджи сказала ей в Лаборатории. Самое последнее. Самое страшное — перед приходом незваных гостей.

— Уходи, — приказала Странная Птица Санджи,

и женщина исчезла с ветки.

Но светящаяся синим лисья голова осталась висеть в воздухе, повернувшись к ней.

Странную Птицу удивляло, что голова эта никогда не меняла положения, лишь только свирепо скалилась и не подчинялась ее воле — совсем как настоящая, будто бы и не мираж. В иные дни одна только тайна синего лиса и занимала ее мысли в том ворохе спутанных времен — во внутренней вселенной, где она настолько была отчуждена от самой себя, что, по сути, и не существовала вовсе, желая попутно, чтобы и другие не существовали тоже.

Но наступало другое утро, а за ним — другая ночь, и Птица снова делалась защитным покровом и тайной Морокуньи. Они снова тайком пробирались в город, и в худшие (а может, лучшие?) дни все вставало на свои места: она вспоминала, сколько лет прошло с момента утраты ею крыльев, и беззвучно кричала, моля бога, в коего экспериментаторы Лаборатории не верили, дать ей шанс вернуться туда, где никакого времени нет. Того бога, к коему, тем не менее, взывал капеллан Лаборатории, освящая эксперименты, — как будто это имело значение для Странной Птицы! Сам факт существования

Лаборатории мог допустить лишь бог-монстр, очень жестокий и темный бог.

* * *

Пролетело еще несколько лет, большая часть которых прошла на острове, и желание уйти из жизни, с которым она не могла справиться, привело ее далеко в прошлое — в безумие минувшего, в места еще более худшие.

Ей довелось увидеть, как армия Морокуньи обрела мощь, и как однажды Морокунья предала Чарли Икса — да так, что даже мыши не смогли спасти его, и он умер в пустошах, у старого колодца, и его труп остался валяться лицом к небу — абсурдно ничтожный вдалеке от своего логова-западни. Мышки в конце концов покинули тело Чарли и скрылись в высокой траве — с такой прытью, что Птица даже удивилась: и почему они только не сбежали раньше, что связывало их жизни с существованием Чарли?

Она испытала тот же ужас, что и Морокунья, когда Компания создала псевдо-Мордов — медведей обычного размера, что выглядели совсем как он и были такими же агрессивными и сильными. Разве что летать не умели. Как мало времени понадобилось Морокунье, чтобы и на

них найти свою управу! Птица чувствовала, что ее губительница питает к Компании — или к ее пережиткам, раз уж на то пошло, — нечто среднее между любовью и ненавистью. Птица понимала — Морокунья сделает все, чтобы захватить город. Рискнет чем угодно, ибо такова ее судьба, в том она правомочна, пусть даже и лишь в своем представлении. Птица замечала, что в своей одержимости захватом власти в городе Морокунья беспросветно одинока, пусть даже на ее стороне и выступали многие.

К тому времени передатчик-маяк внутри Птицы почти не давал сигнала, его пульс стал нитевидным, прерывистым. Порой Птица пробуждалась ослепшей, и лишь только подкожные инъекции неизвестных веществ, которые делала Морокунья, приводили ее в шаткую норму. Она почти забыла, зачем ей этот маячок. Когда-то компас тянул ее на юго-восток, но и о том Птица уже не помнила.

Наконец настало время, когда она отринула себя настолько, что даже покой сделался непереносимым. И только слабое биение напоминало о существовании маячка, связывая ее с какой-то другой жизнью, но она даже жалела, что ее губительница не извлекла маячок сей на самом

начальном этапе ее перекройки.

Синий Лис

И все-таки. Все-таки. На том не кончилась ни ее история, ни даже ее жизнь. Пришел час, и Странная Птица услыхала в своей голове суетливый перестук быстрых лап.

Знаком был запах. Знаком был и зов, обращенный к ней, к ее внутреннему компасу — тлеющему, как лучина, медленно остывающему. Деревья на острове перевелись, он оброс со всех сторон коркой льда и лежал теперь не в океане, а посреди огромной шахматной доски. Звери, занявшие позиции на клетках, тоже оледенели. Даже неприхотливых крокодилов — и тех сковала морозная агония.

Память теперь подводила Странную Птицу. Она больше не могла живо вообразить Санджи. Старик на пару с Чарли Иксом крался по дальней теневой стороне острова. И Птица не могла удержать этих двоих от приближения.

Но откуда-то издалека продолжали доноситься такие звуки, будто кто-то роет землю и царапает что-то твердое когтями. Голова Синего Лиса, точно солнце, парила над островом, и взирала милостиво сверху вниз, и дарила свет — едва ли

производимый ею самой по себе. Что в голове той было нового? На самом дне глаз Лиса виднелась стая совсем других лис, весьма похожих на тех, что обитали в дюнах позади тюрьмы Старика.

Синий Лис взлаивал, повизгивал. Его речь не отличалась членораздельностью, но суть Странная Птица все равно уловила.

Помочь мы тебе не сможем. Но если хочешь — будем следить за тобой, пока компас еще работает. Он перестанет посылать сигналы, когда ты умрешь. А ты сейчас — на грани смерти.

Вместе с этим посланием Птица получила галерею образов, по которой ей пришлось проскользнуть, чтобы узнать, как проходила лисья борьба с Компанией, как был спланирован и осуществлен побег, как лисы навещали город и спасались бегством от Морокуньи. Чтобы эту мозаику сложить, потребовалось время.

Понимаешь теперь?

Той лунной ночью в тюрьме Старика Странная Птица пустила их в свой разум, но на самом деле они никуда не уходили. Значит, следить — следили, а помочь не могли. Ну и какой от них прок? Никто не мог ей помочь… но, возможно, простого наблюдения было достаточно — ведь они сказали, что при поддержке связи с ее стороны

всегда смогут отыскать ее. И если она пустит их в свое сознание — сигнал окрепнет. *Не умирай,* голосили лисы, *пусти же нас.*

— Да, — ответила Птица. — Да, я поняла. — Тут осознала она, что кое-что хорошее, кое-что сокровенное все же задержалось в ее памяти — образ лис, играющих в дюнах.

И тогда ледяная корка, сковавшая остров, растаяла, Чарли Икс и Старик отступили, а клетки шахматной доски с мрачными фигурами погрузились в океан. Синий Лис улыбался ей с небес, согревая замученную пропащую птичью душу.

Когда Морокунья начала осуществлять свои воинственные планы по захвату города, Странная Птица чувствовала лис неподалеку, заселивших заново здешние руины. Незримые пушистые инсургенты замышляли что-то в пустыне и сновали с довольным тявканьем тут и там — потому что это было весело, и они были свободны. Своим танцем они рассказывали о городе и об его освобождении. О том, что не дари им борьба эту свирепую радость, они бы жались друг к другу в страхах и сомнениях.

Птица поверила им, когда увидела, как Морокунья в битве с армиями Морда однажды проиграла — и даже лишилась базы-обсерватории. Она от-

ступила под землю и принялась за переработку верных голодранцев в устрашающих монстров-солдат — переработку жестокую и безрассудную. Но войско Морда состояло из хищников, чьи намерения были несомненны, чья кровожадность не подлежала обузданию. В стремлении искоренить новых мутантов на службе у Морокуньи они были на редкость методичны — пожирали даже трупы, дабы добыть питательные вещества из мозговых костей.

Морокунья тогда замкнулась, посуровела, ушла куда-то в себя, сделалась непривычно подозрительной. Со своим плащом за плечами она металась от места к месту, не обременяясь даже быстрыми сборами, и никогда не оставалась на ночлег в одном и том же месте.

Она все чаще разговаривала со Странной Птицей, не ведая, что та предает ее одним только своим существованием.

— Их чудовище бродит по городу, сеет хаос, но я позволю Морду разобраться с ним. Их чудовище молодо и знает так мало. — Странная Птица знала, что речь шла о так называемом «творении Вика», о Борне, о том, кого Рахиль держала рядом, о существе, что могло менять форму и размер, заставляя Морокунью относиться подозрительно

даже к самым доверенным помощникам среди детей. Теперь она устраивала им дотошные проверки перед аудиенциями и даже порой колебалась, прежде чем надеть свой живой плащ.

— Морд, верно, устал, и не столь прям, как раньше. Я одолею его, просто переждав, — говорила Морокунья, и по ее озадаченному тону Странная Птица понимала, что Компания, а вовсе не Морокунья, лишила Морда способности летать, и что его опустившийся до земли и к ней отныне привязанный гнев обращен вовсе не к тому врагу.

— Они никогда не покинут Балконные Утесы без толчка, — говорила она, и Странная Птица знала, что Морокунью беспокоит редут, возведенный Виком, поэтому ее нисколько не удивил следующий шаг губительницы — та попросту выдала армиям Морда местоположение редута, и тот был разрушен.

— Когда всему этому придет конец, я восстановлю город в неслыханном великолепии. Парки, школы, библиотеки, продуктовые магазины… все, что должно быть в городе — будет, — грезила вслух Морокунья, но Странная Птица не слушала ее. Пусть голодранцы слушают — их это, может, и вдохновит. Эта картина мира предназначалась им, тогда как на самом деле мысли Морокуньи

занимали мертвые черви, живые пауки и столь изобильные горы трупов, что Чарли Иксу и не снились.

Странная Птица к тому времени превратилась в грязную старую тряпку, накинутую на плечи Морокуньи, но даже в качестве тряпки ее нельзя было убедить в добре или милосердии со стороны той, что носила ее.

Теперь Морокунья оставляла за собой груды черепов и сожженные тела, и измененные дети, которые когда-то следовали за ней из-за экстатической жажды крови и убийственной радости, теперь повиновались из страха — и Морокунью это устраивало.

Крайние дни

И тут случилось нечто такое, что смутило Странную Птицу. Несмотря на отчаянную надежду, принесенную ей лисами, она чувствовала себя бесконечно уставшей, измученной и выдохшейся. Она прошла через слишком многое. Продолжала терпеть сверх того, что могло бы вынести любое живое существо. Она плохо видела, плохо слышала, плохо обоняла. В ее голове жило лишь эхо голосов, и она надеялась, что хотя бы некоторые из них принадлежат пекущемся о ней лисам.

Поэтому Странная Птица лишь ощутила, как в одну секунду тело Морокуньи ослабло, а уже в следующую — налилось стальным напряжением, отвердело так, что ей, должно быть, было больно от застывших мышц в плечах. От травмы, конечно, но больше — от шока. Потом был бешеный полет, бег вниз по лестнице через туннели и холод подземелья, сквозь темноту. Она ни с кем не разговаривала, поскольку спешила, да и не с кем было говорить. Вероятнее всего, все голодранцы исчезли или спрятались, а может, и вовсе разбиты, и кругом одни лишь подобия Морда.

После этого они отправились на юг, сообщил Странной Птице маяк внутри. На юг и еще раз на юг, так что она знала, что их целью должно быть здание Компании, в то время как лисы тянули за потрепанные края, призывая ее проснуться, чтобы маяк пульсировал сильнее. Даже несмотря на то, что первоначальный всплеск надежды угас вместе с ее здоровьем, и это все меньше и меньше волновало ее, запертую в ее собственном мозгу, и она парила, парила в дымке, ожидая, что скоро ее вынесет на склон холма рядом с Чарли Икс и, возможно, будет ей это даже в радость.

Дважды Морокунья приближалась к зданию Компании — и дважды бежала от псевдо-Мордов, пытавшихся оттеснить ее на север или запад, прочь из города. Их зловоние даже от Странной Птицы с ее угасающими чувствами не укрывалось. Псевдо-Морды чуяли малейшие запахи с той же легкостью, с какой источали смрад, и поэтому, видимо, Морокунья натерла лицо грязью, а сапоги — трупным жиром, а потом и вовсе сбросила их.

Но все же каким-то образом они нашли ее, потому что у нее был маяк на спине. Они выскочили из руин и завалов на песке и бросились на Странную Птицу, и та, будучи лишь пассажиром,

ничего не могла сделать, кроме как принять удар их когтей, прежде чем прянула в сторону Морокунья — задетая, раненая, но не смертельно.

Да, Странная Птица приняла на себя основной урон. Но разве страшно тому, кто и так полностью уничтожен, быть разорванным, располосованным? Ее так часто рвали раньше, и так часто она не могла убежать, так часто оставалось лишь терпеть, принимать как должное — и сейчас она не паниковала, не замечала даже боли.

Под прикрытием заброшенного сооружения, предназначение которого было потеряно во времени и песках, Морокунья отдыхала, хрипя от гнева и проклиная свое невезение. Она разглагольствовала о том, как неприлично хороши эти медведи во всем, что касается слежки, не ведая, что именно лисы направили псевдо-Мордов и подсказали, где ее искать.

Войско Морда преследовало их всю ночь до самого рассвета, и Морокунью нисколько не волновало, что из ее плаща на песок сочится кровь, что это может загубить ее маскировку. Ее заботили только ушибленные ребра и длинная неглубокая рана на спине, в том же месте, где и плащ был рассечен медвежьим когтем.

— Они думают, что поймали меня, — сказала

Морокунья Странной Птице, зажатой меж ее спиной и стеной. — Но никто не знает здание Компании так, как я. Кроме Вика, и он тоже направляется туда. Если он выживет, я буду следить за ним и обшаривать его кармашки. Если нет, мы с тобой еще можем собраться и переждать.

Странная Птица ничего не ответила. Она существовала в чудном мире, где в течение нескольких часов видела и слышала только из вторых рук, где ее чувства были отключены.

Лисы служили ей глазами и ушами, поэтому она слышала речи Морокуньи именно как лиса, подкравшаяся близко. И видела тоже глазами лисы: Морокунья была невидима, и плащ ее был невидим, но мерцающее голубое пламя в верхней части капюшона, заметное лишь для лис, точно отмечало местоположение маяка Странной Птицы.

И она должна поддерживать это пламя. Должна. Она представляла его красным, ярко-алым и трепещущим, но оказалось оно синим. Синим, как голова лиса на стене обсерватории.

И все же Морокунья двигалась вперед, презрев собственное изнеможение и дрянное состояние плаща. Она запутывала след и загоняла преследователей в расставленные ею силки — и

неизменно возвращалась назад окольными тропами, будто рассчитывая на встречу с кем-то. Наконец, до здания Компании остался лишь час пути. Странная Птица ощутила растущее лисье беспокойство — что-то древнее, с трудом сдерживаемое и глубоко залегшее заставляло ее дрожать и сомневаться в том, хорошо ли она лис знает. Знает ли вообще.

Позади оставался горизонт, на чьем фоне творилось нечто ужасное для Морокуньи — ибо, обратив к нему лицо, она ахнула в страхе. Лисы не хотели, чтобы Странная Птица тоже это увидела, так что пришлось напрячься, выходя за их заслоны. Оказалось, Морд боролся с чудовищем, всяко достойным его.

— Есть только то, что впереди, — бросила Морокунья своему предателю-плащу.

Призрак Чарли Икса преследовал их обеих, и в это время его осиротевшие мыши все жаловались Странной Птице — на однообразие обязанностей, на прошедшие впустую многие лета преданности хозяину. Они, похоже, хотели, чтобы Птица им посочувствовала. Но Птице, уже долго служившей Морокунье, не было никакого дела до них и до их невзгод.

Когда стемнело, Чарли Икс наконец отступил, и

Птица поняла, что разговаривавшие с ней мыши были совсем не теми, которых она знала. Туннели кишели жизнью, и эта жизнь была осязаема, хоть у Птицы и не было больше той чуткой всепроникающей сети, способной сличать любые следы.

Они сходили все глубже и глубже под здание Компании. Вниз, вниз и вниз. Поначалу Морокунья что-то ободряюще напевала себе под нос, но потом умолкла. Лисы тоже оставили Странную Птицу — остались лишь мрак, и рана, протянувшаяся через все ее тело, и осознание скорого конца. Больше она не продержится. Впереди, впотьмах, ждала Санджи, или призрак умершей Санджи, а может, это сама Странная Птица внушала себе, что пора на покой.

Последняя галерея образов, пришедших к ней из подземелья, несла в себе утраченный Эдем и золотистый миг, в котором птицы, подвластные лишь воздуху, ветру, но не чему-либо другому, застыли — на пике величественного полета. И как же Странная Птица завидовала им.

А потом — падение. Падение в здание Компании. Падение с островного насеста прямо в море: на миг почудилось, что крокодилов внизу больше нет, что опасность не грозит. И все, что остается, — просто упасть.

И она упала безвольной и бесформенной грудой в море, и волны сомкнулись вокруг в успокаивающем объятии, неся заботу, которой она никогда не знала. Море наполнило ее, но она сама осталась невесомой. Уже не чья-то часть и не чье-то видение — наконец-то сама по себе.

Было больно, потому что она знала, что так быть не может, что это какой-то обман.

Она — лишь поверхность. Она никогда не была птицей, бьющейся в стекло, а только самим оконным стеклом, и она больше не могла даже видеть себя.

И само Время не в силах это исправить.

Пятый сон

С дерева на острове облетела листва, а с костей крокодилов облезла вся живая плоть. Странная Птица, нахохлившись, сидела на мертвом островке, а перед ней простиралась дикая разоренная пустошь. Почти совсем заметенные песком, словно после миновавшего самума, тут и там лежали тела подопытных животных. Недвижимые — за исключением глаз. Синий Лис больше не светился. Везде, насколько хватало глаз, воцарилась тусклость.

Бескрылая, она застыла у иссохшего древесного ствола. Казалось, еще немного — и от него совсем ничего не останется. Лишившись самой памяти о своих крыльях, она наконец-то утратила их в полной мере.

— Мы отказались от всякой роскоши еще до того, как и следов ее не осталось — просто потому что знали, что однажды так будет, — говорила Санджи, сидя рядом с ней. — Мы знали, что настанут гораздо более трудные времена, если будем цепляться за роскошь до последней капли. Знали, что нам не выжить, и потому стали обходиться все меньшим и меньшим. И я не только о ка-

ких-то материальных благах… о многом другом — тоже. Мы начали воплощаться в том, что нас окружало.

— И во мне? — спросила Странная Птица.

— Да, и в тебе — тоже.

— Ты никогда не была добра и внимательна ко мне.

— Я старалась быть внимательной и доброй.

— Но на деле — была лишь жестокой.

— Вообрази себе: впереди — конец света. Вообрази, что есть кто-то очень дорогой тебе, но он — далеко, и тебе нужны плоды его работы. Представь, что надвигается тьма, а ты даже с тем дорогим тебе человеком поговорить не можешь. Ну да, у тебя есть половинка ключа от переговорного устройства — представь, как отчаянно и долго ты борешься за то, чтобы она сработала.

— Что это за компас внутри меня?

— Последний шанс. Последняя надежда. Что-то вроде песни, которую можешь спеть ты одна. Сокровенной песни.

— И куда мне пойти?

— Ты там уже была.

Они теперь находились не на острове, а в саду, среди яблонь. У ног — высокая трава, за спинами — бойня, и говорить совершенно не о чем.

На что надеяться?

Монстры сражались, и мир был залит огнем и дождем. А сама она была упрятана кем-то в мешок — раскачивалась вверх ногами вместе с маленьким человечком с лицом нетопыря в гробу с потайным люком в днище. На дереве. Рассекала воздух. Рассекала тьму.

Странная Птица нырнула в щедрое море, густое, теплое море, которое обвилось вокруг нее, успокаивая и питая, пока она плыла в его объятиях. Как хорошо было чувствовать себя невесомым. Не быть изношенным, не быть частью кого-то другого. Ибо по этому ощущению она также знала, что Морокунья, должно быть, изгнана или мертва.

Как хорошо просто плыть, скользить мимо всего вокруг, нестись по воле волн. Вместе с ней в гуще плавали и другие существа — но они ее не беспокоили. Даже черви, опутавшие ее длинной тонкой сетью, не чинили неудобств. Там, где они касались друг друга, исцелялась и восстанавливалась ее собственная плоть. Послышался журчащий звук, будто вода наполняла ванну, и она неуклонно поднималась все выше по мере того, как поднимался уровень воды.

Ее разум был чист, а чувства приглушены, как будто она долго и без кошмаров спала, и проснулась безо всякого будильника, в естественном порыве. Кстати, что такое будильник? Разве она когда-то им пользовалась?

Откуда-то сверху протянулся солнечный лучик, и она поняла, что на нее смотрят двое — встав по обе стороны. Смотрят без жестокости, но с тревогой. Не злые, но стремящиеся ей помочь. По лицам Рахили и Вика, а таже по потолку над ними, Странная Птица поняла, что находится уже не в здании Компании, а на Балконных Утесах — в стане врагов ее врага.

Лоб Вика избороздили порезы, а прозрачные глаза, делавшие его облик изможденным, покраснели из-за лопнувших сосудов. Рахиль была вся в грязи, в царапинах и ожогах. Что бы они ни пережили, этот опыт был мучительным. Но все, что они пережили, только что закончилось, и к тому же Странная Птица знала, что прошло не так уж много времени.

— Что это за штука? — Голос Рахили звучал угрюмо и приближался к Странной Птице словно с большой высоты, нисходил с невообразимых высот.

— Я бы спросил — чем эта штука не являет-

ся? — Вик оторвался от разглядывания Птицы и повернулся к Рахили.

— Она может летать? — спросила та у него.

— У нее нет крыльев, — ответил Вик.

— А она кусается?

— Даже если и да — не есть же нам ее за это.

— По-моему, как-то раз ты сказал, что куда хуже съесть бомбу, чем радиопередатчик от бомбы. Может, покончим с ней? Вдруг — опасная?

— Нет. Просто очень уставшая, настороженная. Ей крепко досталось — как и всем нам. Она — уже не та, что прежде. И прежней ей уже никогда не стать.

Вик криво усмехнулся. Между ними промелькнуло что-то древнее, более древнее, чем Странная Птица, что-то, что она никогда не ощутила бы даже интуитивно, за чем могла лишь наблюдать. Что-то отложенное в долгий ящик, но потихоньку возвращающееся — хотя бы и потому, что рука Рахили лежала на плече Вика, как бы поддерживая.

— Можешь ее спасти? — спросила она у него. — Стоит ли?

Вик сделал загадочную мину. Наверное, решит, что живой плащ не стоит того, чтобы о нем беспокоиться. Наверняка ей пренебрегут. Как и

раньше.

Он стал разворачивать ту часть Странной Птицы, что скомкалась. Расправил ее в гуще целебного бассейна. Его касание не чинило неудобств. Как славно, что свет здесь приглушен и не слепит! Уютная люминесценция напоминала ей о зиме за окном, о тепле огня в камине. Но разве она видела когда-либо зиму? Или, раз уж на то пошло, камин?

— Потрепанная, — заметила Рахиль. — За такую много не дадут. Посмотри на порезы, на вот этот разрыв посередине. Перья совсем бесцветные стали, не блестят уже. Не знаю, зачем я ее вообще забрала оттуда. Она уже тогда показалась мне мертвой.

Вик по-прежнему молчал, глядя на единственный здоровый глаз Странной Птицы, на тот хаос, который она теперь собой являла, размышляя и читая показания диагностических червей, все еще окутывавших Странную Птицу тонкой сетью.

Если бы только ты мог читать меня так, как темнокрылы! — посетовала Птица.

Рахиль, похоже, приняла молчание за отсутствие интереса, и, отвернувшись, сказала:

— Я могу просто выложить ее снаружи — даль-

ше она сама как-нибудь справится. Или распороть на материю. Не суть важно, в общем-то. Поступай как знаешь.

Мелкая дрожь, легкая судорога покоробила Вика. Невысказанная эмоция, сочувствие — он не смотрел на Рахиль, но и в ее взгляде, обращенном к нему, читалось участие женщины, знающей его так хорошо, что слова уже вроде как и не нужны.

— Морокунья носила эту бедную тварь как одежду, веришь ли? — спросил Вик. — Она ее в каком-то смысле создала. — Он смотрел с благоговением и отвращением на лице. — Я узнаю эти швы, эти метки. Только Морокунья могла сделать нечто подобное.

— А чем оно было раньше?

— Многокомпонентным гибридом. Но по внешней форме рискну предположить, что это была птица. Большая птица с переливчатыми крыльями. Большая-пребольшая — иначе бы на такой длинный плащ не хватило.

— Ты сказал «по внешней форме»… получается?..

— В ней слишком много от человека. Очень сложный гибрид, говорю же. Улучшенная нервная система — если покопаться, можно даже увидеть, где и как именно улучшенная. И не

только в голове нейроны — в перьях тоже. Прозреваю геном головоногих. Вот почему она все еще способна думать — ее мозги равномерно распределены по всему телу. Не знаю, понимала ли это Морокунья.

— Так это… *человек*?

Вик кивнул, снова взявшись за Странную Птицу. Мягкие, спокойные руки — и там, где они касались ее, информация шла к Вику через кончики пальцев.

— Иногда создатель оставляет оттиск. Вот его я и ищу.

— Как думаешь, для чего она была сделана? До того, как попала к Морокунье?

Вик пожал плечами.

— Остается лишь гадать. Назначений могло быть много. Прежде чем очутиться в руках у Морокуньи, эта птица была своего рода системой рассева генетического материала. Должна была засевать территории микроорганизмами в ходе своих полетов.

— А сейчас?

— Морокунья все это выбросила. И крылья ей отрезала. Удалила даже кости. — Наконец Вик убрал руки от Странной Птицы. — Но оттиск значительно более информативный. Кто-то

до Морокуньи модифицировал этот организм. Прописал побольше человеческих функций — например способность принимать взвешенные решения. Весьма специфические. Обычно они равномерно подгружаются из разных источников, а здесь источник — один. И передавал он в том числе и личностные черты.

— Ничего не понимаю. Разве это важно?

— Важно? Ну, не ведаю. По крайней мере это интересно. Кто бы это ни сделал, это ему должно было сократить жизнь порядочно. Сильно ослабить — как минимум. Кажется, этому человеку было гораздо важнее продолжить существовать в этой новой форме.

Оба замолчали. Странная Птица разделяла усталость, отпечатавшуюся на их лицах. Безграничную усталость от кровопролитий и бессмысленных действий от лица порядка. От лица городского возрождения.

Она знала, что оставить ее у себя стоило этим двоим усилий.

* * *

Внутри Странной Птицы копошились черви, сшивая поврежденные ткани, и чем целее она становилась, тем больше спрятанный в ней

ослабший передатчик походил на утраченный чудо-компас. Маленькие лисички отступали — они больше не нуждались в ней, да и она сама — в них. Она снова видела их в положенной им среде — на далеких дюнах. Лисы обменивались улыбками в лучах заката, улыбками, полными любви друг к другу и к павшему предводителю — тому самому, чью голову Морокунья приколотила к стене обсерватории. Поток входящей информации обескуражил ее, остров исчез — и Птице стало жалко терять его, пусть и жалость была мимолетна. Черви восстанавливали ее, пробуждали к жизни, возвращая то, что действия Морокуньи забрали. То, что было безвольным, становилось стойким, и Птица почувствовала вновь желание летать — пусть и неисполнимое.

— Ты сильная, — сказала Санджи у нее в голове. — И у тебя есть компас. Ты покинешь этих двоих. Ты выживешь. — И впервые Странная Птица поверила. Даже не потому, что так сказала Санджи.

Вик продолжал рассказывать, но Странная Птица не особо прислушивалась. Что-то ей было понятно, что-то — нет. Что-то хотелось узнать, что-то — не хотелось вовсе.

— Есть еще кое-что, — говорил Вик. — Своего

рода генетический императив. Он зашит глубоко и привязан к конкретному месту. На протяжении большей части своей жизни птица эта испытывала непреодолимое желание добраться туда, особенно после всех модификаций в человеческую сторону. Она содержит в себе послание, но я не смогу его прочесть — очень уж надежно зашифровано.

— Значит, мы должны отпустить ее? — предложила Рахиль с настоятельной интонацией.

— Да. После всего, что… если сможем. Ее нельзя вылечить обычным способом. Какие-то ее части безвозвратно утрачены, и что-то я восстановить не смогу. Я даже не понимаю, для чего это все было нужно. Но я могу сохранить то, для чего она была создана. Удалю жесткие формообразующие факторы. Координаты останутся, но то, что я вылеплю из этого… этого бардака… сможет выбрать для себя, что делать и куда идти. Уж такой-то возможности у нее давненько не было.

* * *

В итоге получилось целых четыре Птицы. Ровно столько вытащил Вик из резервуара. Остатки того, что некогда было живым плащом, безучастно опускались на дно, где их съедал сонм малень-

ких рыбок — илистых прыгунов и еще каких-то, безымянных, до ужаса скрытных. Фрагменты плаща закручивались в мутной воде в видимом подобии жизни, будто вздымаясь и опускаясь по собственной воле, но на самом деле то была воля рыб, пировавших останками, — их быстрые колючие поцелуи отрывали от непригодной материи кусочек за кусочком, и ее становилось все меньше и меньше. Мертвым клеткам было все равно, движутся ли они, идут ли из уст в уста, отдают ли им напоследок почести.

Двух Странных Птиц вынесла на балкон Рахиль, еще двух — сам Вик. Маленькие, как вьюрки, вышли эти птички. Серенькие, быстрые и умные. Идентичные — но каждая полагала, что является одной-единственной и хранила всю память остальных. Посмотрев друг на друга, птички зачирикали, обмениваясь сведениями и координатами, общаясь на секретном языке всего сущего. Их мысли протекали по практически не изменившимся былым руслам — столь быстрые, столь пронзительные.

Обретенная вновь телесная легкость казалась чудом, праздником и таинством. Весь их лишний вес теперь опускался вместе с клочьями плаща на дно резервуара с рыбками.

Вик и Рахиль подбросили Странных Птиц в воздух — торжественно, со смехом, точно благословляя. Ладони разомкнулись, отпуская их в воздух над загрязненной рекой. И Птицы взмыли, выше и выше — взлетели к самому небу, все вместе, бесконечно счастливые.

Помедлив, они развернулись и посмотрели на мужчину и женщину на балконе, и лишь потом устремились за реку и произраставшие на ее берегах рощи, навстречу югу.

Они больше не были Единой Странной Птицей, но Странной Птицей останутся вовек.

Куда стремиться?

Возможность лететь, выбирая вольготно направление, повергали в дикий восторг. Из четырех Птиц три направились туда, куда звал их чудо-компас — на юго-восток. И возносили эти Птицы песнь, что некогда была заложена в них. Четвертая же захотела не иметь ничего общего ни с компасом, ни с городом, и, предпочтя стезю одиночки, улетела на север. Сестры не винили ее в том. Они продолжали петь ей, пока та не стала лишь точкой на горизонте.

А потом они полностью отдались ветру. Для них, непривыкших к легкости тел, столь долго отягощенных связью с землей, полет стал возможностью отвадить тяжкий груз памяти. Их тела сверкали на солнце, глаза и клювы ярко блистали.

Так и летели они — за город, к пустыне, оставляя позади разрушенный пик Компании и маленьких лис. Туда, где даже призрак Морокуньи до них не достанет. Через циклопические ландшафты, сквозь жаркое марево — точно стрелы, пущенные в цель. Они набирали скорость и уклонялись, петляли и снижались, летали кругами, расходились

и сходились — все трое как одна-единственная, наслаждающаяся позабытой роскошью полета.

На третьи сутки их темные силуэты в небе заставили сработать похороненную давно в земле залповую систему. При их приближении она выпустила четыре снаряда, прорезавших воздух спирально закрученными шлейфами. И хоть Птицы и попытались оторваться от них разными хитросплетенными маневрами, преследователи все никак не желали отстать. Тогда одна из Птиц резко ушла в сторону, уводя снаряды за собой в пустыню.

Летите — и помните обо мне, сказала она — и заложила такой вираж, какой обычным птицам мог только сниться. Громыхнул взрыв, вниз посыпались рассеянные в угольки перья. Еще одной живой тварью меньше. Настанет ли этому порядку конец? Покуда на земле есть жизнь — едва ли.

Две Странные Птицы продолжили двигаться на юго-восток, к цели, находя поддержку в обществе друг друга. Они пели песнь, которую, как им было известно, не пел более никто.

Они спустились утолить жажду к водоему, вокруг которого росли пальмы. Оставалось пройти еще два из четырех делений компаса. Здесь к ним бесшумно (но без должной прыти) подкрался

приземистый хищник с вытянутым телом цвета песка. Сорвавшись в воздух, они стали бранить его, попутно поминая добрым словом сдержанность лис.

Из предусмотрительности они продолжили двигаться вперед в темноте без остановок. Они уже долго летели без питья и привала, чувствуя, как близится искомое — им не хотелось лишних промедлений. Пульс компаса опалял изнутри обеих, стучал в ушах, заставляя звезды на небе крутиться в калейдоскопическом решете; он же давал силы двигаться, сбрасывать по мере продвижения вес, доводить мышцы до предела, чтобы вкусить рассвет в выси, далеко от наземных мародеров, безуспешно паливших по ним, да и от любых других существ, какие могли им встретиться в бесконечной синеве.

Три дня спустя звук ветра сменился, прорезался запах морской соли, хоть самого моря и не было поблизости. Эти перемены еще неистовее погнали их вперед, но в своем упоении близким успехом Птицы стали слишком неосторожны — и не заметили, как незнакомый звук и усиливший-ся ветер предвещали атаку свыше.

Сокол, пронзительно вскрикнув, спикировал вниз и вонзил в одну из них когти. Даже горе

не успело найти должный путь к сознанию второй, уцелевшей — настолько молниеносна была утрата.

И снова осталась лишь одна Странная Птица. Как будто одна всегда и была. Но даже в смерти своей непокорная судьбе сестра торопила выжившую вперед, прощая сокола, потому что он лишь следовал своей природе, и в поступке его жестокости не было.

Последняя Странная Птица летела в гордом одиночестве, отрезвленная случившимся, — минуя непогоду, ночь и холод. Ей не было дела до темнокрылов где-то в вышине, не было дела ни до чего, кроме компаса, бившегося, точно второе сердце, по мере ее приближения к океану. Бившегося, точно сердца умерших. Всех — лабораторных животных, узников тюрьмы Старика, невольников воинственной Морокуньи.

Придется лететь одной. Пройти весь путь до конца, куда бы тот ни привел.

Где обрести покой?

На десятый день пустыня закончилась, и Странная Птица увидела остатки огромного отступающего темно-синего океана. Древние волны, изгиб залива, облепленный солью, вдаль простирающиеся пляжи с камнями и водорослями — ничего подобного она никогда не видела, разве что во снах. Она знала воду только как что-то, наполнявшее поилку в клетке и ревевшее в опоясывавшем остров окопе. Океан был чем-то новым и захватывающим вопреки давящей своей древности. Сильный ветер доносил запахи коряг и ракушек, оставшихся после прилива на песке, — пряный и свежий дух приливных бассейнов, — и к ним примешивался неприятный душок морских мертвецов.

Она устроилась в безопасности в густом, липком кустарнике на краю всего этого — и позволила ветру ласкать ее среди ветвей. Город был так далеко, что она не знала, сможет ли когда-нибудь найти туда дорогу, и это тоже было своего рода утешение.

На изгибе ветки, окруженная колючками, спала в ту ночь Странная Птица, убаюканная

шорохом приливов и отливов, соленым запахом моря, своенравным пытливым бризом, куда-то все звавшим ее.

Она спала, не видя сны. То была первая на ее памяти ночь полноценного отдыха — без помех, без паники. Такая обыденность, казалось бы, но при всём том — столь щедрый подарок судьбы.

Ранним утром на берег с моря накатывает туман — всегда с северной стороны, следуя вдоль линии прибоя. И Птица следовала за ним — такая маленькая, что сама себе дивится, что пытается вспомнить, каково это — быть размером с темнокрыла. Ей по нраву чувство легкости — будто раньше ее было слишком много, и теперь она просеяна, очищена от всего лишнего. Лишнее кануло, а то, что осталось — кристально чисто; то, что осталось — самая ее суть.

Она промчалась над останками старых прибрежных садов, где всплески красного или оранжевого напоминали ей о Санджи, яблоках и лабораторных оранжереях. Корявые деревья тут были низкими и истощенными из-за постоянного ветра и эрозии. Густой запах полевых цветов, росших низко и часто, разлился в воздухе, и Птица снизилась, окунув лапки в море щекочущих душистых лепестков.

На выступах черных скал осклизлые неуклюжие звери, покашливая, скатывались вниз, в воду, погружались — и снова всплывали, являя миру темные жесткие усы и большие глаза, полные непонятной грусти. А еще дальше — огромные морские чудовища, чей облик у Птицы не выходило толком уловить, давали о себе знать мрачными протяженными тенями на фоне глубокой синевы воды.

На вторую ночь она очутилась в месте, где морские утесы становились все выше, а земля — пустыннее, как раньше. Она нашла нишу в выветренном камне, воняющую морскими водорослями, и уснула, оставив один глаз открытым, поглядывающим на всех этих обычных и непостижимых хищников снаружи. Куда больше ее волновали люди. Одиночество в пути стало для нее благословением, успокоением мыслей. Всего остального она не боялась. Лишь смерть могла сбить ее с пути — но, если подумать, она уже столько раз умирала, что бояться чего-то столь изведанного совершенно не стоило.

На третий день, утром, она переждала внезапно налетевший шторм, затем вынырнула на солнце, блестевшее на вершинах шепчущих волн, и полетела. Вскорости компас Странной Птицы

запульсировал с новой силой. Она поднялась над холмом, подлетела вплотную к краю утеса, где он срывался в почти отвесную стену, а затем выровнялась параллельно росшей на плато короткой траве — и там, впереди, узрела лежащую в руинах лабораторную станцию. С растущей неподалеку яблоней. То была почти полная копия Лаборатории, из которой Птица некогда сбежала.

Неужели это и есть ее место назначения? Что-то внутри нее взбунтовалось. Проделать весь этот путь, вытерпеть столько всего, только чтобы, в некотором смысле, вернуться туда, откуда она начала? Интересно, есть ли там, внутри, еще один искусственный остров? Бойня, сады — все то же самое? Может быть, подруга Санджи еще жива, вопреки всему? Птице в это верилось с трудом. Ни один сенсор ее темной сети не сигнализировал о том, что поблизости есть жизнь.

Она облетела здание по кругу — раз, другой. Огромный след пожара размазал черноту по всей крыше, расплавил антенну и другое тонко чувствующее оборудование. Какой-то удар страшной силы оставил в стене здания пробоину, и из нее торчала баррикада, сложенная из лабораторных столов, стульев и стендов из нержавейки. В проемах баррикады виднелись и кости, облепленные

мхом и плющом.

Рядом лежала пустыня — Лаборатория располагалась на самой тонкой зеленой полоске между сушей и водой. Настороже, рискуя попасться кому-нибудь на глаза, Странная Птица не находила следов человеческой жизни. Кто бы ни разрушил Лабораторию, он, верней всего, направился дальше — в воды или вдоль побережья. Возвратится ли? Нигде, насколько знала Странная Птица, нельзя было быть уверенной в том, что угроза не найдет обратный путь.

Нет, не войдет она в это здание, не полетит по узким коридорам. Она не могла, для нее это было уж слишком. Птица вознесла хвалу Вику — благодаря ему она достигла этого места, но могла и покинуть его по желанию. Для чего бы ни предназначался компас, какой бы план ни задумала Санджи — Странная Птица опоздала.

Усталость. Усталость оттого, что она зашла так далеко — вот что ей чувствовалось. Но и без облегчения не обошлось. Теперь она могла закончить путешествие и жить собственной жизнью — так долго, как получится. Теперь она даже не возражала против одиночества, хотя когда-то надеялась найти себе подобных. Она знала, что они не могут ждать ее внутри, ведь если бы они

действительно были ее сородичами — восстали бы против такого места и давным-давно сбежали или умерли, пытаясь это сделать.

Тем не менее, пульс компаса все не утихал, хоть она и думала, что он уймется вблизи места назначения. Оставался последний возможный вариант — еле заметная мшистая тропка, идущая от лаборатории к морю. Даже если это — мертвый номер, чего ради Птица заплатила столь великую цену?

Пресный ручей поблизости срывался в океан миниатюрным водопадом. В кавернах за завесой воды угадывались потенциальные убежища. Вон та небольшая ниша, к примеру. Тут чудо-компас забился так сильно, что Птица еле-еле сумела взлететь. Поднырнув под водяной поток, она нашла пещеру, внутри которой непостижимым образом росли болотно-зеленые деревья с фиолетовыми ягодами. Съестными, судя по запаху.

Компас встал наглухо. Умер — в непосредственной близости от своего близнеца.

На одном из деревьев восседала пестрая птица. Ее сестра — во всем переливающемся великолепии; ее прежняя версия, прекрасная и не хлебнувшая всего того горя, что досталось ей. Их взгляды встретились. Птица на дереве с любопытством смотрела на маленькую птаху, тайком

проскользнувшую в убежище. И призраки, населявшие их разумы, наконец-то нашли друг друга.

Какое-то время обе настороженно и опасливо молчали. Смотрели друг на друга до тех пор, пока Странная Птица не поняла, что ее узнали. И — будто по мановению руки рухнула та стена, без которой одна не могла более прятаться от другой.

Хотела бы я, чтобы мир стал лучше, Санджи. Чтобы все мы стали лучше. Хотела бы я быть жива, чтобы встретиться с тобой. Чтобы все наши планы удались. Чтобы мир был спасен. Хотела бы я… но, если ты слушаешь это сообщение, значит, мы потерпели неудачу. И уже слишком поздно. Я держалась так долго, как могла, но… но.

И ответ был таков:

Пусть я не могу быть с тобой, солнце мое, я все равно буду беречь тебя всю жизнь.

Все, кто трудился над Странной Птицей… кто вмешивался в ее судьбу, кто возлагал на нее надежды или опасения… все они были мертвы. Вместе со своими чаяниями. Но Странная Птица могла видеть будущее. Вот они исследуют подлесок в поисках пропитания. Садятся на крышу разрушенной Лаборатории. Прыгают по дере-

вьям, срывая плоды. Ютятся в скалах — и, может статься, строят гнезда. В любом случае — живут долго-долго. Неважно, найдутся ли в их жизни спутники — вон они, овес и ежевика, растут у самого моря, клюй — не хочу.

И все лишнее, бесполезное и бессмысленное наконец-то забылось, лишилось цены.

Компас, крутящийся в сердце Странной Птицы, в конце концов оказался лишь нуждой одной обреченной человеческой души в донесении последних слов любви другой такой же душе. И пусть Птица чуть не осталась без тела, следуя ему — свою миссию она выполнила.

Да и потом, к чему потребны тела? Где заканчивается одно тело и начинается другое? Почему надлежит телам быть неизменными и сильными? Странная Птица лишилась многого, но засеяла еще больше — и теперь все ее существо заходилось в радостной песне. Радовалась она не отсутствию страданий и не окончательной своей сублимации, а наконец обретенной свободе. Пусть мир нельзя было спасти, он точно не был уничтожен.

Чудо-птица завела трель, и пусть то не был звук, знакомый всякому из птичьего рода-племени, Странная Птица поняла, что он значит. И если

даже от Санджи в ней осталась лишь малость — та все равно признала звук и ответила ему. Так две птицы и пели друг другу, и одно мертвое отвечало другому мертвому на языке, понятном лишь им одним.

Мертвые Астронавты

Даже во сне
Сдержу я обещанья,
данные тебе.
***HOT SNAKES*[4]**

7 “Какая это версия?”
7 “Нулевая. Эта версия – нулевая”.
7 “Ты веришь мне?”
7 “О да”.
7 “Любишь меня?”
7 “О да”.
7 “Обними меня”.
7 “Непременно”.
7 “Даже если я – уже не я”.
7 “Непременно, Мосс”.

0 “И тогда я всегда буду рядом”.
Даже раньше, чем знала тебя.

---

[4] Примечания: 4
Американская постпанк-группа под руководством Рика Фроберга и Джона Райса, образованная в 1999 году в Сан-Диего, штат Калифорния. Эпиграф взят из песни Suicide Invoice (2002). — *Здесь и далее прим. пер.*

Даже после того, как узнала.
Даже после.

1. Грезы Синего Лиса

Так они и бежали — сквозь бреши, найденные в швах. Бежали, памятуя о городе, где нет зданий. Им были открыты два мира — новый и старый. Старый мир — простор древнего морского дна, зеленого от камышей, подернутых ряской озер и низких, отравленных водной солью деревьев с толстыми заросшими мхом ветвями, на которых они могли спать.

Теперь же приходилось им отдыхать на полуразрушенных крышах да в тени колоссальных скал посреди пустыни. Теперь надлежало им окунаться в сны там, где только получалось, и доверяться дозорному, не ложившемуся спать. Их вера должна была быть легка, как пируэт, выписываемый мыслью на пути из одного ума в другой. Именно эта легкость даровала им возможность познать волю друг друга.

Цветом они были подобны песку, что мог свободно течь и замирать, мог под лапами оставаться незамеченным — но никогда притом никуда не пропадать. Песок ведь не мог распасться, своей последней формы он уже достиг.

И в ночи от одного к другому неслись хлоп-

ки — так они ловили мигающих во тьме, будто спасительные сигналы, гигантских светлячков. Смаковали шелест их сминаемых крыл, хруст панцирей. Вливали в себя прохладу мрака. После этого они резвились, выискивали скрытую воду, рыли собственные неглубокие колодцы. Раз не светила иная участь — слизывали с камней соль. Они спаривались, производили на свет детенышей, а порой — смотрели на далекие звезды и задумывались на миг, а что же находится там, за ними. Пусть даже для них это и значило не больше пляски светлячков в ночи.

Вплоть до Ноктурналии.

Вплоть до явления Синего Лиса.

Как-то ночью небеса полыхнули синим, и в головах у них пронеслась дивно быстрая мысль — одновременно знакомая и чуждая. Они разместились на границе между пустыней и городом. Их сердца неслись галопом. Храня неподвижность, они все равно готовы были вспрыгнуть, сорваться с места, впиться зубами.

И вот из пустыни вышел источник их тревог — выбежал рысью, скаля клыки, как и раньше. То был лис синего цвета — крупнее каждого из них в два раза. И он внушал им то, что всегда имел целью внушить.

Любовь. Силу. Судьбу. Предназначение. Шанс.

Он показывал им другой мир. Другой путь.

Но зачем им лидер? Почему бы не бродить им бесцельно, как и полагается дикому зверью? Их природа была дикой — так зачем им цель? Зачем дикому зверью смысл?

Я скажу вам зачем, промолвил Синий Лис, приблизившись. *Я скажу, почему это так важно. Для всех вас.*

И сияние Луны озарило его — стоящего пред ними, могучего, почтительного. До него им было рукой подать.

И наполнилась ночь громким визгом и лаем собравшихся — тех, кто являлись лисами, но не такими, какими знало их прошлое. Ибо кто есть лиса, как не полная противоположность человеческих представлений о ней?

Синий Лис сказал:

В город придут падальщики издалека. Они будут называть себя Компанией. У них не будет лиц. У них не будет тел, по которым можно было бы нанести удар, но вот конечностей им будет не занимать.

Компания привлечет за собой зверей, чудовищ, тварей, меняющих форму, — самым непредставимым образом. Явится враг, о коем никто из вас

и помыслить не мог.

Тогда сонм маленьких лисичек закружился около синего лиса, в движении своем уподобившись морским волнам — или хотя бы памяти о них. Неожиданно — с учетом того, что Синий Лис показал им всем.

К тому времени, когда лисы снялись с места, Синий сделался их лидером — и, хоть никто из них и не мог сказать, почему так должно было быть, так оно было правильно. Они чувствовали истинность сего положения. Нельзя было сказать, что их образ жизни переменился за короткое время, что они перестали быть собой. Но все же, в глубинах душ своих, они все ощущали перемену.

За это придется заплатить ужасную цену. Но я заплачу — все равно. Только последуйте за мной.

Эти слова прибавили им храбрости. Ожесточили их. Сфокусировали мысли в единый луч, бьющий из призмы разума Синего Лиса.

Теперь их действо обрело цель.

Из-за пылающих песков явятся трое людей…

2. Троица

i.

они прибыли в город под злою звездой

Что-то мерцает, что-то бликует на погруженной в пески окраине города, где бьет по глазам грань между небом и землей. Вечный блеск — все же истаявший по прибытии троицы, оставивший после себя запах хрома и химикатов. Кроме болот и пустот, что может быть за пределами города? Чему там процветать?

Тяжелый сапог разворошил песок и грязь, и напоминающая скорпиона тварь засеменила в безопасное место — будто человек, бегущий прочь от космического корабля, потерпевшего крушение. Хозяйке сапога противоестественная натура той твари была известна — точный удар, и биомех раздавлен, расквашен грубым весом каблука.

Из всей троицы «сапожница» всегда шла впереди. Она была темнокожей и высокой, неопределенных лет; звали ее Грейсон. Волос у нее на голове не было — волосы только замедляют, а она

любила скорость. На левом ее глазу расплылось бельмо, но сквозь него она вполне могла видеть; почему бы и нет? Болезненное и дорогостоящее усовершенствование зрения входило в ее обучение, давным-давно. Теперь она видела то, что не мог видеть никто другой — даже когда ей не хотелось этого.

Она пнула камень — тот полетел кувырком навстречу безотрадно-унылому холсту города, — и с мрачным удовлетворением отметила, что тот на мгновение заслонил собой белую яйцевидную структуру вдалеке, в южной стороне — здание Компании.

Позади Грейсон встали двое других — два столпа посреди песков, на фоне бескровного неба. За спинами — рюкзаки, набитые снаряжением и припасами. Мосс — так звали одну из них, а другого — Чэнь.

Чэнь был грузным мужчиной родом из страны, от которой ныне сохранилось лишь название — слово, имевшее не больше смысла, чем беззвучный вопль. Краев, из которых произошла Грейсон, тоже не существовало более.

А Мосс хранила упорную индифферентность — к происхождению, к полу, к генам. Вопреки прежним временам, теперь она была «она». Мосс

могла меняться с той легкостью, с коей другие дышали — без раздумий, по необходимости, либо же и вовсе без оной. Мосс умела открывать самые разные двери. Но у Грейсон и Чэня тоже кое-какие способности имелись.

— Прибыли, значит? — спросил Чэнь, оглядываясь по сторонам.

— Такая-то свалка, — сказала Грейсон.

— Не сыщешь двух похожих мест, заселенных призраками, — молвила Мосс.

— Каким бы дрянным место ни было — плохо будет его не спасти, — заметила Грейсон.

— Может быть, тогда мы его спасем? — спросил Чэнь.

— Если не мы, то никто, — подвела черту их ритуалу Мосс.

Отзвуки минувших времен — тех времен, когда их слова предваряли удачу, — зазвучали в полную силу, заглушая какофонию тех времен, когда сказанное ими предваряло беду.

После они уже не разговаривали по-настоящему, но мысленно передавали друг другу слова. Любому смотрящему со стороны они казались преисполненными покоя — столь же бесстрастными, сколь бесстрастна земля на древней могиле.

Как могли они грезить о доме? Он являлся им постоянно. Он являлся всякий раз, когда они закрывали глаза и засыпали. Он всегда оставался позади, неизменно являлся впереди — переписывая облик тех мест, куда они держали путь дальше.

Чэнь сказал, что они прибыли в город под злою звездой, и теперь — вновь умирают, зная, что здесь им не сыскать убежища, что это лишь перевал. Но троица эта уж долго вкушала смерть — и поклялась, что умирание их продлится как можно дольше, пусть даже будет оно неприглядно и болезненно. Они обязали себя биться до самого конца. Одолеть половину дороги к вечности.

Математически — прекрасно, великолепно даже, но на деле — ни капли в том не было великолепия. Близилась конечная цель, ибо они намеревались в один из ближайших дней, месяцев или годов положить конец Компании и спасти будущее. Хоть какое-то будущее. Ничто иное — кроме, может быть, любви, что они питали друг к другу, — не имело уже значения. Грейсон не заботилась о славе, ибо слава — расточительна, а Чэнь не пекся о красоте, ибо красота — лишена морали. А Мосс уж давно отдала себя делу, находящемуся за гранью человеческой

природы. Выше ее.

Пока мы всего лишь люди, могла бы пошутить Грейсон, но лишь потому, что она одна отвечала в наибольшей мере сему заявлению.

Им светил наилучший шанс — самый близкий к нулевой версии, к оригиналу, самое достоверное эхо города; на лучшее рассчитывать не приходилось. Во всяком случае, так им сказала Мосс.

Грейсон, неугомонная лидерша троицы — если так ее можно было назвать, — прицелилась: глаз с бельмом стал ее оружием, рука стала ее оружием, и не найти во всем мире более верного прицела. Но троицу снедали беспокойные, опасные думы. Мозги всех троих трепетали от наваждений: странные созвездия, координаты очень далеких миров. Пред ними разворачивались карты ада — начерченные убийствами, отступничеством, кровью.

Так как троица наконец-то нашла дом, так как троица шла к городу, что был безоговорочной собственностью Компании, враг пришел за ними, едва они задели незримую растяжку.

Жуткие создания вздымались из песка — впрочем, то был не совсем песок. Крупицы-наниты срастались в дьяволов со сверкающими глазами,

готовых воздать троице отступников по грехам их. Разинул чудовищную пасть Левиафан, жравший твердь — и изрыгавший ее обратно; вот он преобразился в Серафима со множеством крыл, затмевающих солнце. Все эти чудовища грозили клыками и когтями, дышали жаждой убийства — становившейся все более осязаемой с каждым робким шагом чудовищ. Эктоплазма, звездное вещество — как ни назови, *это* обретало мощь под аккомпанемент громогласных стенаний и низких гортанных стонов. Становилось сильным то, что раньше было слабым.

Лишь Мосс из всей троицы сочувствовала этим созданиям — и то потому, что с ними у нее было гораздо больше общего, чем с Грейсон или с Чэнем. Чудовища фосфоресцировали, сочились туманом практически невесомой биомассы, зелено-бирюзовыми токами — будто явились не из пустыни, а из глубокого древнего моря. Их соленость накрыла троицу — вкус палеомезозоя, достойный того уважения, что обычно выказывается старым костям, помещенным в музей.

Монстры эти были созданы для борьбы с каким-то иным врагом, отнюдь не с троицей, поэтому Чэнь, Грейсон и Мосс не сбились с шага, не обратили ни капли внимания на этих призраков. Они

игнорировали производимые ими кошмарные звуки, им не было дела до их сочащихся ядовитой слюной пастей и их гротескных теней, пляшущих на раскаленном песке. И когда молекулы троицы встретились с молекулами чудищ-защитников, защита распалась — и вновь уподобилась песку.

Не всегда случалось так.

Порой, когда они шли не втроем, а разделялись, меняли обличье, тем самым делая себя слабее, стражи пожирали их, рвали плоть и сокрушали кости. Их тела они превращали в пыль, которую консервировали и надежно прятали, будто ведая, насколько опасна сама ДНК отступников. Они снимали показания с датчиков, и все доказательства этой опасности тщательно документировали — так им открывалась истинность угрозы.

Здесь, в данном городе, их поджидал и второй заслон — в образе гигантской ящерицы. Грейсон справилась с неожиданностью одним прыжком и взмахом руки — ладонь ее увенчалась острым лезвием, красная черта пересекла чешуйчатый зоб. Ящерица, рванувшаяся им навстречу из песка, была не биотехом, а естественным образом выведенным организмом — то есть, организмом бесповоротно смертным. И все же были у этой ящерицы свои причуды: одна ее лапа вдруг

рванулась в небо, отделившись от тела, и превратилась в крыло, а крыло, в свою очередь, начало обращаться птицей — полноценной, способной отчитаться перед Компанией.

Но Чэнь воздел левую руку к небесам и позволил той части себя, которая идентифицировалась как «рука», оторваться, рвануться к птице, подобно звезде с зазубренными краями, и разъять ту на кусочки — просыпавшиеся дождем, подобно осколкам зеленого стекла или кусочкам яблочного леденца. Свершив атаку, звезда-рука засияла золотом в недрах огромного пустого неба — словно яркий маяк.

Чудовища сгинули. Первое испытание было пройдено. Но дальше так просто не будет, дальше все изменится. Об этом им говорило некое странное чувство.

— Они нас выследят.

— Они всегда нас выслеживают.

— Утка со сломанным крылом?..

— Уже здесь.

В этот раз утка прямо-таки поторопилась — обычно на ее приход отпускалось больше времени. Она наблюдала за их приближением из грязной лужи, где и воды-то почти не осталось. Скорее рептилия, нежели утка. Что-то ящеропо-

добное. Что-то вроде утки — если не подходить вплотную. Порой они называли монстра *темной птицей.*

Утка всегда ждала их в городе. Она была постоянна, как компас со стрелкой, лишенной магнетизма. Утка ждала их на протяжении всех версий, всех лет. Была у них даже такая поговорка своего рода: *сначала утка, потом лиса.* В последнее время добавилось «*потом рыба*» (или «манта», парящая над сухим морским дном, будто воспоминание о целом косяке рыб).

Первый вопрос, который они задавали себе по прибытии, звучал так: «Утка за нас или против нас?» Если утка против — всяко жди беды. Она могла засеять в землю впереди всех только что побежденных троицей чудовищ. Или, что гораздо хуже — как только они приблизятся, проанализировать их природу и породить куда более специфическое, заточенное под них оружие. Понять, на чьей она стороне, при таком раскладе можно было только приблизившись.

Подпитывала утку некая идущая снизу сила. Ее проявлений троица ни разу не видела — но чувствовала ее, словно нависшее проклятие.

— Утка за нас, — произнесла Мосс.

— Ты это как-то неуверенно сказала, — заметил

Чэнь, вытянув другую руку на манер оружия — коим она, в сути своей, и являлась; вытянул, готовый нанести свою метку на утку.

— Во всяком случае, она нейтральна по отношению к нам, — внесла оговорку Мосс, но в ее голосе все еще не было уверенности.

Грейсон разделяла беспокойство Чэня. Раньше Мосс всегда знала, что к чему — и не ошибалась. Если утка казалась ей *гладкой*, значит, вреда та им не причинит; а вот когда утка *шершавая* — значит, будет больно, очень-очень больно. Только так Мосс могла передать свое прозрение на словах.

Самой Грейсон утка виделась крошечным солнцем, источающим каскадный поток тепла и света. Ее особый глаз не мог ни проанализировать это солнце, ни проникнуть сквозь его ослепляющую ауру и понять, что за ней скрыто — соляной столб, или, быть может, нечто из плоти и крови. Никаких показателей ее зрение не выявляло — что само по себе было своего рода передышкой от видений, которые она, обретя расширенные возможности зрения, не могла развеять. Для Грейсон мир сделался непрерывным информационным фонтаном, бьющим прямо в глаза; в нем умение время от времени брать самоотвод и перевари-

вать увиденное стоило дорого — оно помогало ей сохранять здравомыслие.

И Грейсон радовалась утке со сломанным крылом, как старому знакомому. Утка напоминала ей, что даже от сломанного крыла бывает польза: нет ресурса, что может быть потрачен только и исключительно впустую. То, что с виду сломано — вполне возможно, очень даже цело.

— Значит, сперва — лисы, — сказала Грейсон. — Мы заключим пари с лисами.

Их ритуал. Если он когда-нибудь будет нарушен, ничто в мире не сберечь от нарушений.

Все трое подобрали свое снаряжение и как один двинулись через пески в город. Тяжесть пытливого, сканирующего насквозь взгляда утки легла на их плечи.

Они все равно тащились вперед — неугомонное трио, отбрасывающее долгие, угрожающего вида тени, объятые угасающим светом. Неугомонная троица людей, страстно любивших друг друга, не видевших в друг друге ничего, кроме хорошего. Через столько лет они пронесли эту любовь и это стремление; уж теперь-то нечего было им терять.

Они потерпели неудачу в последнем городе. И в предпоследнем, и в том, что был до предпо-

следнего. Порой неудачи протискивали их еще дальше, порой ничего не меняли.

Но, может статься, наступит час, когда определенного рода неудачи будет достаточно.

ii.

не нуждались в тепле – в них самих жил огонь

Чэнь мог видеть фрагменты будущего, но являлись они ему «только в виде уравнений». Он часто на это сетовал. Исчисления могли искалечить тело и волю за здорово живешь, а вот укрепить их им редко удавалось. Поэтому моральный дух троицы на цифры никогда не полагался. Чэнь создавал на основе своих уравнений-предчувствий стихи, потому как, по факту, для него они были бесполезны в каком-либо ином качестве, да и он никогда не был уверен, что именно видит — грядущее или былое. Сгинувшее.

Чэнь любил играть на фортепиано и запивать сытную трапезу пивом. У него огромная энергия уходила на поддержание стабильной формы, так что ел он много. А игра на фортепиано воспитывала в нем осторожность — внимание к собственным неуклюжим пальцам. *Так я ста-*

новлюсь более гибким, говорил он, ссылаясь на кое-какие факты из собственной истории. Ну или того, что в него было инжектировано вместо истории.

В последнее время и того, и другого не хватало — и фортепиано, и сытных трапез. Ему приходилось питаться молекулами воздуха, с которыми он часто себя ощущал взаимозаменяемым. Свои показатели он сравнивал с показателями Мосс, так как в текучих состояниях они действовали схожим образом — пусть даже и ему приходилось бороться с испарением или утратой массы, а ей, напротив, с ростом аккреции[5], отягощением.

Их тела обрели прерывный характер. Их тела были заражены — как их плоть, так и их души.

Чэнь был зажат меж двух огней — между вероятностями и невероятностями. Всегда существовал шанс того, что рано или поздно он распадется на слагающие его части. Он стал думать о себе как о сложном уравнении, и вместе с тем — как о симфонии. Была ли, в самом-то деле, разница между первым и второй?

---

[5] Примечания: 5

Аккрецией (от лат. accretio — приращение) называется процесс захвата вещества из окружающего пространства гравитационным полем некоего тела (чаще всего подразумевается небесное) и последующее «налипание» части этого вещества на поверхность тела.

Уравнение Компании ускользало от разумения Чэня — возможно, из-за того, что когда-то он побывал в нем одной заплутавшей переменной. Как Чэнь говорил порой, системе ненавистен источник — его корневую систему она, как бы в издевку, превращает в лабиринт; чем больше думаешь, что понял ее, тем основательнее она тебя захватывает, и тем сильнее ты потерян.

Пока они шли, подозрительно оглядываясь на всякую тень, спрятавшуюся в очередном обшарпанном здании, они общались меж собой:

— Это место никогда не было настоящим.

— Было, — возразил кто-то, Чэнь или Мосс, какая разница.

— Под *настоящестью* я подразумеваю долговечность.

— Значит, настоящее попросту не существует.

— Существует, еще как.

Пожалуй, полноправно *настоящей* была удерживающая их от распада связь — протянувшаяся через все версии.

Сияющая звезда-рука Чэня занялась пламенем еще до того, как они пошли дальше. Так и сгорела, не упав — и облачко пепла, храня зыбкие очертания пальцев, скользнуло вниз по воздуху в ласкающем жесте, и распалось, так и не достиг-

нув земли. Бывает. К утру вырастет еще одна. Но он и эту, старую, какое-то время еще чувствовал. Как она плыла по воздуху, как становилась ничем: приятное ощущение *исчезновения.*

Рука как бы приспустила завесу с того, кто создал ее (вместе с Мосс): самого Чарли Икса, которого Чэнь предпочитал воспринимать как пропавшего четвертого члена их отряда. Напрасная надежда: в разных версиях — ни одной зацепки. Ничего такого, что могли бы засечь острые чувства Грейсон — ничего такого, что могло бы удовлетворить желание Грейсон всадить пулю в мозги Чарли. Слишком поздно.

Чарли Икс красовался на той части школьной доски, о которую потерлись, размыв все написанное, и теперь никто не мог решить это уравнение. Осталось им только знание о том, что первоначальный ответ — неверен.

— Так о чем бишь я?..

— Что, уже теряешь суть? Суть — защита!

— Да у меня таких *сутей* — еще целых три.

Неужели они все утрачивают суть по ходу своего паломничества?

Даже если так, Мосс — в самом выигрышном положении. Для нее суть была роскошью. Мосс служила картой, входом и выходом, главой

грабительской шайки и планом ограбления единовременно.

Уравнение Чэня представляло собой стену из кругов со знаками плюс между ними, и некоторую базовую геометрию в довеске, которая доказывала, что был он чем-то большим, нежели простая сумма его частей. Арифметика объединяет.

В случае Мосс все было не в пример запутаннее. Мосс любила лишайники и мхи, морскую соль и пляжи. И еще она любила оценивать наугад геологический масштаб всего и вся. И клубнику — она любила ее даже теперь, когда клубники не сыщешь днем с огнем. Кроме того, Мосс любила спасать животных и растения, что нуждались во спасении. Она верила, что они это заслужили.

В основе жизни Мосс лежало своего рода преступление, очевидцем коему отчасти выступал Чэнь — но о нем он никогда не рассказывал Грейсон, будто боясь разбередить некую рану. Сама же Мосс эту правду о себе обнесла стеной, высокой и нерушимой. Грейсон, открытая донельзя, могла лишь завидовать такой обороне.

И все же порой ее особый глаз улавливал определенные намеки — глаз, что был настолько открыт всему чуждому, что порой оказывался

одновременно открыт и закрыт. Глаз Грейсон зрил: вот Мосс бредет сквозь вихрь снежинок, вот выходит из жерла туннеля, вот — выбегает из горящего здания; все эти воспоминания будто бы просочились за заслон без ее ведома. Возможно, они служили созданной только лишь для отвода глаз иллюзией, проекцией. Как понять? Как разобраться?

Для Чэня Мосс была стеной не то из кружков, не то из нулей, что валились друг на друга, и из каждого нового нуля выглядывала новая, отличающаяся от всех прочих версия Мосс. Нули-порталы делились сами по себе, пока места для прочих элементов уравнения не оставалось, пока скобки не превращались в виноградные лозы, разрывая границы доски и превращая математическую задачу в нерешаемый парадокс. Мосс среди нулей чувствовала себя вольготно. Как она часто говорила, ей ничего не стоило вырастить новую себя из обрезка ногтя большого пальца.

Чэнь был обязан доброте Мосс, но Грейсон никогда не поймет обязанность такого рода. Его опыт с Мосс нельзя было познать со стороны — лишь пережить; и ни сопереживание, ни домысливание не помогли бы тут ничем.

На контрасте с Мосс, Грейсон представляла

собой единый круг, из которого исходили вычисления, подобные солнечным лучам — а между всеми лучами была решетка из цифр. Ей нравилось быть прямой, как удар кулаком в лицо. Подобная прямота въелась в нее за годы выживания в здешней агрессивной среде, от нее она уже не могла избавиться. Грейсон знала, сколь высоки ставки их миссии, потому что до появления в ее жизни Чэня и Мосс одно только понятие выбора было сродни роскоши для нее. Чэнь старался не переосмысливать ее, не превращать в поэзию — хоть это и было в его духе, — боялся, что образ ее разлетится по сторонам, как нули Мосс, разлетится и не сможет вновь собраться, вопреки извечной манере Грейсон плотно-плотно сжимать зубы.

Чэнь, Мосс, Грейсон. Теперь у каждого из них было одно-единственное имя. Фамильярности отсеялись — в них не было нужды, для них не осталось места.

Разбив лагерь, они улеглись рядком, тесно прижавшись друг к другу. Троица неразлучных. Почти бесшовное слияние — слишком комфортно их единство, зачем разлучаться? Они не нуждались в тепле — в них самих жил огонь; жил, согревая даже в самый лютый мороз. А родитель-

ницей этого очага тепла была Мосс.

— Спокойной ночи, Мосс.

— Спокойной ночи, Чэнь и Грейсон.

Грейсон что-то пробурчала в ответ, но они знали — она тоже их любит.

Им всем уже доводилось убивать себя или друг друга. Чэнь убил Чэня. Мосс сожрала Мосс. Грейсон убивала их обоих. Мосс убивала Чэня, Чэнь — Мосс. Таким вот образом их близость стала экспоненциальной — вместе с печалью и сожаленьем. Они лежали вместе, в живом коконе, неразлучные — бережно храня тех Чэня, Мосс и Грейсон, что все еще были живы. Их последние версии.

Троица чувствовала: утка со сломанным крылом бдит за ними издалека. То ли к добру, то ли к худу.

Темная Птица.

iii.

его был опыт многотруден, но то с лица его не счесть

ВОтжилках что Город, что Компания могли похвастать уймой разных имен, так сказал Чэнь. В Жилах их называли просто Город и просто Ком-

пания, при тихом одобрении последней. Сухие термины, никакой индивидуальности, края сглажены все как один. В Жилах ставки были выше, но и награды — изобильнее. В Отжилках от тебя отщипывали маленький кусочек, когда ты на что-то отвлекался — и все.

Но версии Города были не единственной переменной, которую вычислил Чэнь и которую воплощала Мосс. Время было второй переменной величиной, и оно не было непоколебимым. Иногда им казалось, что они несутся вперед, в свое собственное будущее, и это были самые худшие их моменты.

Труп Города, насылая страх, тлел на равнине. Вальяжно развалясь, здание Компании, разбухшее и разжиревшее, нависло над канавами улиц, стекающихся к нему, — без пустырей, без прогалин и ветвлений. Пахло кровью. Одна Компания, по сути — никакого тебе Города.

От этих лабиринтов-версий они поспешно отворачивались, отворачивались от собственной смертности и бесполезности. Ибо ничего нельзя было приобрести, только лишь потерять.

Труп города, насылая страх, тлел на равнине. Ущербно поникнув, здание Компании, иссохшее и мертвое, нависло над перипетиями улиц,

разбегавшихся от него, изрытых пустырями и прогалинами, ветвящихся. Один только Город, по сути — никакой тебе Компании. Изменяющие форму существа, принявшие обличье кто мокриц, кто хамелеонов, манифестирующие себя в виде огромных полевых цветов, преображали всякого, кому порой случалось вознестись непокорной головой над своим убежищем. Пахло смертью — глубокий, бархатистый дух. К таким версиям они поворачивались спиной медленно, после нескольких дней в своих грязных скафандрах, стараясь не дышать их воздухом. Можно было перегруппироваться в таком месте, но ни убежища, ни противника — не найти. Можно было лишиться бдительности в таком месте, где затишье равносильно смерти — и пробудиться ото сна о расцветающих бутонах, источающих вибронные волны распада.

Ведь именно этого и желали их тела: уйти на покой и более ничего не знать.

Этот Город был похож на все остальные города: обсерватория — на северо-западе, заводы — на северо-востоке, против грязной илистой тропы, что была рекой; огромный конгломерат рябых полуразрушенных многоквартирных домов — к югу от заводов, там Компания размещала рабочих;

и на юго-западе — белый блик здания Компании.

Сильнее всего менялось диагональное пространство между Компанией и ее заводами — пространство, напоминающее ландшафт древнего морского дна. Порой оно являлось как мертвый «лунный пейзаж», порой — как эстуарий, окруженный плеядой прудов-отстойников[6], запитанной от овивающей ее реки. Порой это явно был рабочий полигон Компании — возможно даже, некогда плодотворный. Люди в большом количестве зарабатывали там себе на жизнь — возможно даже, продавали еду, которую выращивали для выходцев из Компании.

Грейсон особенно не доверяла этим видениям. Все, что делала Компания, кого-то уничтожало, кого-то убивало, даже если и помогало кому-то другому. Все остальное было лишь уловкой, и никакой защиты от нее не было.

— В моей версии этого не было.

— Было в моей.

— В моей версии были одни перверсии. Там, впереди.

---

[6] Примечания: 6

Пруд-отстойник (англ. holding pond) — искусственно созданное водохранилище, в котором накапливаются поверхностные стоки. Бывают водоснабжающие, нерестовые (используются для разведения рыбы) и санитарно-профилактические (очистные).

И вон там, и вон там, и еще — там. Перверсии — не в смысле «отклонения от половой нормы», а в смысле — нечестивости, способные разрушить твой разум, да и тело порядком покорежить. Сделать так, чтобы даже мысли о тебе никогда больше не существовало.

Шутка мрачная, шутка древняя. Полезно держать ее в уме, пока вся память твоя не исчезнет.

А бывало и так, что они двигались назад во времени, и Компания являлась им на ранних стадиях постройки — окруженная таким количеством стражей, что им даже не понять было глубину опасности, их подстерегающей. Глядя на Компанию на таком вот этапе, можно было даже обмануться, что будущее будет достойным — если, конечно, уже не видел будущее. Обагренное кровью, подтопленное смертью: погибель предпочла залечь на дно, прежде чем рвануться к поверхности в конце времен.

Пользуя математику Чэня, поверяя с ее помощью свой внутренний компас, Мосс отсеивала невозможное для троицы и выбирала лишь те Города, где горькая возможность коллапса давала им шанс. Шанс мимолетный: Чэнь, объединившись с Мосс, будет вычислять скорость распада, параметры его ускорения/замедления,

все относительные неизвестности — катаклизм, утка, другие версии Чэня, вероятность где-то повстречать враждебную версию Мосс или другую Грейсон.

Каково будет — встретиться с Чарли Иксом, еще не сошедшим с ума, стереть его память? Какого будет Чэню лишиться ненависти к Чарли Иксу и не вспоминать о том, как тот смотрел на него? Продвинуться назад — к точке, где Чарли Икс был молодым и почти что безликим в силу своей невинности, ведь, хоть его опыт и был многотруден, то с лица его было не счесть.

Существовало то, что Чэнь никогда не включал в свои расчеты.

То, что сказал ему Чарли Икс — грязный, в лохмотьях, — сказал ему в тот миг, когда странный чуждый огонь вспыхнул в его глазах. И вспыхивал тот огонь не раз и не два, потому что в ту пору, в тех версиях, Чарли Икс не мог подолгу держаться за одно лишь свое «я».

Один-единственный раз. На этом самом месте. Пока Мосс и Грейсон были заняты своими делами, а Чэнь стоял на страже.

«Я тебя помню. Я тебя помню. Я тебя помню. Ты всего лишь мой сон. Сон, который я сам придумал, — вот и все, что ты есть».

Чэнь дрогнул, подавив желание раствориться — и в растворении своем унести Чарли Икса во мрак вместе с собой.

Ибо это было бы капитуляцией.

Мосс сформулировала для Чэня «правила полезности». Как то: оставаться неподвижным, быть маленьким, иметь правильный камуфляж, знать все хорошие места для укрытия наперечет, стать симбиотом или паразитом, источать яд, уметь регенерировать части тела.

Если хочешь выжить — сократи все движения до нуля на длительный период времени. Доверься течению. Да, течению. Именно, течению. В нем уже заключены все сущие виды — так во время прилива вода рябит во всех приливных бассейнах, и даже в тех, что раньше хранили стылую незыблемость своих крошечных царств.

Будь это самый чистый город, тот самый, что существенно влиял и на сам Источник, и всех, кто был в нем, эффект в нем был бы наизаметнейший.

Но увы. Будь мал, будь неподвижен. Не спеши. Возможно, волна достанется тебе не первая и даже не тысячная. Прямой канал защищен. Зарази сложенную из глобул стену внутри Компании, отправляйся затем к Источнику. Та стена — портал,

волшебное зеркало, ведущее туда, откуда пришла Компания. Позволь ей принять себя, просочись внутрь подобно медленно действующему яду, который на самом деле и есть Жизнь, в первичном ее виде. Жизнь беспрерывная.

Правила первичных вод, вот как она это называла. И порой чувствовала, что прибегает к ним, чтобы делать что-то нереальное. Плодить фантомное ощущение. Смотреть со стороны, как ее двойник отправляется в путь вместе с Чэнем.

Она помнит о том, как Грейсон повернулась к ней и сказала — что-то одно из трех:

Час пробил. Час настал. Я чувствую.

Когда-нибудь мы вернемся в первичные воды.

Сколько раз это все уже было?

Назови какое-нибудь незначительное с твоей точки зрения число. Такое, что кажется пустым звуком.

Как будто одно из уравнений Чэня кричало, чтобы его выпустили. Как одно из созданий Чэня, запертое в сложенной из глобул стене.

iv.

то, и так чем богаты нет нам смысла давать

Троица знала, где найти лис в этом Городе — во всех Городах. Мосс любила лис, а Грейсон относилась к ним настороженно — ей они казались слишком умными и каким-то образом повинными во всех их неудачах. Лисам присуща хитрость — то самое качество, на котором строится зловещая натура Компании.

Чэнь никак к лисам не относился. По его расчетам, они должны оставаться константой — неотъемлемой частью плана. Поэтому на них он даже не тратил свои эмоции.

Первый представитель лисьего роду-племени встретил их на обрушившемся мосту, легшем поперек каменистого, заросшего сорняками речного русла. Троица карабкалась через овраг, следуя на юго-восток, к Балконным Утесам. Теперь на них был камуфляж, так что они казались лишь легкой рябью на фоне реальности. Как любила называть подобную маскировку Мосс, *фейный режим.*

В каком-то смысле, заняв верхушку моста, Лис устроил им засаду. Он был с волка размером, и Грейсон почувствовала угрозу в его взоре. Своим особым глазом она изучила превратности

строения мозга Лиса. Сразу определить, родился ли этот красавец с синей шерстью, неподвижно взирающий на них, уже таким, или его кто-то утрудился модифицировать, она не смогла.

Так или иначе, они все изумились. Так рано натыкаться на лис им еще не доводилось.

— Ваш дом далеко отсюда, — заметил Синий Лис.

— Здесь — наш дом, — ответила Мосс.

— Не для всех. И — не этот Город. Наш Город.

— Этот город принадлежит Компании.

— Но ее собственностью не быть ему вечно.

Мосс служила и приемником, и передатчиком — именно через нее Грейсон и Чэнь восприняли разговор с Синим Лисом.

— Ты примешь от нас дар? — спросила Мосс.

— Я не принимаю подарков от незнакомых людей.

— Но мы же не чужаки. Ты же нас знаешь.

Мосс впустила Синего Лиса в свой разум. Чем дальше в этот лабиринт зверь заходил, тем больше даров получал. Он понимал их миссию, получал более полное представление о Компании, смотрел, как лисы помогали им пересечь уже так много городов. В его лице они чаяли обрести надежду.

(Что просочилось в их умы? Куда они отправились, не имея должных знаний при себе? В сознании Мосс *это* встало заслонкой, помехой; в сознании Чэня — шло за вероятность. Версия 2.1 — это версия 2.2 плюс 2.3 плюс 3.0 плюс то, что может разорвать разум на части, если попытаться рассмотреть это вблизи.)

— Я не стану ступать чужой тропою без карты, — сказал (или подумал) Лис, и внушил Мосс образ: он сам, замерший у входа в темно-зеленый лабиринт из лиан и лоз. Лабиринтом была Мосс, и Лис не спешил в нее входить. Мосс облекла видение в слова — для Грейсон и Чэня.

Слова, многажды повторенные прежде, а потом — гладкие, обкатанные, как морская галька, слетели с сознания Мосс:

— Компания убьет тебя без нашей помощи.

— Компания *уже* убивает нас, и все ж — мы здесь, — парировал Лис.

Со всех сторон, из всякого укрытия, таращились на них маленькие лисички песочного цвета — товарищи большого синего вожака.

— Мы можем облегчить вашу участь.

Лис обдумал эти слова, взирая на город с видом его будущего правителя.

— Я вот что тебе скажу — а это уже довольно

много: в этом городе нет Мосс. Ни намека, ни следа. Подумай об этом в первую очередь. — Мосс к тому времени уже была не только человеком, но и магистральным каналом, и даже как личность была она не более чем скоплением многих версий Мосс, вобранных в нее. Всякий раз, когда Мосс встречала на пути другую Мосс, они сливались, и Мосс-магистраль становилась в результате более могущественной.

Двигаясь рысцой, Лис снялся с места — и пропал из виду. Растаяли и все его спутники, будто их никогда и не было.

— Такого еще никогда не случалось, — заметил Чэнь. От него не укрылось, как Лис глядел на Мосс — как на лакомый кусочек. Тоже что-то новенькое.

— Дайте ему время, — промолвила Мосс, хотя в их положении время было как дурной каламбур. Их у него было еще меньше, чем они предполагали — в Городе не было Мосс. Значит, ни нового компаньона, ни нового воссоединения.

— А сколько у нас его осталось? — спросила Грейсон.

(Чэнь вспомнил, как число 7 стало одновременно счастливым и конечным — не дверью, а стеной. Без привязки к 6,99999999999999. Но

семерка была числом Лиса, и Чэнь не мог ей оперировать — как не мог оперировать и Лисом.)

Если встреча с Лисом произошла раньше ожидаемого, значит, и все прочие к ним явятся гораздо быстрее. Это они знали наверняка. И Мосс знала еще кое-что, о чем не догадывались двое ее спутников. Скоро она вновь увидит Лиса.

— По-моему, ты прекрасен, — породила Мосс отягощенную мысль, глядя на то место, где до поры был Синий Лис. — Думаю, ты прекрасен. Думаю, ты всегда знал будущее. Пожалуй, в этот раз я могу довериться тебе.

Впрочем, она и в прошлые разы доверяла ему. Она ему взаправду верила.

Откуда же взялся Синий Лис? Трудный вопрос. На него они уже даже и не пытались ответить. Мосс сказала, что Синий Лис — не продукт Компании и не был рожден в ней; хотя, быть может, Компания так крепко позабыла о нем, что и следа не осталось. Чэнь полагал, что лиса вывели в нелегальной лаборатории. Ну или же он был плодом спонтанной мутации. И то, и другое — равновелико маловероятно.

Мосс верила, что частица Синего Лиса присутствовала в каждом из тех лисят поменьше — какими бы тропами те не шли. Мосс верила,

что Синий Лис знал их еще до первой встречи с ним.

Грейсон, погружая Лиса в поле своего особого зрения, всегда выявляла лишь следующую информацию:

– лис —

Как-то раз это настолько разозлило ее, что она решила на Лиса надавить.

— Я пришел оттуда же, откуда и ты, Грейсон, — сказал он ей тогда. — Я родом *оттуда,* свыше.

Небеса. Звезды. Грейсон на миг захлестнуло узнавание, а потом она поняла — Лис шутит. Лис таким вот образом хочет сказать, что видит ее насквозь.

— А ты откуда знаешь? — все же спросила она недовольно.

— От тебя разит космосом, — ответил Лис. — Ты смердишь затхлым воздухом, горючим, обратными отсчетами до ложных нулей, а также местами, что находятся за пределами Земли.

Но Грейсон подумала, что Лис *лжет,* и что есть еще какая-то причина, в силу которой ему так много известно.

— Все эти теории могут иметь смысл, а могут и не иметь, — сказал Чэнь. — Лис может быть

инопланетянином, или особо коварным искусственным разумом, коему судьбой-самоделкой предписано вечное возвращение.

Ведь в эру переменчивых путей открыться мог любой подвид дверей.

Хотя Грейсон, единственный настоящий астронавт в троице, твердила, что никогда во всей Вселенной человечеству не встречались инопланетяне. И что люди никогда не овладевали искусством создания искусственного интеллекта.

Грейсон каждый раз чувствовала себя неловко — чутье подсказывало ей, что она откуда-то знает Синего Лиса. Чувство узнавания кололо, но память никогда не возвращалась. Не доверяя эмоциям, стоящим за узнаванием, Грейсон старалась не подпускать Лиса к себе слишком близко.

Скорее всего, правду о Лисе они никогда не узнают. Но это в порядке вещей, ведь большинство никогда не знало и половины правды — и тем довольствовалось.

— Поймай меня, если сможешь, — порой говорил Синий Лис Мосс с озорной отстраненностью. — Поймайте, вы все, если только получится.

Но у троицы никогда не получалось.

v.

мощью первого взгляда дано убивать

Из всей троицы один лишь Чэнь работал когда-либо на Компанию. Иные ее версии остались на карте их перемещений далеко позади. Поэтому первый взгляд на здание Компании всегда больно бил по нему. Он всегда расклеивался от ее вида, и Мосс приходилось собирать его заново — потому как он растворялся где-то в небе чуть ли не по собственной воле, оставляя Грейсон и Мосс на произвол судьбы.

Стремясь успеть до того, как бассейн-отстойник возьмет над ними верх, вся троица дружно наваливалась на двери главного входа в здание Компании. Его они брали осадой. Нападали издалека — через посредников. Склоняли ее прихвостней к саботажу. Возглавляли восстания биотехов. Они все перепробовали. Их калечили и видоизменяли, травили и побеждали — раз за разом, но всякий раз Мосс возрождала их заново. Все ее версии. Только благодаря ей они могли перегруппироваться.

Приходилось ждать. Следовать обходными путями. Возвращаться позднее. Уже после того,

как урон был нанесен. Непоправимый. Не подлежащий починке. И все же — они умудрялись чиниться.

И — всякий раз: что дальше? Что теперь?

Всякий раз препоны виделись все более непреодолимыми.

— А можно найти такое райское будущее, где мы все живем дружно и мирно? — спрашивал Чэнь.

Так он, конечно, шутил. Чэнь понимал — если где-то и есть временные линии с миром и дружбой, ни его, ни Мосс, ни Грейсон там нет. А вообще, таких линий не существовало хотя бы потому, что Компания, точно клещ, впилась во все сущие времена.

В том-то и крылась проблема. Можно забиться в укромный уголок и дожить свой век, но даже он будет опален Компанией и тем, что произошло в Городе. Все равно рано или поздно тебя найдут — не сегодня, так завтра. Найдут и напомнят о том, что против судьбы не попрешь. Было 3, стало 1+1+1, и потом — ноль, ничто.

— В следующий раз все так и будет, — убеждала Грейсон Чэня.

Мосс никогда не отвечала. Она думала о том, что перепало ей от Грейсон, а Грейсон она любила

— сильно-сильно. О том, что без Грейсон она не знала бы, как сопротивляться. Мосс была ближе всех — к Чарли Иксу и, соответственно, к темной птице. О том, что Грейсон была как первородный грех для нее, и о том, что Мосс была собой в гораздо большей степени теперь в сравнении с тем, что было прежде.

И еще она думала о том, что уж в следующий-то раз они обязаны преуспеть. О том, что провал больше не будет частью их будущего — и они перестанут быть армией, сделавшись просто троицей.

Компания оставалась все время практически незыблема по части внешнего вида — являясь либо огромным белым яйцом, либо титанической серой пирамидой, либо чем-то наподобие разрушенного собора — сплошь шпили. Пруды-отстойники для отвергнутых биотехов всегда окружали ее с одной стороны — не то чистилища, не то настоящие преисподние, полные гибнущей жизни; за ними — ряды незримых преград, расставленных по всей простершейся вперед пустоши. Порой — какие-то существа, что по всем законам логики не должны были летать, проносились по воздуху — сине-зеленые молекулярные структуры, мерцающие, меняющие форму, извеч-

но бдительные.

Нынешняя версия Компании все еще напоминала яйцо, но теперь строение пронизали стальные штифты, придав ему вид гигантской яйцерезки, — со стальным яйцом внутри. Что это за новшество? Загадка, с главными вопросами нисколько не связанная.

Нынешняя версия Компании застроила прудами-отстойниками всю пустошь, но живее та, понятное дело, не стала.

— Как мы ее проглядели? — спросила Грейсон, пока они разглядывали здание.

— Мы не проглядывали. Она всегда была там.

— Можно ли склонить ее к добру? — спросила Грейсон.

— Нет. Ее можно лишь сжечь дотла.

— Может, можно переубедить?..

— Только если внутри отыщется способное переубедиться людское сердце.

— Только если внутри мы сможем отыскать что-то кроме людского сердца.

— Что придет ей на смену, если мы добьемся успеха?

— Что-то, что всяко будет лучше.

Но ведь если Компании не станет, им больше не с чем будет биться.

И они вновь усомнятся в собственных «я».

Но теперь у них не было другого выбора, кроме как идти до конца.

В этой версии пение птиц пронизывало Город, но это было всего-навсего эхо нанитов, призванных создать иллюзию жизни птиц своими призрачными напевами.

— Тебе что, будет потом не хватать чего-то? — спросила Грейсон, зная ответ.

Да. Мне будет не хватать вас.

vi.

смысла нет никакого за весь мир нам трястись

Прошлое Грейсон осталось где-то далеко-далеко — оно слало ей сигналы безо всякой надежды на то, что они когда-либо достигнут адресата и получат ответ. Все было просто — три корабля рвались вперед, два пали от столкновения с куском космического камня, астероидом. Экипаж Грейсон погиб — от всех тех причин, по которым космос может убить: нехватка ресурсов, ошибки в выборе курса, болезни и травмы, дальность космических расстояний, вспышки на солнце, междоусобная вражда.

Грейсон достигла самой дальней точки — зашла так далеко, как только могла, по крайней мере. Стоя в своем скафандре, она смотрела на скалу, на камень у себя под ногами. Погладила контуры рукой в толстой перчатке. Она не была уверена, что перед ней — окаменелость какого-то инопланетянина (вот же — намек на шлем, на его лицо…), или просто так совпало, просто в этих контурах она захотела увидеть лицо — и только. Наверняка уж и не узнаешь.

Иррациональное чувство подсказывало ей, что если она продолжит долгий свой путь вперед, то в будущем тоже станет такой вот окаменелостью. Она устала, и ее тошнило от отсутствия травы и деревьев, и даже горизонта не было — впереди либо тьма, либо искусственный свет. Ничтожная дихотомия. Как улика — ни на что не годится.

Она знала, что человечество одиноко. Что даже море не способно породить высокоразвитые формы жизни при отсутствии точно отмеренных условий. Что ей в конце концов наплевать на микроскопические образы жизни. Бактерии, жрущие бактерии, не вызывали в ней никакого благоговения — и, пожалуй, стоило перестать брать пробы следов воды.

Она попыталась нащупать дрожь или тепло в

камне под перчаткой, но ткань была слишком плотной, и все, что улавливалось — ее собственный пульс.

Пора возвращаться.

Только для того, чтобы потом потратить столетие на поиски пути домой, через все эти странные червоточины во Вселенной. Если подумать, это бесполезная миссия. В это время она стала думать о себе как о призраке, затерянном среди звезд и звездной материи, преследующем себя, преследующем мертвое пространство, преследуемом своими многочисленными «я». Остался позади и мертвый экипаж, похороненный рядом с окаменелостью, которая вполне могла существовать лишь в ее голове.

Заслуживает ли она того, чтобы жить — после гибели ее экипажа? У нее не было ответа, и она без всякой на то причины решила, что атомы, из которых она сделана, еще не готовы рассеяться, чтобы образовать кого-то или что-то еще.

Таким образом, Грейсон блуждала в одиночестве в своих мыслях, временами рискуя, временами — пребывая в плену у таких космических ландшафтов, полных настороженного (холодного) удивления, что она не могла найти и слов, и поэтому слова на время отпадали как

вариант… потому что были бесполезны.

Столь многое отпало к тому времени как она нашла лунную базу, что людей в Спасателях она, возможно, и не узнала бы уже.

Если бы на лунной базе остался кто-нибудь живой.

Если бы не было ясно, что все астронавты мертвы.

Если бы она не знала, что дом — все еще там, внизу, под ней.

Грейсон вернулась к той версии Города, в которой не было жизни. Повсюду были разбросаны почерневшие, объеденные пламенем тела людей и животных. Пойманные в полете или забившиеся в уголки. Припавшие к земле — будто твердь еще могла спасти их.

Огонь и химикаты образовали нечто вроде дымки над телами — нечестивый туман. Этот туман то скрадывает мертвецов, то обнажает, то скрадывает вновь в те моменты, когда снова застывает над ними. Как будто Компания наслала эту мглу, чтобы скрыть свои преступления.

Она бродила по этому ландшафту в шоке, не осознавая, как много времени прошло с тех пор, как она улетела в космос. Бродила по Городу, как астронавт, все еще в скафандре, в постоянном

контакте со спасательной капсулой.

Одиночества и воздуха, оставшегося на базе, ей хватило бы лет на десять — и тут впору бы глянуть на опустошенный лик Земли и попытаться убедить себя: все однажды образуется, все станет лучше. Но вместо этого она вернулась на Землю, потратив на вход в атмосферу достаточно топлива капсулы, что не вернуться назад — вовек. Ее доводы были вполне веские: она ощущала себя слишком одинокой, более одинокой, чем просто одиночка. Слишком многое она помнила об учиненной здесь бойне.

Бесстрастно наблюдая за происходящим, она перебирала обломки города так же, как родители разбирают захламленную детскую комнату. Ребенок пропал или умер, и как теперь определить — что было ценным, что было мусором, к чему питал он привязанность? Порядок уже не навести.

В космосе дисциплина означала жизнь или смерть. Здесь до самого конца не было никакого наказания за свободу.

В искореженных развалинах здания Компании Грейсон нашла свидетельства того, что некоторые из них выжили и бежали на запад. Поэтому она повела свою спасательную капсулу на запад, направляясь к побережью, дрейфуя бесцельно. А

может, и не прямо-таки бесцельно. Что она собиралась там делать — знать не знала. Возможно, она исследовала бы побережье до тех пор, пока в капсуле не кончилось бы топливо. Возможно, она собиралась умереть. Возможно, у нее была какая-то идея получше, которая так и не осуществилась.

Но именно там она нашла сокровище, под разбитой розовой оштукатуренной аркой, которая когда-то встречала туристов перед входом в океанариум. Разрушенные цементные стены и освобожденная из плена вода заключили союз — и создали искусственные бассейны-отстойники, полные странной жизни.

За ними ухаживала Мосс.

Грейсон нашла Мосс рано утром. Воздух был достаточно свеж, и она сняла шлем. Мосс скрючилась у бассейна, каталогизируя все его содержимое, регулируя температуру, поощряя одни организмы и осаживая другие.

Мосс казалась существом с другой планеты — наивный взгляд изумрудных глаз встретил Грейсон, когда она повернулась, пораженная прибытием нежданной гостьи.

Мосс уже несколько месяцев ни с кем не разговаривала. Но Грейсон узнала в ней родственную

душу мигом. Мосс тоже была исследователем. В этих бассейнах-отстойниках она видела вечность. Там отражались звезды.

— Ты нечасто возвращаешься, — сказала Мосс. — Иногда я ищу тебя. Но чаще всего ты умираешь там, наверху.

— Я не знаю, что это значит, — ответила Грейсон; вскоре она узнает.

— Мне так жаль, — сказала Мосс. Она так открыто уставилась на Грейсон, что та даже потупилась.

— Жаль — что?

— Что ты увидела, как все, что ты любила, умерло.

— Разве не для всех сейчас та же ситуация?

— Ты — астронавт, — сказала Мосс, возвращаясь к своей работе. — И масштаб для тебя — другой.

— Каждый из нас делает то, что может.

— Никто не должен чувствовать себя ответственным за весь мир.

На это Грейсон не нашлась с ответом. Она снова глянула на Мосс. Несмотря на все сочувствие, она решила, что у Мосс есть жесткая грань. То, что некоторые называют скрытой глубиной. Нет ничего простого в человеке, который так

любит море, что не может жить без него. В Мосс не было ничего простого, как Грейсон обнаружила в течение следующих нескольких недель. Жизнерадостно-ясноглазо-оптимистичная сторона давалась ей с трудом, а вот пессимизм — с легкостью.

Но Мосс действовала сугубо в тактических соображениях, заботясь о своих бассейнах-отстойниках. Возможно, Грейсон сумеет убедить ее побыть стратегом. Однажды она раскусит эту особу. Хотя — на какое-то время Мосс убедила Грейсон. Какое-то время Грейсон была довольна жизнью у моря.

В тот первый день, когда Грейсон не смогла выдержать взгляда Мосс, она уже знала, что влюбилась. Она не знала, что Мосс приняла человеческий облик в тот первый день только ради нее.

И в конце концов именно Мосс нашла дорогу — которую всегда знала.

Именно Мосс и *стала* дорогой.

vii.

вот они снова дома – все знаменья сошлись

Здание Балконных Утесов было таким, каким

его помнил Чэнь. Прежним. Настолько прежним, что Мосс и Грейсон пошли убедиться, что Чэнь не живет там до сих пор. Но старая квартира Чэня пустовала — вся в мусоре и в гигантских рыбах с серебристой чешуей. Серебряные рыбки кружились в демонстративном хороводе, не выказывая никакого страха — как будто троица взаправду была лишь сбродом призраков.

Мосс не считала квартиру Чэня покинутой. Ей всегда нравилось смотреть на серебристых рыбок — хоть они и попирали веру Грейсон в то, что будущее можно восстановить. Это была инстинктивная реакция — ее мозг всегда напоминал ей, что все живое теперь священно. Что любая жизнь — хороший знак.

— Пускай серебряные рыбы унаследуют Землю, — удовлетворенно молвила Мосс. — Пускай они построят башни в пустыне и создадут великую цивилизацию. — Такова была одна из былин, которые рассказывали в городе.

Итак, Чэня они не нашли, а Лис сказал Мосс, что здесь, в Городе, Мосс нет. Возможно, она была где-то впереди — но какой им в этом прок.

Грейсон еще ни разу не встречала другую Грейсон в своих странствиях, что вселяло иррациональное чувство одиночества — всякий раз,

когда ее товарищи по путешествию делились историями о своих двойниках. Ведь если другой Грейсон не было — выходило, что она погибла в большинстве временных линий, прежде чем вернулась на Землю. Что у нее не было шансов. Снова — этот образ: рука в перчатке на безжалостном камне.

Чэнь и Мосс обрадовались, что снова нашли бассейн на Балконных Утесах, пустынный и полный солоноватой воды, в которой почти не было жизни. Мосс исправит это, но не потому, что это повлияет на миссию, а потому, что такова ее природа. Потому что она всегда надеялась улучшить то, что оставалось позади.

Они заняли пустую квартиру у южного края Утесов, с быстрым выходом к ущелью, которое служило предисловием к землям Компании. Они решили молчать и инкогнито пытаться слиться с другими обитателями этих пространств.

— У меня здесь был дом. В моей версии.

— А в моей я даже не знала об этом месте. Жила в разрушенной обсерватории — до того, как повстречала Мосс.

— Однажды я навещал здесь друга.

— У тебя был друг? Подумать только…

Статуя гигантской птицы. Труп собаки. Раску-

роченный кукольный домик.

По всем этим знаменьям они поняли, что вернулись домой.

Это был их десятый по счету город.

После того как атака жуков-защитников Балконных Утесов была отбита, и после того как до падальщиков дошло их сообщение, троица перегруппировалась за дверью, блокирующей коридор у южного входа. Здесь защищаться было легко. Граффити на двери изображали смеющихся лисиц, резвящихся в пустыне, — только почему-то одноглазых. Чэнь нарисовал им по второму глазу, чтобы вернуть баланс. Мосс поставила микробные сенсоры — чтобы и мышь не проскочила.

Грейсон настораживало отсутствие сопротивления. В прошлых версиях они давали отпор целому сонму врагов. Отслеживая лучи, полутона и некие фантомные движения в поле своего зрения, она никак не могла уловить новых угроз. Только старые — обычные.

И все-таки…

— Мы должны двигаться вверх по нашей временной шкале, — сказала она.

— Но не вслепую. Не в панике.

— Это не паника. Это здравый смысл.

— А что, если рыба — упрямая? А что, если рыба будет сопротивляться?

— Я пойду, — промолвил Чэнь. — Я буду убеждать рыбу.

— Нет, — возразила Мосс. — Должна идти я. Или какая-то часть меня.

— Тогда я буду стоять на страже.

— Мы должны просто войти и сделать то, ради чего пришли сюда.

— Я пойду, — повторил Чэнь с мрачной убежденностью закрытой двери.

Но дверь и так была закрыта. Грейсон и Мосс не обратили на него внимания.

Скоро им понадобится Синий Лис, чтобы сказать им «да». Им нужно было убедиться, что утка со сломанным крылом не помешает.

Скоро и их волшебного образа жизни может оказаться недостаточно. Иногда им приходилось надевать защитные костюмы. В зависимости от чувств Мосс, глаз Грейсон, пророчеств Чэня. Что значит «заражение» в этом городе, в какую сторону оно течет?

Каждое здание Компании было особенным. Но у разведки была убывающая отдача и слишком много рисков. Итак, они отрепетировали свой план с помощью старого кукольного домика,

найденного Грейсон (еще раз). Компания насчитывала семь этажей, но все равно было легче наметить план, используя куклы, мебель и комнаты, чем диаграммы, нацарапанные в грязи. Иные вещи никогда не меняются.

Они должны забросить какую-то версию Мосс внутрь здания Компании, тем скомпрометировав портал и проникнув в стену, сложенную из глобул.

Но в одном они ошиблись.

Чэнь все еще был там. Чэнь засел в засаде. Чэнь никогда раньше не нападал на них из засады. Чэнь либо был там, либо его там не было. Вот и все.

Злая звезда.

Возможно, им следовало прервать миссию прямо сейчас, двинуться дальше, найти другой Город, другую Компанию.

viii.

два начала пытаются единением стать

Чэнь подкараулил Чэня в коридоре, удаленном от их квартиры, у бассейна. Чэнь не стал связываться с Мосс или Грейсон, которые уже были в квартире; опасность просочилась в их сознание как тревога, и потребовалось много времени,

чтобы собраться. Затем вспыхнула звезда, такая же сияющая, как рука Чэня, и ярко проплыла над горизонтом.

Это случалось слишком часто. Это утаивание Чэня. Это самопожертвование. Они не могли сказать, было ли это из-за лояльности к его другому «я», из-за его всепроникающей вины… или из-за простой логики — всей троице не имело смысла рисковать. Но с каждым разом это становилось все опаснее, потому что Компания, казалось, чувствовала их присутствие, их миссию на каком-то подсознательном уровне — и изгоняла *всех* Чэней, или, в некоторых случаях, убивала их, истребляла. Или делала гораздо более воинственными.

Этот Чэнь взревел и обрушил тяжелые кулаки на спину Чэня, проклиная его собственное имя, и Чэнь в ответ, разъяренный этим нападением, стал бить Чэня в живот.

Они стояли рядом, как борцы, обхватив друг друга за плечи мясистыми руками. Пот, боль в мышцах и отчаяние управляли их маневрами. Чэнь был уверен в себе и смирился; он знал по предыдущему опыту, что ему, вероятно, придется сражаться до смерти, невзирая на все нежелание. Сцепившись в роковых объятиях, сверху Чэнь и

Чэнь казались неким причудливым существом, вроде краба, или же морской звезды. Два начала стремились стать единением.

— Сдавайся, — прошептал тот Чэнь, что был с Грейсон, на ухо другому Чэню.

— Никогда. Мерзость. Предатель, — последовал ответ.

— Отрекись. Перестань помогать им. Перестань наносить вред.

— Умри, умри, умри.

Он почувствовал, как растворяется, и усилием воли вернул себе фокус.

Чэнь, кряхтя, пытался оторвать зубами левое ухо Чэня — поэтому он дал уху упасть, крутануться на полу и засеменить прочь, от греха подальше.

Тот Чэнь, что был с Грейсон, знал эту панику. Понимал ее. Второй Чэнь не мог постичь истину, но кое-что тоже знал. Компания могла создавать при желании людей — и бешеная, ужасная интенсивность атаки, ее внутренняя природа, значили, что Чэнь, видя Чэня, тоже понимал это.

Все воспоминания Чэня — о далеких континентах, о работе, об увлечениях, об отношениях — сводились к тому, что все это было обманом и позором, к тому, что единственный способ

сохранить хоть какое-то чувство личности — уничтожить захватчика. В каких-то версиях Города такое прозрение ломало Чэня, убивало его, но в большинстве версий — заставляло их сражаться долго, сурово и грязно.

Вот только Чэню было все равно, создан он или нет — Мосс излечила его от этого невроза, — и у него было то преимущество, что он сражался с Чэнем раньше. Он знал все свои движения, знал все способы покончить с собой, включая то, как он научился у Мосс приспосабливать свою плоть — отделять руку и превращать ее в опасную пылающую звезду, бороздящую небо.

И все же Чэнь твердил что-то Чэню, пока они дрались, умоляя подчиниться, сдаться, говоря, что они могли бы работать вместе, если бы только Чэнь дал Чэню шанс объяснить — еще раз.

— Покоряйся и присоединяйся к нам. Двое лучше, чем один. Чем ты обязан Компании?

— Подай заявку, и Компания примет тебя обратно. Подчинись — и мы снова заживем той жизнью, что была у тебя раньше.

— Той *мертвой* жизнью?

— Хоть так.

Но сказал ли эти последние слова Чэнь — или тот Чэнь, что был с Мосс, так подумал? Кто кому

здесь врал?

Пока Чэнь сопротивлялся, отказываясь сдаться, тот Чэнь, что был с Грейсон, начал уставать. Не от борьбы, потому что он научился любить борьбу, потому что она, по крайней мере, заканчивалась победой — что означало своего рода прогресс. Но вот сейчас, обмениваясь ударами с самим собой — тычками, хуками, пинками, — Чэнь ощутил: кое-что раз и навсегда прояснилось. Его кулак впечатался в челюсть Чэню, кулак Чэня-второго — ему в живот.

А прояснилось вот что — он чертовски устал убивать себя.

Это был уже четвертый раз.

Страшным рывком, в порыве неизбывного отвращения к самому себе, Чэнь рванул в сторону — и, обхватив рукой горло Чэня-второго в удушающем захвате, вскарабкался тому на спину и крепко-крепко сдавил с боков ногами. Чэнь-второй упал, Чэнь-первый навалился на него сверху, брыкаясь, пытаясь вонзить недругу в горло острие локтя, не ослабляя притом захват, из которого Чэнь-второй силился выскользнуть.

Все-таки Чэнь-второй тоже оказался не лыком шит. Он выскользнул. Взгляд ко взгляду, лицо к лицу, дыхание к дыханию — вот в какой позиции

они оказались; на неровном полу, в пыли и грязи у бассейна. Пальцы одного сдавили бычью шею другого, бычью шею одного сдавили пальцы другого. И были они друг к другу так близко, что могли бы целоваться, плеваться, да вообще все что угодно делать.

Мосс либо поставила Чэню новые легкие, либо научила задерживать дольше дыхание — он не помнил, аугментировали его или просто хорошо натренировали. Так что, рано или поздно, тот, второй Чэнь, без тренировок и улучшений, умрет, а пока они просто друг друга душат.

Но этот Чэнь тоже научился чему-то, или его кто-то улучшил. Он не сдался, не потерял сознание, не умер — стальная хватка его не ослабевала. Это встревожило Чэня, а затем вся его солидарность с собственной плотью, долгое время пестуемая, вдруг… *отступила*.

Тот Чэнь, что был с Грейсон, лопнул по швам. Превратился в груду зеленых извивающихся саламандр, в выдох, в светопреставление. Выскользнув из объятий Чэня, он охнул — и отступил назад. От удивления — или от отвращения? Ибо Чэнь-сделанный-из-саламандр все еще хранил грубые очертания того, кем был прежде. Саламандры хранили верность структу-

ре, которая уже распалась, версии, которая уже устарела.

Растерянно уставившись на Чэня-врага тысячью глаз, он вздрогнул — вдруг ему показалось, что его снова поместили в стену, сложенную из глобул, в недрах Компании, — и издал отчаянный вопль. Чэнь-враг тоже завизжал, вторя. Жутким хором застонали саламандры. Кажется, только сейчас их переплетенные тела стали осознавать себя каждое по отдельности, без связующего-направляющего импульса — и вкусили жуткое одиночество. Общее.

Затем явилась Грейсон. Она обволокла Чэня и стала возвращать утерянную целостность, собирая его вместе, усмиряя разобщенное безумие саламандр. Затем явилась Мосс, напав на Чэня-врага — окутав его волной зеленых частиц, утратив в какой-то степени собственную целостность, чтобы лишить целостности его.

Чэнь-враг, ошеломленный, побрел вперед, спотыкаясь — точно сомнамбула в объятиях кошмара. Он боролся за право существовать, силился не рассеяться, все издавал какие-то полные отчаяния звуки. А потом — затих, застыв от повсеместных булавочных уколов сущности Мосс, трепетавшей от ощущения соприкосновения

крови Чэня с ее собственной кровью.

Грейсон нашла в рюказаке Чэня веревку и связала ему руки и ноги.

— Мы взяли тебя, Чэнь.

— А я — тебя, Мосс.

— В другой раз, Чэнь. В другой раз. Не сейчас.

И Чэнь-первый снова стал Чэнем. Невозможно описать чувства, оттенившие его распад, — единовременное обладание таким количеством глаз, стучащих сердец, сокращающихся легких. Сонм крошечных жизней, которые не могли быть сведены к уравнениям, которые существовали в каждый момент, каждая — уникальна, и у каждой — своя структура, своя математика. Ему нужна была музыка, он хотел до отвала наесться. Понятное дело, ни первое, ни второе желание не сбылись, и все, что он получил — облегчение от собственного сбитого дыхания… единого. Одного.

Чарли Икс превратил Чэня в неудачника, потому что он был одноразовым. Мосс заставила его потерпеть неудачу таким образом, что это позволило ему жить, что дало некоторое утешение, что на самом деле не было неудачей. Это позволило Чэню искупить вину, что проявилась в его плоти.

Грейсон и Мосс взирали на Чэня сверху вниз.

Они все еще могли различить на его теле растровую сетку тел саламандр — она отпечаталась на его коже, словно татуировка, но уже потихоньку рассасывалась. Они это видели, и Чэнь тоже видел — их глазами; видел — и ощущал их великую заботу.

— Ты это сделаешь, или я? — спросила Грейсон у Чэня.

Убить Чэня-врага.

— Нет! — выкрикнул он. — Оставьте его в живых. Он может нам пригодиться.

Обычно Чэнь никак не пригождался, потому как не обладал таким грузом знаний, что был у версии, путешествовавшей с Мосс. Чэнь никогда не предлагал сохранить Чэню жизнь — это было слишком опасно.

Мосс положила руку ему на плечо.

— Ты сказала, что утка на нашей стороне, — прохрипел Чэнь сквозь ком слизи в горле, оставшийся после саламандр. — Мы можем себе это позволить. — Он сказал это просто так, чтобы сказать хоть что-то, сказать — и показать, что у него все в порядке. Что было, конечно же, невозможно.

— Утка прошла рядом с нами, — заметила Мосс.

И впрямь: утка появилась рядом с бассейном, понаблюдала за ними… была ли она там еще мгновение назад?

И — снова исчезла.

Утка видела, как Чэнь превратился в ворох саламандр. Видела, как Мосс ему помогла восстановиться.

Что еще она видела?

ix.

внять разметке родителя, что дитя позабыл

Как объяснить вес утки со сломанным крылом? Сущая во плоти, крови и в частицах света, утка не могла летать. Крыло было сломано намеренно — таков был замысел Чарли Икса, по которому утка всегда могла быть отвергнута Компанией. Чтобы утка могла стать добычей. Такой же презренной и отвергнутой, как добыча.

Когда троица столкнулась с уткой, оказалось, что та тяжела — будто отлита из меди, стали или золота. Взгляд утки был непроницаем — тяжелая долголетняя память отяготила его. Всегда, когда они прибывали сюда, их тяготил неизбывный и назойливый этот вопрос: утка за нас или против

нас? Или: узнает ли нас утка?

Утка являла собой парадокс. Она бродила там, где хотела, и везде, где того требовала поставившая ее на стражу Компания, отрицая всякие законы того места, куда попадала. В большей или меньшей степени утке были подвластны все версии Города.

— Утка Шредингера.

— Утка Хайдеггера.

— Утка Сведенборга.

— Утка Сенеки[7].

Утка Чарли Икса.

Худшие версии утки: хищная, вспыльчивая, с суровым рептильным взором. Та, что сочилась тоненькой струйкой крови, засыхающей пятнами на белизне пера. Этакие стигматы оракула, плата за слишком ясный взгляд в будущее. Распознать хищную утку просто — она чаще всего воспроизводит подобающие хищным птицам убийства мелкой живности. Роется в тушке какого-нибудь

---

[7] Примечания: 7

Эрвин Шредингер (1887–1961) — австрийский физик-теоретик, основоположник квантовой механики. Мартин Хайдеггер (1889–1976) — немецкий философ-идеалист. Эммануил Сведенборг (1688–1772) — шведский ученый-естествоиспытатель, христианский мистик, теософ, изобретатель. Луций Анней Сенека (4 г. до н. э. — 65 г. н. э., Рим) — римский философ-стоик. Все эти деятели так или иначе известны изучением разносторонних парадоксов (из которых наиболее известный — само собой, кот Шредингера).

грызуна своим острым, мелкозазубренным по краям клювом, тащит наружу кишки. Проглатывает их, как какая-нибудь цапля проглатывает лягушку, остатки жадно глодает — мерзко видеть со стороны. Загвоздка в том, как долго утка намерена оставлять объект внимания в живых.

Она отрывалась от пиршества, поднимая голову с механической грацией — и с голодом, таким сильным, что будто вот-вот выльется в агрессивный утиный кряк. Но *кряка* не следовало — следовал *крик* атакованной уткой жертвы; и *крик*, похоже, насыщал утку больше, чем чьелибо мясо.

Не раз и не два троица видела, как утка потрошит лису — прижатую шпорами на перепончатых лапах к земле, распоротую от задних лап до морды. Вычистив все потроха, утка работала головой точно молотом, ледорубом — клюв разбивал голову лисе, и по сторонам летели брызги крови и мозгового вещества. Звук разносился над песками эхом.

Но утка не съедала ни кусочка лисы. Возможно, опасалась ловушки. Может, боялась, что лисы захватят ее изнутри, одержат победу посмертно. С учетом того, что голоса лис даже после их смерти продолжали носиться в воздухе — может, и не

зря боялась. Но Мосс не могла сказать наверняка, вредят ли эти голоса утке. Если она и была в чем-то уверена, так только в том, что Чарли Икс ненавидел лис. Или — когда-то давно — возненавидел одну конкретную лису.

О сломанном крыле утки проще всего было сказать так — оно оставляло на многих шеях и многих туловищах улыбку, а вот на лице — никогда. Обрушиваясь на жертвы с грацией бейсбольной биты, утка разворачивала свое естество, тянулась и расползалась — но крыло всегда оставалось на одном месте. Крыло, чей край был остер и зазубрен.

С остервенелым упорством, достойным лучшей цели, утка кромсала и нарезала ломтиками падальщиков — размером с человека, и даже тех, что были крупнее. Возможно, этим зигзагообразным движениям ее когда-то научили — но уж теперь-то они были отточены до автоматизма; так швейная машинка иглой наносит нитяной узор.

И вот все эти мокрые клочки летели по закоулочкам, и падальщик с навеки застывшим на лице выражением мучительного замешательства, явно озадаченный собственной кончиной, расползался в луже собственной крови. Солнце

и мелкие падальщики вскоре принимались за дело — и превращали его боль в улыбку. Ведь мертвые существа не чувствуют ничего, кроме безграничной любви Вселенной.

Иногда утка откликалась голосом твоего любимого умершего: вырывала его звук из твоего разума, а потом зарывалась в твой мозг, как червяк или личинка, и пыталась пожить там какое-то время, выедая твои мысли, пока ты не превращался в шелуху, которая дергалась, пускала слюни и корчилась на песке. Тогда, уразумев твою безвредность, утка наносила хирургический выверенный удар клювом — как бы открывая в тебе кран. И вот, пока ты истекал кровью, она жрала тебя живьем.

Мосс знала, что иных жертв в процессе накрывают поистине экстатические ощущения. Их разум с легкостью воспарял в облака — и взирал вниз, на дрожащее и извивающееся окровавленное месиво, без тревог и забот. Боль, предшествовавшая моменту перехода, забывалась.

О, счастливая память о Чарли Иксе, у которого больше не было памяти. О, счастливые дни юности, память о которых утка пробуждала. Утка, которую Чарли Икс вырастил и выходил сам… или которую ему подарили… или та, что была

им спасена из зоопарка… та, которую он сам поймал в городском парке… та утка, чья история менялась по скользящей шкале сентиментальности, которую Чэнь только и мог сравнить, что с жестокосердием, в зависимости от настроения Чарли Икса.

Та самая утка, о которой он рассказывал Чэню, когда создавал дьявольскую версию мира — без пространства между уличающими во лжи молекулами воздуха, без воздуха, что коробился его устами, когда он изрекал правду — то, что почитал Чарли Икс за правду в тот отдельно взятый момент, вернее.

Кто скажет наверняка, что есть правда — и что есть история?

Следующий логичный вопрос, менее насущный, потому что ответ обычно был один и тот же: где сейчас Чарли Икс? Нигде. Нигде. Мертв. Позабыт. Рванье, зарытое в песок и оставшееся в прошлом — такое, что оставалось после трапез утки.

Но в этой версии Города все было иначе.

Чарли Икс, призрак, обрел плоть и восстал навстречу им через многие годы. И все же они не могли встретиться с ним. Слишком велик был риск, что в сознании Чарли, помраченном

и разладившемся, все еще жила память о Чэне, Мосс и стене, сложенной из глобул, в недрах Компании. И вот, завидев издали Чарли Икса — на пути к Балконным Утесам, мимо загрязненной реки, — троица сочла нужным мимо него пройти, не заметив. Не окликнув. Не посетовав на былое. Не обсуждая потом то, что увидели.

Они никогда не склоняли его на свою сторону — либо *слишком* сломленного, либо *недостаточно* сломленного. Но здесь, как и в большинстве других мест, его уже давно бросили или выгнали из Компании — и был он неспособен использовать микроразрезы, созданные порталами, позволявшие Мосс перемещаться туда-сюда. Здесь черты его лица были ужасны — маска нетопыря, навязанная ему Компанией, приживалась плохо, он с трудом дышал через нее, и мыши, живущие в его гортани, выпирали изнутри и скребли по мягким тканям стерильными лапками. Как долго Чарли Икс еще продержится перед искушением разодрать собственную глотку — с учетом того, сколь много в ней посторонней *жизни*? Где-то в глубине души он знал, что всегда сходил с ума, становился плохим, ему нельзя было доверять, он жил там, где ландшафт был обнажен.

И все же иногда, в некоторых сценариях, Чэнь

останавливался в тени какой-нибудь версии разрушенного здания, когда мимо проходила какая-нибудь версия Чарли Икса. Версия Чарли Икса, съежившаяся в позе эмбриона в пустой цистерне. Версия Чарли Икса, тихо залегшая под люком, готовая сграбастать жертву. Версия, что сидела на песке и горько плакала от жалости к себе — жалости, которую Мосс находила невыносимой.

— Может, покончим с ним?

Пауза.

— Нет, — как всегда, сказала Грейсон.

Запрет заключался в них самих, не в Чарли Иксе. Не достигнув цели, они не могли причинить ему вреда. По большему счету, для их троицы он сделался самым настоящим призраком — недосягаемым. И все, что они могли — лишь пробормотать тихую эпитафию на его могиле, когда он уходил от них, и сам бормоча что-то под нос.

Кроме того, по разумению Грейсон, существовал риск, что утка как-нибудь среагирует на смерть Чарли. А как именно — они ведь не знают.

Темная Птица. Темная тайна. Они не знали, что она скрывает; что является в ней мнимым, а что

— истинным. Если счистить один слой, возможно, там, под ним, сокрыт еще более страшный монстр.

Что Чарли Икс вывел на песке палочкой? Задумку, полузабытую цель, что была им знакома — потому что все еще служила отчасти их собственной целью. И, оглянувшись назад, будучи уж далече к югу от него, в бинокль, Чарли увидел, как утка со сломанным крылом застыла, затеняя всю троицу.

Там, на изломанной равнине, они не могли повстречаться. Либо Компания, либо Чарли Икс в последние дни перед своим изгнанием — кто-то из них сделал так, что они не могли ни схлестнуться в бою, ни обрести взаимное узнавание. Да они и видеть-то друг друга не могли. И если казалось, что пути их вот-вот пересекутся — кто-то отступал в сторону, не отдавая себе отчета в том, зачем отступает, и шел себе дальше, в другом направлении.

Родитель, позабывший дитя — разве это не одно из определений бога?

На каждый круговой выпад у утки был ответ, и довольно скоро Чарли Икс воздел целое облако пыли своими тщетными усилиями и грязными ругательствами, а когда пыль осела, утка снова

исчезла.

Ускользнула от троицы в тень и каким-то мистическим образом снова заняла свое место — будто проявилась в Городе при помощи рапидной съемки в тот миг, когда они оглянулись назад, отмечая путь. Утка, таким образом, всегда находилась на несколько ярдов впереди того места, где должна была быть.

В своем отступничестве Мосс порой думала, что Чарли Икс в некотором роде свел их вместе. Что каким-то образом, с уткой в качестве точки опоры, Чарли Икс невольно организовал их сопротивление, прежде чем рухнуть под тяжестью собственных увечий.

Возможно, у подозрений Мосс было законное основание.

Возможно, она имела право так думать, ведь это Чарли Икс ее создал.

x.

тенью стать рукотворною необъятных пространств

Той ночью, когда Грейсон спала, а Чэнь отдыхал, Мосс скрыла свои мысли от них, проползла под их защитными барьерами и покинула Бал-

конные Утесы. Чэнь и Грейсон никогда на самом деле не спали. Может быть, потому что слишком уж были взаимосвязаны, а может, им надоело притворяться. Но она надеялась, что хоть в каком-то смысле они спят. Что то, что она делала, было от них сокрыто.

Чэнь продолжал настаивать на том, что миссия должна возлечь на него — и только на него. Что он сможет убедить рыбу помочь им. Но Мосс решила, что ему не позволит. Он не был для подобного создан — этот Чэнь, которого протестировал и обобрал второй Чэнь. Он мог решать проблемы лишь теми простецкими путями, которым его обучила Компания. Все, что он хотел — не допустить того, чтоб ей кто-то сделал больно.

Да и потом, Грейсон никогда не поймет. Не риск не поймет. Не обмен, на который Мосс пойдет, не поймет. А именно — то решение, к которому она придет.

Поэтому она пошла вдоль оврага, по следу воды в центре. В трансе. В приливе и отливе, с которыми она утрачивала человеческий облик. Ковер мха крыл грязь, песок, камни. Взаимодействуя с чем-либо, она неизбежно изменяла это, так что грязь обретала новые свойства, песок расцветал новой жизнью, а в камнях активировались про-

цессы, на которые в обычных условиях уходили столетия.

Атака. Скрытое вторжение. Она мчалась невидимкою, невесомой неспешной лавиной, ее авангард превращался в арьергард. Она растекалась по сторонам, затем — снова обращалась вовнутрь. Складывалась и раскладывалась. Снова и снова.

Она задерживалась в корнях болеющих деревьев и грибницах. Повреждено — все и везде, но кое-какая жизнь еще теплится. Мосс становилась рукотворной тенью необъятных пространств, и в этой теневой форме — существовала, купаясь в особом экстазе. Накатывал соблазн отключить все мысли человеческого типа — и такой остаться навсегда. Существовать только в настоящем моменте и в будущем. Не возвращаться много раз назад и не нагонять упорно то, что уже свершилось, то, что уже прошло.

Ведь это так изнуряет ее.

Она устала быть так близко к Грейсон и Чэню. И в то же время эта близость ее повергала в восторг. Удивляла. И все-таки — выматывала, выжимала как тряпку, вытряхивала, как мешок. Мосс больше не могла быть одинокой, и все ее версии — коим несть было числа — тоже этого

дара лишились.

Мосс цеплялась за человеческий облик лишь ради Грейсон и Чэня. Потому что это помогало Чэню держать себя в руках. Она рада была стараться для кого-то.

Быть ничем или быть всем. Но ничто лишь ничем и могло быть. Тем ничем, что могло чувствовать то, что Мосс чувствовала в руках Чарли Икса.

И в конце концов — снова стать кем-то. Кем-то, кто будет значить все для Грейсон. Такова цена. Стать кем-то — и в конце концов вернуться к человеческому сознанию. И больше не играть с рыбами на стороне рыб.

На дне оврага ждал Синий Лис, как она и предполагала. И по этому знаку Мосс поняла, что она не проскользнула в другое место, в другое время. Потому что это никогда не повторится — и никогда не случалось раньше.

— Ты готова? — спросил Синий Лис.

— Да, — ответила она.

Нет, она не была готова, она никогда не будет готова. Готовиться было бы слишком поздно.

По крайней мере, в том ее убедил Лис.

xi.

тех бассейнов-отстойников изуверский садизм

В иных версиях Города Левиафана прудов-отстойников отмечали стигмы увечий, нанесенных Компанией. Зияющие раны. Ожоги. В этих версиях Мосс пела Левиафану, дабы успокоить его, унять его боль, внушить картины безграничного и богатого на дары моря. Порой все, что она могла — облегчить наступление смерти для несчастного страдальца.

Видишь меня? Вот она я, я здесь.

Эти слова она сказала еще до того, как увидела зверя.

Здешний Левиафан оказался умнее, удачливее, опаснее. Его Компания сочла бесперспективным и приручила. По правде говоря, Левиафан здесь был на своем месте — законный насельник данного ареала. Здесь его никто не создал — здесь *жил* он свою сверхъестественно долгую жизнь.

Я тебе не враг. Не бойся. Не бойся.

В этой версии Города Левиафану стукнуло почти сто лет. Звали Левиафана Растлитель, в честь давным-давно умершего скульптора.

Но, конечно, никого он не растлевал[8]. Просто такой жаргонец. Черный юморок солдафонов, служащих из-под палки. Ведь потому они порой называли Синего Лиса «слисом» или «синисом», или даже «синькой», как будто Лис был какой-то болезнью, что распространилась и на его собственный вид, и, возможно, на другие.

Я здесь, чтобы сделать ставку. Это — моя ставка. Я пошлю тебе значение слова «ставка».

У Растлителя, Рыбы, Левиафана было одно-единственное огромное око, все белое и мертвое, лившее слезы, кристаллизующиеся в соль.

— Рыба под стать Грейсон, — мягко пошутил Чэнь.

Да, древняя, обветренная, огромная, ветеран сотни битв. Пожрала стольких отщепенцев и отпрысков Компании… хоть и сама — такой же отщепенец.

Твои враги — наши враги.

---

[8] Примечания: 8

В оригинале эта фраза звучит так: «Called it Botch, after a long-dead painter. But it wasn't Botched». Автор подразумевает, что английское слово botch, которое можно перевести как «осквернитель», созвучно с фамилией Иеронима Босха, того самого long-dead painter, «давным-давно умершего художника». Передать на русский эту фонетическую похожесть, не утратив подоплеку имени Левиафана, непросто, так что в переводе пришлось пожертвовать Босхом (да простит Иероним эту вольность) и заменить его другим великим мертвым творцом — Праксителем, древнегреческим скульптором IV века до н. э. Соответственно, итоговая фонетически схожая пара — Растлитель и Пракситель.

Нежная музыка исходила из его уродливого рта, похожего на пасть морского окуня. В затишье она могла загипнотизировать добычу на другом берегу и обречь на смерть в его пасти. Вблизи — могла вдруг превратиться из нежной в убивающую, оглушить напрочь, взорвать слуховой аппарат изнутри. Левиафан был вызывающе уродливой рыбой — габаритами где-то между носорогом и китом.

Вонь заставила Грейсон сморщить нос. Растлитель будто впитал в себя все существующие дурные запахи. Карболка и гниющие водоросли. Экскременты и грязь. Все, через что он проплыл, — все на нем отпечаталось.

У Растлителя оборона была хоть куда. Жабры, внезапно выворачивающиеся наружу и превращающиеся в лезвия. Бритвенные чешуйки, при любых признаках опасности разящие навылет, рвущие до костей. Могучие челюсти, усеянные зубами — кариозно-желтыми, поблескивающими; о такие не только поранишься, но и еще какую-нибудь заразу подцепишь. Сильные широкие плавники, предназначенные как для ходьбы, так и для плавания. Если Левиафан когда-нибудь доберется до океана, вымахает еще больше, станет деспотичным повелителем царства морского. Без

разницы — пресная вода, соленая. Левиафан охоч был до любой воды.

То, что я могу дать тебе взамен…

Растлитель барахтался в сосущей грязи пруда-болота, прореженного кочками с пожелтевшей травой. Этакая грубая насмешка над ее приливными бассейнами. Мухи, напоминающие своим мельтешением точки и тире, летали над болотом. Когда-то в них были камеры, а теперь они тут жужжали просто так, по привычке.

Растлитель барахтался, тревожа ряску, и ряска, изобилие крошечных зелено-белых цветов, сплетенных вместе точно кольчуга, отвечала ему тем, что показывала что-то смутно похожее на лицо. Чей-то лик, приветствующий Растлителя как друга. Лунный свет, светотень — никто из троицы этого не замечал, у них было прекрасно развитое ночное зрение.

Растлитель изобразил какой-то сонный узор, вобрав в себя косяк вопящих от собственной окоселости пескарей. Этакий ответ, интерпретируемый в первом приближении как-то так: <<ты думаешь, что ты — все и везде. Вы думаете, мир — это не все, что вокруг вас, и не везде кругом>>.

Координаты управления для такого дредноута, как Ботч, были совершенно иными, чем для Мосс.

Они говорили не на рыбьем языке и не на языке мха. Потому что они не были ни рыбой, ни мхом. Они не снисходили до людской речи, потому как не были людьми.

Но и новшеств тут не было. Ни тебе машинного языка, ни кодов, ни энигм. Односторонний перевод — когда каждое слово проталкиваешь через мембраны, берешь передышку — и снова толкаешь вперед. Порой то, что перегонялось в слова, было лишь эмоцией, реакцией. Всего лишь приближения, но им следовало довериться здесь и сейчас, пока они не стали скользкими и не канули в трясину. Потому что перевод был своего рода вирусом, и Мосс верила, что она заражает рыбу, а не рыба — ее, Мосс.

<<Ну разве же это — не нападение?>>

Растлитель этого не сказал, никогда не скажет, и все же в каком-то смысле это *было* им сказано, и он продолжал противостоять ей. Неподвижность Растлителя, пристально глядящего на плывущее поле цветущих мхов, подсказала ей, что он ее хочет слопать. Если бы он только мог найти ее сердце, он вырвал бы его с превеликим удовольствием — чтобы пожрать его в окружении всех этих цветов.

Этот зверь — он мог содержать ее, какую-то ее

часть, какую-то ее версию. Можно было попытаться сыграть на этом и выиграть им время. Не та миссия, о коей договаривались Грейсон и Чэнь. Совсем не то, что она обсудила с Лисом, — *абсолютно* не то. Такой способ привлекал разве что растительные клетки, содержащиеся в ней. Мох и лишайник. А было ли в ней что-то еще?

Она сказала Растлителю, что взаправду видела его. Что она может проследить за Растлителем по контуру его шрамов. Потому что не было на теле Растлителя ни местечка, где шрамов бы не было, и потому-то он был теперь бел как снег, бел как некий призрак, нечто, не принадлежащее Городу. Белое — это не камень, не мертвая окаменелость; силу брони и, соответственно, силу смерти белое применить на ней не могло. Но вот нашлась одна лазеечка, одна слабость — этот его язык будущего.

Всякий шрам на теле Растлителя она раскрыла в полноте его — напомнила о том, как он появился, рассказала об этом ему, ведь Растлитель забыл, что означают собственные шрамы, как и почему они ему достались, забыл вообще обо всем, что происходило в мире вокруг него. Всякий шрам, раскрытый подобным образом, поведал историю долгой жизни Растлителя, и с каждой

новой подробностью Растлитель возвращал себе утраченное, и в конце концов, очищенный от всех шрамов и ран, предстал перед Мосс во всей своей сияющей первозданной истине.

На какое-то мгновение Растлитель стал новеньким-новеньким, и глаза его заблестели — жажда убийства покинула их.

Мне нужно кое-что от тебя. Нечто важное.

Она не хотела его принуждать; Мосс устала от силы, сила унижала ее саму, и силового яда она хотела скопить в себе как можно меньше.

Часть меня будет защищать часть тебя. Я буду защищать тебя вечно и каждый день, как только смогу. Я буду своего рода броней.

Ибо никто никогда не догадывался, что такое чудовище может нуждаться в защите. Где-то глубоко в его недрах, в бессолнечном океане, наполнявшем чудовище изнутри.

<<Я тебя не знаю. Ты меня знаешь, теперь я вспомнил. Но я тебя не знаю.>>

Ни слова не прозвучало. Ни рева, ни протяжной песенной ноты. Но Мосс его услышала, конечно же.

Это я.

И это я.

Ты — это я.

Кто я такой?

Она знала, кто «я» такой. Знала. Глубоко в горящем сарае своей души.

И она впустила Растлителя, даже когда тот, разогнав ряску, нырнул глубоко в грязь, в темную воду. Мосс запрыгнула ему на спину и тоже устремилась в глубину, потянула вниз, дыша/не дыша, разъятая на составляющие, цепляющаяся всеми возможными способами за спину зверя, который собирался убить ее.

xii.

дара путь – и дарителя слишком тягостен был

Мосс боролась с Мосс. Редкостное зрелище. Растений бой — он трудный самый. Между лианами. Между упрямыми драчливыми сорняками. То ускоряющийся, то замедляющийся. Сначала одна бежит через пыльный двор, полный скелетов, а потом другая. Добавьте третью и четвертую Мосс, притянутую к той же реальности, и там, в слиянии, в потоке распростертых нитей и завитков не будет уж ничего, кроме блаженства крошечных цветков и взрывающихся спор.

И так — пока, наконец, не стало никакой раз-

ницы между нападающим и атакованным, и никакого позора уже не было в капитуляции, потому что Мосс не могла более отличить себя от себя самой. Из этой комфортной объединенной формы, комфортной — потому как большой, Мосс могла снова восстать в человеческом облике. Одна Мосс. Извечно делимая. Не управляемая ничем свыше. Не подлежащая никаким правилам неуправляемых, позабытых стран.

Много раз (но не сейчас) тайная охота Мосс на рыбу оканчивалась тем, что Мосс Объединенная вставала, выпуская зеленый туман из шлема своего скафандра, пока троица пряталась в укрытии оврага. Текучие петельки и спиральки плотно оседали на землю, образуя туманный изумрудный призрак, похожий на Мосс. Когда Мосс застегивала скафандр, все обычно кончалось — и перед ними вставала еще какая-то (другая) Мосс, бархатистая по краям, но с неизменной теплой улыбкой и тем же, прежним, пытливым взглядом.

Взглядом, что нес свет — от одних подобий глаз к другим. Вся Мосс была как один огромный глаз, но при том у Мосс не было глаз.

Мосс поговорит со своим двойником, и ее двойник отправится на задание в сопровождении

Чэня, который мог идти по пустоши к прудам-отстойникам в своем камуфляже — том самом, при котором он в скафандре не мог быть замечен иначе как спецсредствами. Пока двойник Мосс, этот ее пуантилистский портрет, будет разбираться и вновь собираться рядом с Чэнем, в мерцании молекул, что прыгали по небу, кружили вперед-назад, образовывали пленку, быстро ползущую по земле, сам Чэнь будет ждать у прудов-отстойников, в то время как призрак Мосс минует датчики Компании, видимый-невидимый, проникнет в здание Компании — и завершит миссию Мосс за нее саму.

Да, таков был план. В прошлом.

Для Мосс было небезопасно подходить ближе, потому что Мосс была выходом. Без Мосс они никогда не доберутся до другого города, если потерпят неудачу.

Мосс не просто ухаживала за приливными бассейнами. Часто, еще до прихода к ней Грейсон, Мосс насылала рябь на эти недвижимые поверхности, говоря о существах, которые там жили, и о том, как они там жили. Она подняла глаза от озер, стала тем, что жило там, глядя, как гигант приближается, чтобы заглянуть внутрь, чтобы стать даром — и дарителем одновременно.

В бесконечном резонирующем цикле. Скользя меж реальностей. Тактичная вкрадчивость, как говорила на сей счет Грейсон, — с бестактной бесконечностью вторжения вкупе. Каждый раз сей процесс их менял — немножко, совсем чуть-чуть. Но Мосс не могла вспомнить, какими они были в самом начале. Уже никто из них не мог.

Мосс не могла расширить поле. Но за определенную цену она могла стать дверью — и они проходили сквозь нее, и она следовала за ними, и разве это не сходило за жертвенность?

Разве не жертвенность же — цепляться зеленой пленкой за спину Растлителя, когда он нырял так далеко и так глубоко, извивался и брыкался, чтобы сбросить то, что не могло быть сброшено, потому что Мосс заползла ему под шрамированную кожу, глубоко впиваясь крючьями? Пусть даже фрагменты ее тела отрывала та ярость, с какой Растлитель панически рыл червоточину в глубину, во мрак.

Зато она видела, что там лежит. Скелеты в знакомом шкафу. Памятки, которых ей не следовало знать. Проявленные природой миссии, природой ее тела.

Тише, тише.

Скоро ты будешь свободен. Я сделаю тебя сво-

бодным.

Но сможет ли Мосс освободить Мосс? Сможет ли она освободить их обеих?

Нет, но я могу…

Настал тот час, когда вещи начали разваливаться, потому что они должны были развалиться, потому что онидол жныбы лираз вали тьс я, по-то-му-что-дол-жны-бы-ли-раз-ва-лить-ся. Вот они — линии отреза. Но Мосс не выдавала линии, по которым она смогла бы добраться до еще одного Города, а может быть, и до следующего — если повезет. Но передышка, которую они всегда получали раньше, отступление в прибрежные приливные бассейна на время… теперь она была для них закрыта.

Компания ликвидировала пробелы. Перерисовывала карту, делая все меньше и меньше. Скоро наступит конец. Хоть бы и потому, что Чэнь разваливался на части, и хотя Мосс могла удержать его от этого вопреки проклятию Чарли Икса, это тоже должно было произойти, этого было не избежать.

Не существовало линии, двигаясь по которой, можно было снять проклятие с генетического кода. Все равно что перестать дышать.

Она не могла отрицать и того, что сказал ей

Лис, что окончательно решило ее судьбу. Они бежали из Городов, от Компаний много раз, но реальности были конечны. Лис отыскал их предел на краю запредельного, впустил ее в свой разум в достаточной мере — чтобы она сама увидела. Всякий раз остаток заканчивался на 7. Все остатки, какие только пожелаешь, математика могла предоставить, но извольте — чтобы все упиралось в семь. Возможно, им нужна была семикратная смелость. Семь подвигов. А не только три, как в сказках. Стремитесь в небо — извольте восстать сквозь гниющие кости земли. И тогда туша Бегемота развалится на части, и воспрянет навстречу дождю.

Нужно достичь самой крайней точки. Ну или хотя бы той точки, за которой им уже невыносимо станет. Она в скафандре, смотрит на скалу, на камень под ногами. Не уверена, видит ли на этом камне намеки на шлем, на чье-то лицо. Возможно, это просто совпадение. Ничего не значащая игра контуров.

Не узнать наверняка…

Но Мосс — знала.

Растлитель, перестав корчиться и трепыхаться, неуверенно притоп в грязи. Но она все еще не могла позволить себе передышку. Мозг и те-

ло Растлителя еще предстояло засеять такими штуками, которые с виду можно было принять за червей-трупоедов. Но так Мосс всего-навсего размечала карту. И эти черви — они были всего-навсего разновидностью старой-доброй Мосс.

Тебе не нужно притворяться со мной.

Эту мысль она ввинтила Растлителю прямо в мозг. Она могла заглянуть туда, знала, что Растлитель притворяется глупым зверем, каким он на деле не был.

Рыба затрепетала, изображая что-то вроде пожатия плечами. Ну, насколько в принципе рыбе была дарована возможность сотворить такой жест.

<<Опасно. Слишком опасно>>.

Тогда Мосс нарисовала в голове Растлителя картинку. Вот он, простой Растлитель, бродит меж прудов-отстойников. Этакий старый доходяга в поисках еды. Жрет бесформенные лепехи из грязи, жаб, червей и других рыб, и просто так, своего же удовольствия ради, подходит все ближе и ближе к зданию Компании. И кто там разглядит этот зеленоватый блеск на его чешуе? Это же просто водоросли — он их собрал на свою шкуру в каком-нибудь пруду. Ну а сладковато-острый запах, нездешний, но смутно знакомый… а что,

Растлитель должен хорошо пахнуть? Ну а потом — почти вся эта зелень исчезла, и опасность осталась далеко позади.

<<И почему я должен это сделать?>>

Чтобы жить. Процветать. Продолжать властвовать над всем этим. Растлитель не мог испортить эту среду обитания больше, чем Компания. Она была загрязнена, запущена, загажена — но всегда сопротивлялась. Растлитель вырастет большой-пребольшой — и будет править всеми, этакий доброжелательный тиран. И если в процессе Компания, зараженная во всех своих версиях, отпадет, тогда, возможно, лисы будут танцевать по полу ее мертвого здания, и пруды-отстойники будут ею оставлены в покое.

Ибо нет лучшей управы, чем своя собственная.

<<Я уже правлю тут всем>>.

Но в мыслях он кивнул ей — давая понять, что не станет с ними сражаться. Этот Растлитель боялся неведомой, бдительно-сверхъестественной природы Мосс куда больше, чем ведомой естественной жестокости Компании. И первое, и второе — явление. Явлению под знаком Мосс Растлитель доверял меньше.

Он отворил Мосс врата восприятия, и они оба оказались у моря, у приливных бассейнов, за

которыми она ухаживала, под разрушенными сводами. Растлитель снова стал маленьким, милым гладким малюткой в приливном бассейне, и к нему заглянула Мосс — огромная-преогромная, — и засияла, точно Солнце, над ним. Осеняя его, оберегая его, ниспосылая ему любовь и лучистый покой.

Единственный глаз Растлителя затянула молочная пленка. Он закрылся, снова открылся. Теперь Мосс знала: таким — одноглазым — Растлитель и уродился. Знала, что в его случае два глаза хорошо, а один — лучше. Знала, что Растлитель не запомнит их разговора, потому что она милостиво сотрет ему память о чем-то настолько гуманистичном. Пожалеет его.

<<*Я мечтаю о свежей, открытой воде. Я мечтаю о солнечном свете и прохладной грязи. Я мечтаю о еде, в экстатическом порыве стремящейся прямо в мой распахнутый рот*>>.

Чья это мысль — Растлителя или Мосс? Ведь какая-то часть Растлителя теперь навсегда останется с ней. Часть Мосс будет тайно растлевать все приливные бассейны. Если им повезет.

Растлитель был очень большим, возвышающимся над ее отражением в мерцающей воде, а она была маленькой и усталой.

До свидания, сказала Мосс своему двойнику или ее двойник сказал ей. *Прощай, и снова здравствуй.*

Тело не существует отдельно от души, потому что душа сама по себе не существует. И будущее точно так же никогда не разлучается с прошлым навсегда.

Ее двойник выглянул из горящего сарая — и больше ничего не сказал. Закрыл дверь, оставив себя внутри. Себя, охваченного пожаром. Горящего в самом сердце Растлителя.

Утка со сломанным крылом не появлялась во время их разговора; утки нигде поблизости не было. Под усталостью, вызванной тем, что она из-за Растлителя потеряла, укрылось облегчение. Собственно, из-за Лиса она потеряла это тоже. Но почему? Она пока не думала об этом, но еще задумается — попозже.

Потому что, может статься, утка уже прибыла сюда.

xiii.

ведь любой путь кончается, всякой жизни есть срок

У их троицы не всегда была миссия. Мосс го-

ворила, что нельзя выполнять миссию вечно, иначе миссии вообще не будет. Дразнящий образ былого выступал из руин: она когда-то прыгала меж приливных бассейнов и выбегала на пляж, просто чтобы притвориться, что у нее есть ноги, что она — не волна за волной.

Танцевала на пляже, в одиночестве. Это как играть в пятнашки с самой собой — хочешь поймать, хочешь быть пойманной. Ничто не должно быть мрачным. Ничто не должно быть серьезным, даже самое серьезное, наисерьезнейшее. Хотя бы — не всегда.

— Вот как мы бы выглядели, будь мы рыбами. (Это была идея Чэня, и он посмеялся, высказав ее, но Мосс, все еще отходящая от своей миссии, серьезно кивнула. «Я бы все время держался у поверхности, Грейсон была бы какой-нибудь барракудой, а Мосс — стайкой пескарей, прячущейся в водорослях».)

Люди — серьезные, но мир вокруг них — нет. Разве может быть серьезен рак, опьяненный поеданием остатков пескаря? А водоросли, поблескивающие небывалыми своими текстурами на фоне беззаботных морских анемонов, чьи щупальца ленно развиваются в воде? Серьезна ли рыба-клоун среди анемонов?

И если на земле этой не так много созданий, сотворенных человеком, — что ж, им все равно требуется время, дабы успокоиться. Обрести вдумчивость. Шаловливость. Прежде чем вернуться в мир еды, питья и кормов.

Эти трое иногда играли в карты, чтобы снять напряжение. У них была старая потрепанная палуба. Или вот была еще какая игра — с ракеткой и потертым теннисным мячиком.

Или, как здесь, как сейчас, стоя у южного входа в Балконные Утесы, каждый из них осознавал склон оврага и полумертвые деревья, сквозь которые они все еще могли видеть Компанию, потому что сияла чистейшая белизна.

Орлиный взор Грейсон сосредоточился на прудах-отстойниках; она пыталась по малейшим отклонениям в их поведении счесть, догадалась ли Компания о тайной встрече Мосс, имевшей место прошлой ночью.

— Никогда не любила командный спорт, — сказала Мосс.

— Ты сама — тот еще командный спорт, — ласково заметила Грейсон.

Чэня ее слова повеселили. Они проредили его разочарование во вкрадчивых методах Мосс. Что ж, в один прекрасный день ни разочарования,

ни Чэня не станет, ведь и оно, и он испарятся, рассеются.

Они уже бывали в этом месте раньше. Порой именно здесь они находили тот полуразвалившийся кукольный домик, который пользовали для разработки стратегии; если находили — заносили внутрь и чинили. Делали для домика все, что могли.

На этот раз они нашли то, что Грейсон назвала фрисби.

— Что это за штука такая — «фри сби»? — спросила Мосс.

— Вот же она.

— Это пластиковый диск.

— Ну да, и его надо бросать.

— Зачем?

— Да так, забавы ради.

— А, опять командный спорт.

Грейсон бросила фрисби Мосс, и та заставила его воспарить в воздух, точно облачко теплых паров.

И все же каким-то образом он опустился, выровнялся и устремился прямо в руку Чэня. Ему нравилось даруемое им ощущение рифления… и в то же время — гладкости. Его рука постоянно каталогизировала новые текстуры. Он держал

при себе квадраты льняной бумаги, чтобы писать на них, потому что линии на бумаге ощущались как связь, как будто что-то уже свершенное, написанное, что осталось лишь визуализировать.

Они расступились, образовав правильный треугольник.

Чэнь бросил фрисби Грейсон. Та поймала его, подержала секунду, стараясь не рассмеяться при виде обеспокоенного выражения на лице Мосс.

— Командный спорт когда-то взаправду существовал, — сказала Грейсон.

— Когда же?

— Давным-давно, давным-давно, давны-ы-ы-ым… давно. Уж и не припомню, когда именно. — Ей было слишком больно вспоминать свое детство, потому что она помнила времена, когда все то, что происходило с ней сейчас, сошло бы за бред, за небывальщину.

Чэню тоже казалось, что он может вспомнить точную дату; и откуда только подобная уверенность взялась?

— А что еще было? — поинтересовалась Мосс.

Грейсон проигнорировала ее вопрос, подловив ее:

— Почему ты пошла одна? Почему не разрешила нам пойти с тобой? — Такая вот уловочка.

Сбоку — наскок. Но Мосс, понимавшая, что так ее просто просят не делать подобного впредь, оставила Грейсон без ответа.

Грейсон отпасовала фрисби в сторону Мосс — но не рассчитала, послала уж слишком высоко. Но тут и Мосс воспарила высоко-высоко, водоворотом тлеющей зелени, чей вид поверг Грейсон в распаленно-благоговейный трепет. Мосс поймала фрисби, но — по-своему, необычным способом. Пластиковый диск отскочил от зеленой стены и упал, и взорвался волной мятного запаха — а потом снова материализовался в протянутой руке Чэня, так неожиданно, что тот попросту выронил его. Ругнувшись, Чэнь поднял диск с земли… и вдруг замер.

— Откуда нам знать, что это — тот самый фрисби? — спросил он.

Грейсон понимала — ниоткуда.

— В каком-то другом месте мы тоже будем бросать друг другу фрисби?

Грейсон подпрыгнула, ловя запоздалую подачу от Чэня.

— Нет, — ответила Мосс. — В другом месте мы пинаем ногами мяч.

— Это мы уже делали, — заявила Грейсон, отпасовывая фрисби обратно Чэню. Чэнь снова

кинул диск Грейсон. — Помнишь? Много-много Компаний назад.

— Сейчас это происходит в Городе. В этом Городе, — сказала Мосс. — Дайте мне фрисби.

Чэнь переглянулся с Грейсон, и они хихикнули.

— Не дадим, — ответили они и передвинулись так, чтобы Мосс оказалась между ними. Фрисби пролетел над ее головой в обманном маневре. Она клюнула на этот обман — или, возможно, позволила им себя провести, — прыгнув за ним, но они ведь тоже были не лыком шиты. Чэнь проделал свой фокус с отсоединяющейся рукой, послал Мосс в неверном направлении, поднырнул под ее траекторию — и все, вот он, пластиковый диск при нем.

— Дай мне фрисби! — крикнула Мосс.

— Ты снова учудишь с ним что-нибудь, — заметила Грейсон.

— Тебе же это нравится!

Правда. Грейсон это очень нравилось. Но пусть даже так, потом и кровью, ей и Чэню нужно было доказать Мосс, что они — конкурентоспособны. Что Мосс не играет по давно заведенной привычке сама против себя.

Поэтому какое-то время они удерживали фри-

сби подальше от Мосс. И в какой-то момент ей надоело их коварство.

Мосс стала стеной между ними и перехватила фрисби. Пластиковый диск, брошенный Чэнем, прошел через нее — и превратился в мяч размером где-то с голову Грейсон. И в Грейсон этот мяч, собственно, и полетел. Та попыталась уклониться — и упала, и Мосс, снова — та самая, что бы это ни значило, засмеялась жидким растительным смехом. Чэнь улыбнулся, напоминая, как сильно любит эту парочку, а Грейсон изобразила пылкое возмущение.

— Ты изменила будущее, — сказал Чэнь, чтобы на всякий случай сменить тему разговора. — Я это чувствую. Теперь мы можем идти домой.

Мосс и Грейсон молча уставились на него.

Домой? В какой именно дом — из множества?

Фрисби не вернулся к ним, и они не вернулись к фрисби. Под сенью Балконных Утесов они улеглись на одну продавленную кровать. Уже совсем другая игра. Чувство завершенности накатило на них — как будто лежишь в мягком мху, и он тебя окутывает. Чэнь отвердел, точно скала, а твердь Грейсон превратилась под ее одеждой в мягкость и уязвимость, и она позволила себе расслабиться в их объятиях.

— Что бы ты делала, не будь всего этого? — спросила Мосс у Грейсон. Если бы Землю не постигла такая катастрофа. Если бы Компания не уничтожила столь многое.

— Я бы искала тебя у приливных бассейнов.

— Не обманывай себя. Ты бы меня даже не узнала. На меня нельзя наткнуться случайно.

— Пусть даже так. Я бы все равно искала.

Все трое прекрасно знали: любой путь кончается, всякой жизни есть срок. Но они понимали также, что всякий путь — редок и драгоценен. Что не всякий путь начинается на окраине Города, пролегает через пески пустынь навстречу двойникам, в чьи глаза смотреть — все равно, что в зеркало. Не всякий путь придерживался таких намерений, что были у них.

— А ты, Мосс? — спросил Чэнь.

— Я бы дожила свои дни у моря. Одна, в своих мыслях. Я бы отрезала себя от всех и вся.

Грейсон радовалась, потому что знала: если она когда-нибудь умрет, Мосс сможет возвратиться в свои приливные бассейны.

— А ты, Чэнь? — спросила Грейсон.

— Какая разница. Я бы делал то, что делал.

Но они знали, что он хотел сказать — что ему не хотелось жить в будущем, где не было бы Грей-

сон, Мосс и их общей цели. Они стали единым целым, единым телом, а у тела нельзя отрывать конечности. Всеобъемлющая Мосс. Легкомысленный и недалекий Чэнь. Грейсон — со своей настойчивостью, которой хватало с лихвой на всю троицу. Их столь многое теперь объединяло. Когда эта связь исчезнет, когда Мосс сольется с приливами, все, что им останется — извечно тосковать. Обыденная речь сделается для них нестерпимой издевкой, пародией на мысленное общение, к которому они давно привыкли. Никто не согласится на физическую близость, когда познана близость телепатическая. Возможно, они столь близки в последний раз.

Мосс расскажет им утром, объяснит все утром. Когда они будут стоять снаружи, взирая на здание Компании.

Может быть, они поймут.

Где-то в другом Городе фрисби застучал по камню, мягко проехался по песку. Где-то в воздухе исчез детский мячик, отбитый ногой ребенка.

С того момента ребенок тот изменится навсегда. Уверует в духов, в чудеса, в энтропию, в алхимию. А может, утратит веру вообще во все.

Проход закрылся, и Мосс вернулась в одно место, в одно время — снова.

Снова распласталась на кровати.
Мятежник и предатель — в одном лице.

xiv.

страшный недуг скрывается в красоте – между строк

Что Чэнь делал для Компании? До того, как он предал Компанию? До того, как он украл дневник Чарли Икса и отправил его вместе с саламандрой через стену глобул в другое место?

Чэнь-новобранец утилизировал умирающих биотехов в прудах-отстойниках. Чэнь-доброволец проверял продукцию Компании на наличие признаков болезни, чтобы больных можно было спровадить в пруды-отстойники… ну или отдать Чарли Иксу.

Неважно — добровольно ли, по призванию, — Чэнь твердил себе, что усердно трудится ради семьи, жены, двоих детей и бабушки, о которых тот Чэнь, что был с Грейсон, привык думать как о далеких звездах… таких же далеких, как и те, настоящие, усыпавшие ночное небо. Возможно, потому что его развратила мысль о том, что они на самом деле не существуют, никогда по-настоящему не существовали. Но также и потому,

что Чэнь-нынешний знал, что они не имеют значения: он никогда не увидит их снова; они остались так много реальностей позади, сотни копий наказанного и использованного в нуждах Компании Чэня позади.

Чэнь, живший в своей квартирушке на Балконных Утесах и отрабатывавший на территории Компании недельные смены, спал на многоярусной кровати вместе с остальными работягами ночью, а днем — следил за биотехами. Сбрасывал их в пруды-отстойники, чтобы на них охотились существа, уже жившие там, отказавшиеся умереть, а ведь только смерть им и пророчили, только смерти им и желали. Но раз не умерли — что ж, сказала Компания, пусть послужат другой цели. И они служили. На том и порешили.

Люди, с которыми работал Чэнь, поблекли и превратились в медленно движущиеся тени в его сознании. Глобулы, с которыми они работали, были формой загрязнения — чем-то вроде радиации, ртути, с поправкой на то, что природа их была биологической, а воздействие — временным.

Чэнь носил специальную одежду, защищавшую его от воздействия стены глобул, когда работал там. Как только «продукт» был готов, можно было перейти в другую, безопасную зону.

В зоны временного загрязнения — вблизи здания Компании. В большинстве случаев работники отделывались тошнотой. А иногда их тела становились нестабильными, не могли решить, где им жить-быть — здесь или там, тогда или сейчас.

Один только голос Чарли Икса доносился из потайной комнаты по другую сторону стены глобул, с той стороны, которую Чэню не дозволено было видеть. По ту сторону Чарли Икс вел свой дневник. Вот только… глядя на отражения в глобулах, можно было увидеть искаженное лицо Чарли Икса. Увидеть дневник на краю его стола. Как часто Чарли Икс упоминал о нем, как от него зависел! Может быть, те зеленые узоры свидетельствовали о Мосс, но как Чэнь мог тогда это узнать? Он, получается, был так близок к ней — и никогда ее не знал. Вернее, тогда — не знал. «Знал где-то и когда-то, но этот Чэнь Знающий был не я», вот как он порой уточнял.

Но Мосс действительно была там, на другой стороне. Мосс видела Чэня. Заметила Чэня. Узнала, что уравнения Чэня помогают стабилизировать и рационализировать порождаемый Компанией кошмар. Что уравнения Чэня рационализируют даже тот кошмар, который учинил над ней Чарли Икс. Насколько применимы, конечно, к ее то-

гдашнему состоянию все эти понятия — «видела», «заметила», «узнала», — тот еще вопрос.

Так что со временем Мосс поняла, что есть версии Чэня, которые не могут справиться с тем, что их попросили сделать — как раз когда Грейсон попросила ее найти призывников или добровольцев, могущих помочь их делу.

Людей, которые могли ненадолго превращаться в монстров, но должны были снова стать людьми — чего бы это ни стоило.

Что есть человек, как не тот, кто становится монстром? Что есть человек — по опыту Мосс, во всяком случае, — как не разновидность демона?

Чэнь, доброволец, надел перчатки и специальную одежду, чтобы осмотреть биотеха, заключенного в стене глобул. Стена была тем местом, где он проводил большую часть своего времени. Стена, в конце концов, и сломала Чэня — того, что был с Грейсон. Сломала сильнее, чем он сам себя поломал. Что такого? Никакой слабины в этом ведь нет. Смотришь в лицо, непохожее на твое, но все еще слишком знакомое. Лицо, созданное в лучшем случае, чтобы кому-то служить или кого-то развлекать, а здесь — служащее даже более низменной цели: как белок для какого-то другого существа, созданного для служения или

развлечения, провалившего тестовый отбор и предназначенного для ссылки в пруд-отстойник.

В какой-то момент можно даже вообразить — хорошая работа, благородная цель! Есть нечто прекрасное в том, чтобы взять подобное сырье и наделить его целью. Но этот флер быстро спал.

Чэнь научился прочитывать понимающе-негодующий блеск в тусклых омутах глаз, что являлись ему. Блеск несогласия с собственной судьбой, с этой особой формой сознания, в которую хозяина глаза — или его отражение — заключили.

А заключили его и в сверкающие красно-белые шипы животного, похожего на крылатку[9], но отправленного ходить по суше, и в глаза лемура, глядящие из тела свернувшейся клубком зеленой ящерицы, и в морского анемона, которому приделали зелено-пурпурные крылья.

И как только Чэнь пережил испытательный срок, как продержался в Компании неделю, месяц, год, пять лет? Как надевал перчатки, проталкивал руки сквозь вязкую мембрану отдельно

---

[9] Примечания: 9

Крылатка, иначе — зебра-крылатка, полосатая крылатка (лат. Pterois volitans) — рыба семейства скорпеновых. Известна благодаря яркой окраске и ядовитым иглам. Вырабатываемый яд в иных случаях смертелен для человека.

взятой глобулы, застрявшей в целой стене, щупал и давил, разминал и оценивал, сверяясь с показателями датчиков? Всякий раз ему поручали найти ложное сокровище — изъян, зачастую проявлявшийся как дар, как талант, как интеллект за гранью установленных стандартом параметров, или навык, никогда не полагавшийся конкретно этому продукту.

Некоторые притворялись больными, более умные, и со временем Чэнь узнал, что ум присутствует и у тех, у кого нечеловеческие лица, и у тех, у кого тела каким-то образом имитируют человеческие. Ибо даже вмурованные в стену, словно причудливые драгоценные камни, некоторые из тех, кого он осматривал, наверняка внимали мифам, овевавшим пруды-отстойники. В пруду можно обрести смерть — жестокую и мгновенную. Но можно и свободным стать. Или, по крайней мере, побороться за шанс на свободу.

Но именно тот из них, кто говорил с Чэнем, наконец-то доконал его. Так или иначе, Чэнь к тому моменту не вращался в сферах, какие Компания могла бы одобрить. Он прошел ту отметку на карте, что отмечала изведанные земли. И это произошло бы с ним даже раньше… или в любое другое время, по любой другой причине. Произо-

шло бы все равно, вот что важно.

Агония, обращенная в речь, в человеческий атрибут, исходящий из нечеловеческих уст, слова, вдруг обретшие небывалый вес — вот что пробудило его от транса, от сна на ходу, от зацикленных ритуалов рабочей смены.

Он просунул перчатку через мембрану и сдавил в руке тварь — яркого, точно чертополох, ежа с уймой ног, утопавшего в плюшевом золотистом меху. Он держал тварь так, чтобы можно было раздавить ее в любой момент и оборвать эту ее речь, которую, вообще-то, Чэнь *не должен был* слушать. Существо обращалось к нему храбрым голосом, не похожим ни на какой другой — потому что такие существа на веку Чэня прежде не разговаривали, и он не смог бы описать этот голос кому-то другому. Разве что сказать, что был он похож на трепет мягких крыльев, обласканных спокойными волнами.

Выслушав ежа до конца, Чэнь, спотыкаясь, вышел из здания Компании, миновал зону прудов-отстойников и побрел, пошатываясь, с потерянным видом, сначала к лесистому ущелью, а оттуда — к южным вратам, ведущим к Балконным Утесам. Но пройти через врата он не мог — будто некий силовой барьер удержи-

вал его. Сознанию Чэня была нанесена травма. Он остановился, склонившись, тяжело дыша, перед Балконными Утесами. Он сник на колени в гравий, рассеянно смотря на далекое здание Компании.

Именно там его и нашли Мосс и Грейсон. В конце концов. В нужное время. Того Чэня, что был им так нужен. Чэня, который знал Компанию, знал стену глобул и все ее ужасное содержимое.

Но Чэнь никогда не рассказывал им, что сказал ему многоногий ежик, похожий на чертополох, умерший в его руках от того, что сотворили с ним по ту сторону стены, неспособный оправиться от последствий. Чэнь и сам так и не оправился от его последних слов.

Он никогда не станет обременять Грейсон и Мосс своими кошмарами. Но в мечтах Чэня потолок здания Компании рушился, и глобулы из стены воспаряли в ночное небо, оставляя далеко позади Компанию и легион тех, кому уже не помочь.

Иногда, признался Чэнь Мосс, он и сам следовал за ними, улетал в небеса и никогда не возвращался. И когда это происходило в его сне, Чэнь плакал, ведь его окутывал райский покой — столь незамутненный, какого он никогда в жизни не

испытывал.

На самом деле их Чэнь вернулся в здание Компании и проработал там еще несколько месяцев, прежде чем уйти. Он просто ждал подходящего момента. Саботировал все, что мог.

Как-то раз он увидел саламандру — большую, свернувшуюся внутри глобулы. По тому, как пронзительно она смотрела на него, по самостоятельности и осознанности ее глаз он прочел — в этот раз предать этот взгляд у него не получится. Он не сможет подвести этот взгляд — и спокойно себе жить дальше.

Если ежик сломал Чэня, саламандра, возможно, спасла его. По крайней мере, расчеты Чэня указывали на такую историю — или хотя бы на ее часть.

И вот Чэнь послал саламандру сквозь стену глобул в другой мир. В тот, где Компания уже закрепилась, но еще не завоевала все и вся. Где у саламандры еще мог быть шанс.

И, воспользовавшись удобным случаем, он закинул драгоценный дневник Чарли Икса следом. Вот он был…

…и вот его уже нет.

xv.

нет побега нет выхода

Было поздно — уже тогда. Стало поздно — прямо сейчас.

Утром следующего дня, когда они стояли у Балконных Утесов, готовясь к следующему этапу, утка взвилась пред ними бурей. Огромная, темная и безумная: фантом, иссушивший воздух кругом, спаливший весь кислород, которым они могли бы дышать. Призрак, запятнавший небо и опаливший их кожу, ошпаривший их чувства так, что они не хотели более ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни пробовать на вкус, ни чувствовать. Воздух наполнился красной пылью, засохшей кровью и крошечными кусочками металла, которые резали им лица.

Темнота под уткой, ощущаемая Мосс, ускользнула, или была выпущена на свободу, или впервые разошлась не на шутку. Она вздымалась, сочилась и поднималась, растекаясь по горизонту — и в их сознании — высокой черной стеной. Скребущееся, ужасное нечто, требующее, чтоб его впустили. Они знали, трое как один, что, как только пустят — тут же им и конец. *Вы все*

— поломанные игрушки; так позвольте же мне починить вас.

Мосс ощущала этот посыл. Обезопасить, удержать, сохранить. Ее двойник был теперь прикован к месту. От этого ощущения у нее перехватило дыхание.

Прошлое всегда их поджидало. Ранило, рвало и раздирало.

— Мой двойник скомпрометирован, — известила она Чэня и Грейсон.

Грейсон пристально смотрела на нее своим всепроникающим взглядом.

— Твой двойник?

Ее двойника посадили в тюрьму, и этой тюрьмой был Бегемот Растлитель. Контроль над ситуацией был утрачен. Она была крохотным существом в приливном бассейне. Бесполезным. Ничто из того, что они способны были сделать для него на расстоянии, не могло помочь. Поблизости ничего не было. И все же она чувствовала частицы своего второго «я» в воздухе вокруг них, в развоплощенном образе утки. Что все это значит?

Южная дверь не открывалась. Чэнь навалился на нее плечом. Мосс трещала по швам. Грейсон обратила к буре лицо. Выхватила пистолет — но

чуть менее беспомощной себя не ощутила. Не было никакого выхода, никакой возможности спастись.

Фигура врезалась в Балконные Утесы, утратила форму, превратилась в хаос сыпучих частиц в воздухе, развеянный ветром. За высоким пронзительным воем они услышали, как рушится секция ветхой крыши, как стены скрипят от напряжения, пытаясь выдержать то, что невозможно было выдержать.

Скребущееся, ужасное присутствие, требующее, чтобы его впустили. Троица знала — все как один, — что как только оно сфокусируется на них, как только расколет их черепа и проникнет в их разум — тут же им и конец.

Камни и ветки бились о стены вокруг них.

Но южная дверь по-прежнему не открывалась.

— Отойдите в сторону! — крикнула Грейсон.

Она выстрелила четыре раза. Пули застряли в металле. Дверь не открылась.

— Мосс, забери нас отсюда! — крикнул Чэнь.

— Не могу! Буря мешает! — крикнула в ответ Мосс.

Буря бушевала не только в этом пространстве и в этом времени. Она застила всю ее внутреннюю карту, закрутила стрелку компаса. Заглушила

информационные потоки, отрезала пути к отступлению. Частицы ее иного «я» обычно сбивали с толку ее сверхъестественные чувства.

Дверь распахнулась изнутри, и Чэнь в ярости выскочил наружу, одержимый ужасным духом, ужасным импульсом. Сияющий, как маяк абсолютной опаляющей белизны. Рот — будто зияющая рана на лице, а глаза дико закатились.

Ноктурналия.

Мосс поняла: утка его обратила.

Какая-то часть Чарли Икса обратила его и взяла под контроль.

Но она не смогла отвернуться достаточно быстро. Не-Чэнь потянулся к ней, и даже когда она попыталась раствориться в цветах, в граде листьев, он пронесся сквозь ее тело, задел ее плечо и, когда она на мгновение распалась, сгреб цветы с ее груди. Прежде чем она ахнула и снова стала человеком. Рука Не-Чэня стала зеленой, не отпуская часть ее тела.

А другая его рука — с секачом — ударила *их* Чэня в спину.

Грейсон выстрелила в Не-Чэня. В горле у него появилась дыра, и он рухнул навзничь, ухватившись рукой за дверную задвижку изнутри и снова закрыв ее. Они все еще были заперты снаружи,

теперь вес Не-Чэня давил на дверь изнутри. Чэнь тяжело привалился к двери снаружи.

Буря неистовствовала, и они прижались друг к другу, не ведая своего будущего, но все улеглось через какое-то время. Все успокоилось.

Они оказались не готовы.

Они думали, что достигли конца пути.

Но это была всего-навсего середина.

xvi.

слишком много заплатим мы за то чудо – внутри

Если бы кто-нибудь со стороны Чэня вытянул глобулу из стены и направил бы взгляд в образовавшийся проем — непременно увидел бы Чарли Икса и его лабораторию на другой стороне. Возможно, тот даже сунул бы в ответ новую глобулу в прореху — с новым экспериментальным детищем внутри. Глобулы Чарли прилаживал с неизменно серьезным выражением лица. При должной удаче можно было разглядеть даже потайную дверцу, ведущую в потаенную комнату.

Иногда из-за причуд освещения светлые глобулы на фоне черной стены казались парящими в воздухе вопреки тяготению. Почти как огромные

пузыри над поверхностью моря. Или — когда обмен был завершен, и существа из глобул отправлялись куда-то еще, — почти как бурливые, лихо закрученные волны.

Узор из грубых окружностей с пойманными внутри существами — вот что взгляду тому представало. И казалось даже, будто были они в каком-то смысле внеземными, или не вполне земными, и Чарли Икс вслух задавал Мосс вопрос — когда та сидела, лежала или стояла позади него на стуле, кровати или полу… а что произойдет, если инопланетяне взаправду снизойдут на Землю и найдут Город? И Компанию впридачу? Найдут стену глобул Чарли Икса? Они вообще поймут, для чего все это служит? Это их обеспокоит? Они это одобрят? Они вообще хоть как-то отреагируют?

Чарли Икс не знал, чего от них ждет сам, и в этом абсолютно честно признавался Мосс. Он вообще любил с ней говорить — то есть, в какой-то мере он любил говорить с самим собой, ведь Мосс была его созданием. Но Мосс впоследствии заявила Грейсон и Чэню, что всегда знала — Чарли Икс ошибался, у него с ней ничего общего. Возможно, в глубине души он знал это — и даже на это рассчитывал. Где-то там, в глубине души.

Но до того момента Мосс, с которой говорил Чарли, которая записывала всю его болтовню, была густым зеленым гумусом, размазанным по стене глобул. Каналом связи, неотъемлемой частью гения Чарли Икса. Всякий обмен со стеной проходил только благодаря Мосс. Пространство и время видоизменялись внутри нее — если рассматривать глобулы как некое «тело» под зеленой «кожей». Конечно, довольно-таки грубое приближение.

Как несправедливо. Сколь беспечно. Ужасно — ощущать глубину и растяжения телом, которое изначально существовало плоским, чья текстура — всего в дюйм глубиной.

Чарли Икс любил говорить, что вкладывает частичку себя почти во все, что делает. Существо, похожее на ежика. Саламандра. Утка со сломанным крылом. Разумный мох — Мосс.

Мосс позже сказала, что ей досталась наименьшая из возможных частичек. А та, что досталась, — была изолирована от остального и методично вытравлена.

О, если бы только это было возможно.

Мосс знала — или думала, что знает, — что появилась позже, и была далеко не во всех версиях Города. Мосс стала радикальным изменением,

гораздо более серьезным, чем все изначально дозволенные изменения, и все же — ее не хватало.

Чарли Икс в свои двадцать семь лет, возможно, уже прожил целую жизнь, перебравшись в здание Компании. Возглавив лабораторию, начав экспериментировать с формой и функцией, размыв линии между искусством и изделием. Почувствовав себя этаким могущественным оркестрантом, организатором и манипулятором жизнью.

Но много позже практический вопрос у Компании — чтобы где-то кто-то купил у нее товар, — отпал почти во всех версиях Городов, но в общем контексте Города Компания все равно продолжала существовать, как будто открылась некая фундаментальная истина, гораздо более значимая, чем сами Город и Компания… не особо, впрочем, уловимая — этакий призрачный белый свет, костяная белизна, озаряющая весь мир.

Когда оковы практических вопросов были сброшены, идея «эксперимента» подменила идею «произведения искусства». Конечный «продукт» облагался моралью в ничтожно малой степени, а искусством — как позже всяк по-своему узнали Мосс и Чэнь, — в степени еще более ничтожной.

Конечно, в том был кругом виновен Чарли Икс,

хотя, в каком-то смысле, его винить было не в чем. Чарли Икс просто придерживался старых истин. Растения не чувствуют боли. Животные — объекты, которыми можно манипулировать, как продуктами или ресурсами. Чарли Икс не воспринимал все сущее так, как воспринимала Мосс, и полагал, что «мягкие технологии» должны прислуживать тем же хозяевам, что и «жесткие технологии» — до них.

Но настанет ужасный, сокрушительный день, когда красота сделается единственным качеством, имеющим значение, и плевать будет, что зиждется красота на крови. В тот день на глобулы, вделанные в стену, будет больно смотреть, потому что за то чудо, что внутри них, мы заплатим слишком много. Стена глобул — святыня культа смерти, укрывшегося за маской неизбежного и необходимого, объявившего всякую иную точку зрения нелогичной.

Перед своим концом в большинстве временных линий Чарли Икс разменял пятый десяток. Конец означал ту точку, в которой Город начал посягать на Компанию, а не наоборот. Или — ту точку, когда Компания изгнала Чарли Икса. Или когда Лис начал появляться. Или — начал появляться *снова.*

Чарли Икс в свои пятьдесят лет слишком долго пробыл в Компании, и даже тюрьма его юности более не существовала — выродилась в шелуху, в галерею призраков. Чарли Икс страдал — и был обречен страдать, — от смешения реальностей, от собственных кусков, застрявших между реальностей, совращенных и видоизмененных другими временами, другими версиями.

Чарли Икс к тому времени уже ничего не делал, только экспериментировал. Чарли Икс к тому времени уже давно переосмыслил Мосс — воскресил ее из того, что было. Чарли нашел способы подчинить себе человека, не лишая его человеческого сознания, и все их применил к Мосс.

Чарли Икс думал, что Мосс может стать своего рода инкубатором, дополняющим стену глобул, даже если в этой реальности механизм стены вышел из строя, и почти все глобулы стали темными и мертвыми, а в некоторых других реальностях даже само здание Компании развалилось — и остался просто Чарли Икс, работающий на открытом воздухе, пихающий в мертвую стену существ, которые, лишенные пищи, умирали почти сразу. Чарли Икс, даже и не заметив этого, продолжал двигаться дальше — пока не истощились припасы и оборудование, пока следующим его детищем

не стал простой ком глины, ощетинившийся ветками, в который он всунул пару глазных яблок, придавив те большими пальцами; и вот такое вот свое творение он с хриплым победным воплем засунул в рваную пробоину, где много лет назад была глобула.

— Ничто не вечно! Ничто не длится вечно! — будет орать он в самые уши измученных душ, застрявших в стене, плененных и безгласных. — Ничто не сделано так, как следует! — Такую претензию мог бы высказать ребенок.

А потом, накричавшись вдоволь, Чарли Икс удалится в свою тайную комнату, где даже Мосс его не может видеть.

«Повторение — мать учения» — это постулат не для Мосс. Со временем она развила такие умения, которые Чарли Икс совершенно в ней не планировал, и, как результат — почти не замечал. Порой Чарли Икс даже отправлял в стену фрагменты Мосс. Ее можно было сломать, ее можно было построить, но каждый раз, когда ее часть возвращалась и не отправлялась в пруды-отстойники, она тоже чему-то училась.

Та Мосс, что была теперь с Грейсон, сбежала из Компании, когда ее Чарли Иксу было тридцать девять лет. В то время, когда пруды-отстойники

подняли бунт и убили всех, даже Чарли Икса, она бежала через пески и очутилась в каком-то другом месте — там, где Чарли не мог контролировать ее. Но в большинстве других временных линий он вполне себе здравствовал, и когда троица в полном сборе повстречала его впервые, Чарли уже был за гранью приведения в порядок.

Он даже не помнил Мосс. Но она-то будет помнить его всегда.

xvii.

через символ деления, что и впрямь неделим

Неистовство бури сошло на нет. Улеглось. Мир вернулся к нормальному состоянию, темное присутствие исчезло. Дверь все еще была закрыта для всех троих. Грейсон вытянула ослабшую руку по шву. Чэнь по-прежнему сидел, ссутулившись. Кровь остановилась, но он был в бреду: все расчеты — насмарку.

— Все в порядке, — пробормотал Чэнь. — Ты уже сказала мне, что делать. Я-то знаю, что делать.

Он мог смотреть на Мосс, на Грейсон, припорошенную шрапнелью, на руку, которой досталось больше всего, которую прикосновение Не-Чэня зримо повредило. Болезнь распространилась.

Мосс частично потемнела, хотя свет и пробивался наружу — напоминая светлячков, приколотых к черной-пречерной подкладке безлунной ночи.

— Мы выбрались оттуда. Должны были выбраться. Должны! Мы-то знаем, что снова дома — все знаменья сошлись… — бессвязно бормотал Чэнь, крепко обхватив себя руками, чтобы не рассыпаться.

В его голове цвета менялись с зеленого на красный и обратно. В своей голове он видел себя как кусочки головоломки, начинающие рассоединяться.

— Мы все еще можем уйти. — В ушах у него стучал пульс. Пульс, который звал его откуда-то издалека. Из загрязненной реки, где живая тварь подвергалась преображению достаточно долго, чтобы ответить на зов по имени — а затем скользнула в воду, канула, исчезла.

Грейсон даже радовалась, что ее глаз с бельмом не мог диагностировать раны Чэня или зафиксировать меру страданий Мосс. Это было уже слишком. Грейсон радовалась бисерной боли от мелкого острого щебня, впившегося ей в руку.

Мосс знала. Судя по ее собственному диагнозу. Судя по тому, как двойник в прудах-отстойниках уменьшился из-за шторма, сошел почти что на

нет. Или даже хотя бы судя по удивленному выражению лица Грейсон. На мгновение, при взгляде Мосс, обращенном к ней сверху вниз, Грейсон все прочувствовала… а потом связь, даже если и была — оборвалась. Просто пульс всего живого кругом, затаившегося в укрытии. Мосс отгораживалась от нее, от Чэня. Ради их же блага.

— Скоро от меня ничего не останется, Грейсон. Уж прости. Я сглупила.

Но так ли это? Прямо-таки сглупила? Грейсон задумалась. Овраг разверзся под их позицией подобно алчущей пасти Растлителя. Мосс где-то там, в Растлителе, отрабатывает миссию. Не в состоянии продумать до конца правильные выводы.

Кто бы подумал, что придется задавать такой вопрос. Но Грейсон задала его — срывающимся голосом:

— Ты ничего не можешь мне дать?

Может ли какая-то часть тебя стать частью меня?

Не та часть, которая знает тебя лучше, а та, которую ты сама знаешь меньше всего.

— Ты умрешь, — сказала Мосс. — Умрешь так же, как умираю я.

— Мне все равно, — ответила Грейсон.

— Не-а. Если ты любишь меня, тебе не все

равно.

Грейсон протянула к ней раненую руку, чтобы боль могла защитить ее от чего-то другого. Мосс отпрянула.

— Не прикасайся ко мне. Не надо, пожалуйста.

Последняя надежда:

— Можешь ли ты спасти хоть какую-то часть себя? — Потому что Грейсон не могла заставить себя задать *истинный* вопрос: «Мосс, что ты наделала?»

— Он везде, во всех частях сразу. Все, что я попыталась отъять…

Человеческая форма Мосс расплылась, стала нечеткой, а затем стала распадаться на множество других форм: лишайник и листва, споры и суглинок. Множество других форм — во все еще хранимой человеческой форме, которая то проявлялась, то угасала, тускнела — и чернела еще больше, усыхала.

Грейсон знала, что Чэнь знал — цифры, сыпавшиеся из него сейчас, пытались вернуть его подсчетам связность, а может, просто подсчитывали количество крошечных жизней, которыми он станет.

10 7 3 0. 0 3 7 10.

10 7 3 0. 0 3 7 10.

Они всегда знали об этом, но раньше это никогда не было столь реально. Без Мосс не было никакого выхода. Нет выхода. В другое время. В другой Город. Пав или устояв, они останутся здесь — в этом месте. Грейсон либо воспрянет, либо падет. У Чэня уже был свой план побега.

Мосс протянула Грейсон темно-зеленую руку, чтобы успокоить ее, но рука уже упала обратно в темноту ее тела, едва только движение свершилось. Мосс дышала легко, дышала тяжело, не нуждалась в дыхании вообще, но раз заработав какую-то привычку, просто так от нее уже не отвертишься. Да и потом — она знала, как это воспримет Грейсон. Как отреагирует на то, что она перестанет дышать.

— Что бы вы делали, будь все иначе? Было бы вам лучше? — спросила Мосс у Грейсон. Она посерела, потом почернела, черное сливалось с серым, зеленое уступало место черному.

— Я бы искала тебя у приливных бассейнов, — ответила Грейсон. — Как и всегда. — Да, Грейсон не менялась, все оставалась прежней. Эта Грейсон. Та Грейсон.

И был запах, напоминающий мяту, жимолость и барвинок. В воздухе витало такое богатство. Мосс всегда носила его с собой. Последними ее

оставят запах соли и морской воды.

— И как долго? — спросил Чэнь, дрожа от усилий по сдерживанию самого себя в целостности. Наверное, Не-Чэнь, его отражение по другую сторону двери, тоже в сей миг рассыпалось. Вот только Не-Чэня ничего, кроме смерти, не ждало.

— Еще немного протяну, — выдавила из себя Мосс, хотя ее лицо уже утратило форму, она стала как призрак, составленный из гербария, как бесплодное поле, где когда-то росли полевые цветы. Она научила Чэня умирать и восстанавливаться, но саму себя научить так и не смогла.

По взгляду Грейсон, по ее молчаливости, Мосс поняла, что Грейсон переживает тяжкую утрату. Выжигает собственную боль каленым железом.

— Все лучше, чем ничего, — сказала она. — Что-то — всегда лучше, чем ничто. Помните об этом. Не забывайте.

Мосс потянулась к ним. Всем тем, что у нее еще было. Через пропасть, которую на самом деле нельзя было пересечь, через пустоту, заполнившую пространство между их умами. Прильнула к ним.

Но Грейсон всегда хранила в себе воспоминание о Мосс.

И эта связь была верна, неразделима; эту цепь

никак нельзя было порвать. Она не хотела разделяться и вновь вкушать независимость.

И вот дверь закрылась, и Грейсон осталась — не в силах прикоснуться к самому любимому существу на свете.

Все те вещи. Все то, чему научила ее Мосс. Все то, чем Грейсон никогда бы не стала — сама по себе.

Не осталось ничего такого, что не было бы сказано.

Небо было ясным. На равнине, восстановив зрение, она увидела точку, которая была Чарли Иксом, неподвижную, напряженно прислушивающуюся к чему-то, чего не было слышно. Дитя. Ничто.

Все кругом пребывало в покое. Все кругом пребывало в тиши.

xviii.

рубикон жизни/смерти обретенный в огне

Игруз целого века навалился на Грейсон. Ткацкое плетение времени — косы, что раскачивается без усилия, приложенного к ней, — затянулось на ней. Противиться бесполезно. Оно тебя найдет, как ни юли. Этакий смертельный порез, кровоточащий вовнутрь — начинается с царапины,

становится зияющей раной, разливается алым фонтаном… и потом — становится ничем.

Это чувство невесомости, этот восторг. Грейсон в спасательной капсуле, так давно. Прыжок навстречу светящемуся шару Земли — по дуговой траектории, которая все сильнее загибается. Безграничность, тщательно упакованная. Вселенная, сжавшаяся до своей части. Изломанные, выведенные заново очертания континентов — океанический простор тускло-голубой или солоновато-белый, но поверх него она не может нанести границы стран, не может вспомнить, какими они вообще были. Или, раз уж на то пошло — почему они были. Солнце озаряет широко раскинувшиеся некрополи — мертвые Города на фоне иссушенных бурых скал.

Мертвые астронавты ничем не отличались от живых. Ни первые, ни вторые не могли сбросить свою скафандровую кожу. Ни один из них не мог стать частью космоса — того, через что прошел. Скафандр — это готовый гроб; космос — могила. И лучше думать, что ты уже мертв. В этом — некая свобода; освобожденный от тела ум способен заходить гораздо дальше, чем прикованный к телу.

Трение атмосферы раскаляет капсулу добела.

Грейсон шатает и трясет. Вибрации поселились в ее костях и остались там даже тогда, когда неподвижность вернулась к ней. Она могла спокойно сидеть в кресле, и при этом ее кости вибрировали, так и не освободившиеся от космоса и путешествия в космос. Вибрации накапливались и оставались.

Она была стара и одета в костюм астронавта, отчего казалась совсем молодой. Она ехала через пустошь. Она стояла нагая у приливных бассейнов. Грейсон лежала на пляже, на прохладном песке, а над ней и за ней — разрушенные акведуки другого времени, другого мира. Прилив — хор тоненьких голосов у ее ног. Мосс — обретшая форму Грейсон, окружившая Грейсон со всех сторон, покрывшая Грейсон как вторая кожа. Демонстрирующая, поцелуй за поцелуем, красоту Грейсон — самой Грейсон, которая себя никогда красивой не считала: *ты прекрасна, спору нет.* Всем своим существом Мосс целует ее, и Грейсон видит себя глазами Мосс, и в этот момент — рождается заново.

Зеленый осадок — это Мосс, отказавшаяся от тела. Ставшая такой, какой она была до Чарли Икса.

Зеленая сияющая пыльца осела на землю —

бесплодную, уставшую. Пыльца поплыла над безотрадными ландшафтами, будто что-то ища, будто в поисках чего-то — она все еще хранила некое намерение, даже исчезая в сумерках, даже уносясь прочь с ветром.

Как спасательная капсула — почти уже сгоревшая, но достигшая-таки атмосферы. Сквозь шум и ярость трения и треволнений.

Почему ей так больно? После всего того, что она видела. Величавая медлительность космоса, каким-то волшебным образом сочетаемая с безумными скоростями. Медлительность — проистекавшая из бескрайних масштабов космоса, над которыми скорость не способна взять верх. Космос опустошенный и давящий, но при том — дарующий мрачный восторг. Манящий и отторгающий. Звезды, когда-то нанесенные на карту с такой человеческой точностью, отступили назад, снова превратившись в мерцающие огоньки в космологии какого-то божества-психопата.

Обратный отсчет: десять — до преодоления рубикона. До вхождения в атмосферу другого мира. Но она предпочла бы просто какое-нибудь счастливое число — и безоговорочный конец.

Я иду за тобой, Мосс. Я тебя еще не знаю — привет.

Но, может быть, я всегда знала тебя: подожди!

Но теперь Мосс уж нет.

xix.

там, где слаб – я силен

V.7.0 Пустынные лисы, радостно щелкая челюстями, пожирали останки Мосс. Они прыгали-скакали через туманный луг ее трупа и подчищали его частица за частицей.

v.6.9 И была в их яростном аппетите некая необъяснимая мечтательность.

v.6.8 Яд ничего не значил для их физиологии — да и предназначался не им.

v.6.7 Они были антидотом.

v.6.6 Когда они объедались, лиса за лисой, они:

v.6.5 Исчезали в мгновение ока

v.6.4 и в мгновение же ока возвращались.

v.6.3 Исчезали:

v.6.2 Снова появлялись:

v.6.1 Снова,

v.6.0 снова.

v.5.9 И снова.

v.5.8 В нескольких шагах.

v.5.7 На вершине холма.

v.5.6 Внизу, в овраге, и с лаем взбирались назад.

v.5.5 В тени Балконных Утесов.

v.5.4 Сколь прелестны были их мимолетные портальные перемещения.

Таким образом, Грейсон знала, что в каком-то роде эти лисы были учеными, проводившими исследования в лабораториях собственных тел. Что за их видимым легкомыслием скрывается мрачная серьезность.

Она не презирала их за то, что они ели. Той Мосс, которую Грейсон знала, в любом случае уже не существовало. Но она все равно отвернулась. Сосредоточилась на далеком горизонте. На Чэне, которого Грейсон была не в состоянии починить. Чью руку она держала, пока та оставалась рукой. Приняла из этой руки клочок бумаги, протянутый ей Чэнем — и спрятала к себе в карман непрочитанным.

Именно тогда Синий Лис нашел Грейсон в тени Балконных Утесов. Крупный такой лис, почти что волк. Его глаза сверкали и переливались звездным светом — и крошечные звездочки, похожие на слезы, выкатывались из них, падали на песок и исчезали. Грейсон поняла — это иллюзия, наваждение, какая-то проекция, исходящая от

Лиса, а не от нее самой.

— Ты немного опоздал, — не без горечи заметила Грейсон. Думать о Лисе как о союзнике было нелогично, и она это знала.

— Я пришел ровно в тот час, когда должен был прийти, — направил прямо ей в голову Лис. — Чтобы вы, предлагая мне свои дары, осознали — будущее не за вами.

Грейсон знала, что истинные дары — это останки Мосс.

— Что же за нами, если не будущее? — успел сказать Чэнь, прежде чем рассыпаться цветастыми саламандрами. Они тут же завозились за стеклом его потертого шлема, танцуя экстатическое танго путаницы — уравнения, ищущие единственно верное решение. Что-то Чэнь совсем перестал себя сдерживать. Держаться.

— За вами — участь хороших по человеческим меркам людей, — ответил Синий Лис.

— Хороший? Кто угодно, только не я.

Последние слова. Они же — первые.

Чэню уже ничем нельзя было помочь — уже тогда, когда лисы принялись за Мосс. Даже обряженный в свой защитный сдерживающий скафандр, Чэнь начал распадаться на живые ленточки и тряпочки — тела саламандр. Они

проскальзывали сквозь все большие разрывы в его тканях. А он — с радостью приветствовал агонию своего распада и терял последние силы на потребность вновь стать самим собой.

Грейсон, наблюдавшая за его превращением и опасавшаяся новой атаки, все еще видела Чарли Икса на равнине к западу от ущелья. Но — только своим человеческим глазом. Тот, другой, она закрыла от греха подальше, чтобы не отвлекал.

Чэнь, может статься, на заре какого-нибудь нового десятилетия, давно минувшего золотого века знал-таки форму Мосс. Форма Мосс все еще томилась в ловушке внутри Растлителя, и Грейсон знала — отряхнувшее прах прошлое все еще может стать обнадеживающим будущим. Она надеялась на это. На остатки и пережитки Мосс в Растлителе. Возлагала на них великие надежды, хоть и знала, что может никогда больше не увидеть Мосс. Надеялась вопреки предательству.

Боль Чэня обрела доселе неизведанные мощь и степень, но теперь он остался с ней один на один, потому что без Мосс Грейсон не могла обращаться напрямую к его чувствам. Так жаль, что не могла.

И теперь только Чэнь мог чувствовать, как разваливается. Распадается на много-много

скользких тел. Его внутренние органы превращались в переплетенные саламандровые лапки. Они рвали его на части, причиняли адскую боль — ведь он все еще был сдавлен границами человеческого тела.

Чэнь вскрикнул от боли, но не от физической. Ни в начале, ни в конце он не мог смириться с тем, что променял одну жизнь на другую, пытаясь навредить Чарли Иксу. И правильного способа навредить ему он так и не нашел. И даже все его расчеты-уравнения не помогли.

— Тихо. Помолчи теперь, — сказала Грейсон Чэню, намереваясь разобраться с последним делом. Снова оказаться в самой дальней точке, узреть скалу, которая могла быть лицом, обращенным к тусклым просторам Вселенной; и — от этой точки вернуться снова, но в этот раз — подготовившись и смекнув, как совершить этакий переход за считанные минуты, а не за столетие.

Чэнь попытался ей что-то ответить, но не смог. Утратил способность говорить в принципе — запертый в уродливую распадающуюся форму, и не было рядом Мосс, способной освободить его. А сказать он хотел вот что: «Там, у стены глобул, оно сказало мне — нет утешения, нет прощения, нет покоя. И оно было во всем право. Он был прав».

А Грейсон хотела утешить — хоть напоследок. Чэнь знал это. Знал ее намерения. Но теперь внутри его скафандра были только извивающиеся зеленые тела.

Еще задолго до того, как они издали наблюдали за Чарли Иксом, заметив его дрожь и нетвердость походки, предвещавшие приближение его далекой участи, Мосс сказала Чэню:

— Это будет все равно что разрезать пополам стручок гороха. Как кукурузный початок ободрать. Это будет чувство резкое, интенсивное, агрессивное. Но после наступит оцепенение — и ты исчезнешь, но при этом появится что-то еще. И к тому времени, хоть ты этого и не узнаешь, ты все еще будешь там.

— Там, где слаб — я силен.

Томясь какой-то удивленной печалью при виде скафандра Чэня, заполнившегося зеленым и вертким, Грейсон, понимая, что разницы уже нет, стянула с него шлем — и саламандры растворились дрейфующими по воздуху спиральками, дохнули наружу столбом зеленого дыма, и дым этот вознесся к небу и исчез.

Все было заражено. Ничего не осталось.

Вот и от Чэня со временем останется лишь дождик из крошечных саламандр. Зеленый, желтый,

оранжевый, красный, а затем черный. Дождик, который пройдет.

К утру он станет ничем, а затем снова вознесется к небу и прольется дождем еще раз. Выводя с каждым разом все больше токсинов из воздуха, почвы, воды. Такое покаяние он для себя избрал, ведь оно соответствовало его природе — природе, привитой ему Чарли Иксом.

Он будет падать на Город дождем в течение ста лет или даже больше. Воспарять и низвергаться, и снова воспарять. Он станет частью общей картины, на что Грейсон была неспособна. Он будет жить вечно.

У Грейсон было меньше вариантов выбора.

Может статься — всего один вариант.

XX.

под сиянием звездным под движеньем планет

V.1.0 Грейсон, хромающая, измученная бурей, оцепеневшая, потерянная, бредет вперед. Как будто ничего этого не было — или все это случилось сразу? Вот он, последний и самый далекий рубеж. Предел самого сокровенного. Неужто она его уже достигла? Ее глаз с бельмом моргнул —

замыленный, напряженный. Тепловые сигналы перемешались, бесполезно что-то ловить. Ночное зрение — единственная причина не выковырять его из глазницы и не начать все сначала. Как будто ее спасательная капсула разбилась в пустыне, и она пытается выбраться из-под обломков. Едкий, ужасный запах бьет по ноздрям.

Левая рука болтается свободно. Повязка поперек локтя. Правая рука по-прежнему решительно сжимает пистолет. Она уже дважды срывалась и плакала. Валялась на остывающем песке, не в силах пошевелиться. Во второй раз она открыла рюкзак, полезла за водой — и нашла дары Мосс. Семена и проросшие усики Грейсон было велено посадить очень давно. На всякий пожарный. Не для того, чтобы вернуть Мосс, а для того, чтобы естественная ее часть продолжала жить.

Она уставилась на предмет обещания, данного так давно. Данного какой-то другой Грейсон. Как ни старалась — не увидела в этих ростках Мосс. Увидеть там ее было бы лжесвидетельством. Почти как внимать пойманному на вранье оракулу.

Она подняла себя вовремя, как только солнце скрылось, навстречу этому новому миру. Надеясь, что это — тот же самый мир. Тащилась под адской

красной луной, Балконные Утесы остались далеко позади. Готовая к возвращению Синего Лиса.

Ее первоначальный порыв угас. Хотелось бушевать, крушить, убивать. Она возьмет ворота Компании штурмом. Перебьет там всех. Станет очищающим огнем. И да падет ниц любой пред гневом ее. Напасть на Компанию. Пробить брешь. Залезть в брешь. Найти порталы. Уничтожить их. Ну или они уничтожат ее. Какая уж разница? И нет ни мыслей, ни расчетов — нечем заполнить ту ужасную пустоту в ее голове, где раньше были Мосс и Чэнь.

Ладно, она сможет жить одна. И не будет давить этот груз неудач. Даже хаос ее перепутанных мыслей, даже ее ковыляющая походка инвалида — это все что-то да значит покамест.

Но там, в устье оврага, стоял Синий Лис. Преграждая ей путь.

Она подняла оружие, которое держала в руке.

Лис был уже не там, а где-то в другом месте. Она обернулась, чтобы проследить его маневр, но теперь Лис был в двух местах сразу. Потом исчез вообще. Потом мест, где он есть, стало сразу три.

— Дай мне пройти, — сказала Грейсон.

— Этому не бывать.

— Прочь с дороги.

— Я тебе и не мешаю.

Ложь.

— Я никогда не видела там ничего похожего на тебя. — Грейсон махнула рукой на небо. — Но ты ведь недолго здесь пробудешь, правда? Даже в галлюцинациях никто ничего подобного не встречал. Ты глюк? Это Мосс тебя выдумала?

— Мы всегда были здесь, — ответил Лис. — Ты никогда этого не замечала. Вот мы и сделали тебя никчемной. Сделали так, чтоб теперь-то уж ты точно заметила. — Розовый язык Лиса свесился из пасти — казалось, он смеется над ней или над какой-то шуткой, понятной ему одному. Это разозлило ее еще больше.

— Иногда — я против одной лишь Компании, — резко бросила она. — Иногда — против Компании и утки. Порой — против Компании и тебя. Но чтоб вся троица разом на пути стояла — нет, такого еще не было. До сей поры.

— Вероятности сошлись. Вас пока что тоже было только трое.

— Заговор, — вымолвила Грейсон. — Ты предал нас. Ты обманул Мосс. Все ты.

— Вероятность была против тебя, — ответил Лис. — И Мосс это знала.

— Лжешь!

— Изрекаю святейшую правду.

— Им это с рук не сойдет. — От боли ее голос сорвался, горло засаднило. Слова все еще причиняли боль своими острыми краями. Она чувствовала себя так, будто внутри нее — горы битого стекла. И с этими горами внутри она вдобавок еще и ходила по битому стеклу.

— Они уже сделали это.

— Я тебя прикончу.

Но Синий Лис сделался огромным, и Грейсон ощутила, как слабеет. Кровопотеря. Галлюцинации. Горечь утраты.

Синий Лис подошел ближе. Она чувствовала грубоватую мягкость его синего меха. Чувствовала, как от него исходит жидкое тепло. Не могла выдержать прямоты его взгляда.

— Хочешь умереть? — спросил ее Лис.

Манифестом откликнулось вперед ее самой живущее в ритмах ее тела сожаление. И целеустремленность тоже сказала свое веское слово. И терпение — тоже откликнулось.

Я был там с тобой, Грейсон. Хоть ты и не знала. Что я был там. Что я вернулся с тобой. Что я — горящая звезда. Бурлящая ярость столетий грабежей и смертей. Мне столько же лет, сколько и тебе, Грейсон. Вот он, я.

Нет, она не хотела умирать.

Пока еще нет.

С напряженной доверчивостью глаза с бельмом она смотрела, как отвергнутые высыпают из дверей Компании, далеко за равниной. В неожиданную тень, в песок, в пруды, в которых Левиафан ждал возможности сожрать их. Сбитые с толку собственной казнью. Сбитые с толку столькими вещами. Будучи уже мертвыми, не успев толком и пожить.

Она наблюдала некоторое время, пока не убедилась, что в монстре не осталось ничего от Мосс. Ничего такого, что могло бы ей понравиться. Потом отвернулась. Узрела в глубине души, что та версия Мосс, которая осталась здесь — не для нее.

Та версия, что осталась здесь, никогда не признает ее, и она могла бы провести тысячу тысяч дней, преследуя Левиафана, и ничто в его молочном взгляде не отозвалось бы на ее взгляд, не откликнулось бы. Монстр не узнает ее. Это попросту исключено.

v.2.0 *В конце концов, мир был мне люб, и я останусь с миром.*

Ей это Лис сказал? Или не сказал, передал мысль? Или это она сама сказала Лису? Мертвая

астронавтка не знала.

v.3.0 Пошла другим путем, через Город, навстречу пустыне. По собственной воле? Или так направил ее Синий Лис? Так или иначе, Лис не оставил ее одну — продолжал следовать неотступной тенью даже после того, как она забросала его камнями. Бесполезно. Тут тебе и начало, тут тебе и конец. Интересно, этот Лис — последний?

— Мог бы и довериться нам. Встроить нас в свой план, — сказала Грейсон вслух. Ее это уже не коробило. Человеческая потребность в тишине отпала. Теперь тишину требовалось заполнить словами.

— Вы бы никогда за нами не последовали, — ответил Синий Лис. — Вы не слушали.

— У тебя вообще есть план, где есть место человеку?

— В нем есть место людям. А ты — человек?

— Было время, когда я была людьми. Несколькими.

— Ты мне доверяешь? — спросил Синий Лис.

— Нет, — ответила Грейсон. — Но мне это теперь не нужно.

И она замолкла. Потому что прямо перед ней раскинулся пустырь, а в самом его центре — три мертвых человека в до боли знакомых скафанд-

рах, знакомых, потому что троица носила как раз такие. Скафандры на скелетах. Одни кости остались — и все же кое-какие знакомые черты еще угадывались. Зелень облепила нечеткие контуры одного из черепов — чья форма была как-то более податлива, чьи черты растворились в личине-маске, вылепленной из мертвого лишайника.

Ею овладела ярость при виде этих трех тел. Ярость — но также и любовь.

— Почему ты не сказал нам?

— Может, на сей раз вы бы преуспели, — промолвил Лис.

— Но ты же знал, что так не будет. Ты поспособствовал нашему провалу.

На это Лис ничего не ответил.

— Значит, мы уже потерпели неудачу, — сказала Грейсон.

— Не вы. *Не совсем* вы.

Грейсон не могла отрицать — они мирно покоились на ложе из пустынных цветов и трав. Цветы и травы кое-где произрастали прямо из их шлемов.

Мертвая она.

Мертвая Мосс.

Мертвый Чэнь.

— Что бы мы ни рассказали вам, это бы ничего

не изменило, — произнес Лис. — Совсем ничего.

— Ты — точно такое же чудовище, как и все остальные, — сказала Грейсон.

v.4.0 Прыть, скорость. Синий Лис пролился дождем. Обратился взрывом вовнутрь. Обратился взрывом вовне. Воздуха не было. Значит, без шлема и дышать не выйдет. И горел в ее глазах огонь, причитающийся ее глазам. И были мысли, что захлестывали ее, уничтожая все, что она будто бы знала, все, во что будто бы верила. Захлестывали — и подгоняли к чему-то следующему.

v.5.0 Адское ничто завихрялось и расцветало, и лисья морда озаряла все ее бытие, точно солнце, а весь остальной мир был пуст; и раздался Голос, который она впоследствии забудет, и изрек Слово. И все, что она могла сделать — пасть на колени, повергнуться пред подобным натиском. А Лис парил в вышине, являя ей всю свою суть. Раскрывая всего себя.

Она громко вскрикнула от этого чуда, от страха перед ним, от благоговения и ужаса, и Лис, если бы захотел, мог бы повергнуть ее в это одномоментное состояние навечно. Она бы так и стояла на коленях, с раскрытым ртом, в то время как все, что не было ею, что она не могла себе пред-

ставить, пронзало ее тело, допрашивало его и делало из него сосуд для божественного синего пламени.

Вы сделали достаточно, и теперь вам конец.

Как она могла противостоять этой яростной силе? Как она могла не подчиниться?

v.6.0 Вселенная раскинулась перед ней, над ней, внутри нее, и Лис сделался в этой Вселенной компасом, картой, проводником.

Чуждое присутствие покинуло ее. Ужасающая синяя звезда закатилась.

Теперь понимаешь? Теперь видишь?

Но у Грейсон ответа не было, она вообще ничего не могла сказать.

Так видишь ли?

Она не помнила. И забыть не могла. Она узрела участь Синего Лиса — во всей ее жестокости. Узрела, что он откажется от столь многого. Что в конце концов Синий Лис не должен будет заботиться о своей собственной жизни. Эта любовь должна быть непреклонной. Любовь должна быть жестокой. Любовь не должна сдаваться. Иначе любовь ничего не значила, ничего не могла сделать.

Пламенеющий нимб Синего Лиса.

Дрейфующая вспышка над пустыней, освещающая ей путь в темноте.

Тяжесть, которая была теплой, плотной и свирепой.

Но когда она подняла голову, Синего Лиса уже не было. Остались только она сама и ее последние припасы, и она смутно помнила, что повстречала этого удивительного зверя.

Так много путей.

По нестриженой траве.

По хорошо протоптанной тропинке.

Вниз, в туннель под мостом.

Там, где когда-то протекала река. Там, где когда-то был лес. Она могла видеть все это. Все это — было.

Отдохни тогда. Отдохни. Ей показалось, что синий призрак нашептал ей эти слова на ухо. *Под луной. А потом возвращайся к нам.*

Но она не могла.

v.7.0 Где-то в Городе резвились остальные лисы. Учились. Утка все еще стояла на страже. Левиафан неуклюже ковылял меж прудов. Она помчалась в пустыню. Слепая. Не подозревающая. Безрассудная. Лишенная здравого смысла. Не в силах в этот момент прийти в себя. Трое мертвых астронавтов — позади нее.

Ее разум будет пуст, сказал ей Лис. К тому времени, когда мертвый астронавт вспомнит о

«Грейсон», она уж далече забредет в пустыню. Город исчезнет. Город станет миражом в недрах ее головы, все менее отчетливым, все более тусклым.

Забавно. Как все изменилось так быстро. Она могла бы продолжать идти, но только если бы направилась прочь от того места, где ее оставила Мосс.

Берег манил к себе. Может быть, там была Мосс. Еще одна Мосс. Но на этот раз она и пальцем не пошевелит, чтобы привлечь Мосс к своим планам. Теперь они будут игнорировать мир. Скрываться от него так долго, как только у них получится.

— Не знаешь, будет ли этого достаточно? В конце концов? — спросила у Лиса мертвая астронавтка.

Лис с любопытством воззрился на нее. Как будто смотрел на что-то абсолютно незнакомое и пытался это как-то опознать.

— Мы не такие, как ты. Мы не будем такими, как ты.

Мертвая астронавтка уронила пистолет на песок.

— Если мы умрем — значит, умрем, и точка.

Она ослабила ремни своего рюкзака, позволив

ему упасть на песок.

— Но в своей смерти мы будем счастливы. Мы уйдем легко.

От семян в ее кармане больше не было никакого проку, и она тоже позволила им упасть.

Все эти бесполезные вещи. Слагаемые замысла. Грандиозного — ну или хоть какого-нибудь в принципе.

Она ушла в пустыню. Не оглядываясь назад. Под сиянием звездным, под движеньем планет, под сенью разверстого ночного неба. Звезды, планеты — сокровенные координаты сокровенных мест назначения. Такие крошечные трещинки, в самом деле, и все же — они растут.

Тогда она не знала, была ли это проблема с ее глазом — или с миром.

Сколько времени потребуется, чтобы достичь конца? Грейсон не знала.

3. Растлитель Бегемот

Долгое время гигантская рыба не понимала, что стала другой. Долгое время после этого Растлитель обходил пруды-отстойники, ничем вроде бы и не отличаясь от себя прежнего. Разве что какое-то продолжительное намерение цеплялось за его сверкающую чешую, дразнящую попеременными вспышками из рыхлой ткани, что почти целиком состояла из грубо сросшихся белых шрамов.

На закате дня сокровенный сумрак заставлял Растлителя светиться глубоким насыщенно-зеленым светом. Обходил он недолгим дозором владенья свои — пруды-отстойники, и уставился в зеркальную гладь одного из прудов, и воззрился на себя самого — и свет погас. Как будто кто-то понял, что выдал себя, и погасил свет, чтобы сокрыться во мраке. Выдавать себя нельзя.

Отражение в окне старого обветшалого дома. Издалека — виден, из тоннеля под мостом. Тоннель. Мост. Загрязненный ручей, полный дождевой воды. В этих водах так много нефти, что они горят, горят прямо посреди потопа.

А что есть «дом»? Здания вели свое существо-

вание как холмы и горы, вели его беспорядочно — неясные формы, природные узоры. Но теперь в его мозгу горел дом. Снова и снова. Растлитель помотал головой, избавляясь от туннеля, моста, дома. Потерпел неудачу. Это — в его теле, в самом сердце.

Но со временем образы Ноктурналии отступили. Ночь снова стала плоской и угловатой. Отступил румянец, открылась природа тьмы. Воздух сумерек на фоне чешуи Растлителя не нес тепла. Зелень высохла, облупилась, стала ломкой.

Облегчившись, Растлитель вернулся к своей древней рутине — дозор бойни, бойня в дозоре. Прятался под глинистыми отмелями, глотая балласт, чтобы погрузиться в жижу и грязь, с пятнистой покровительственной окраской, снаружи — одни только глаза в золотистой оправе. И когда какая-нибудь живая тварь подпрыгивала или подползала к кромке воды…

Хлоп — огромной пастью. Хрусть — был, и нет его, была, и нет ее. Ради этого краткого мига Растлитель и жил. Принимая в свое смертоносное чрево кого-то еще, он надеялся, что их жизнь продолжится и в нем. В стоне, в писке, в крике. Есть ли жизнь в другой пищеварительной си-

стеме? Конечно, есть, что за бессмысленный и еретический вопрос.

Рыба, пусть и могучая, стала вялой. А потом она перестала быть собой — имя «Растлитель» сползло с нее, стало тонким отзвуком эха. Новый король распластался в самом центре сброшенной шкуры, ликующий и никем не замеченный.

Был Растлитель, стал Бегемот. А Бегемоту самому двигаться к жертве ни к чему, пускай в его раскрытый рот жертва сама собой идет. Во мраке тростников и грязи зверье могло ступить под своды органического собора по имени Бегемот безо всякой помощи извне. Бегемот мог лежать в засаде месяцами. В туннеле под мостом. В подвале гниющей лачуги, заполненном водой.

Пруды-отстойники отступили под чарами засухи. Равнина обратилась в пустыню. Пруды меланхолично жались к зданию Компании. Ныне сделались они и глубже, и шире, чем раньше. Но их самих стало меньше. Бегемот нырял глубоко, оставался на глубине, учился впадать в спячку на долгие месяцы.

Знакомая рябь на поверхности, легкий, но уловимый трепет. Еда, значит. Он широко разинул челюсти — так, что корка водорослей на боках потрескалась, — и не спеша двинулся вверх. Надо

вовремя хлопнуть челюстью. Хлопнуть так, чтобы само время поймать.

Врата в здание Компании отворились, выпустив изобилие живых симпатяг, оживленно симпатичных, смущенных, которых еще можно убедить вымереть.

Он пульсировал в самом своем центре, ничего пока не подозревая. Движения зачаровывали его, хоть и сам он был давным-давно излечен от потребности двигаться.

Бегемот сражался с гораздо более могущественными зверями — и победил. Историю его побед можно было счесть по летописи шрамов, по сломанным бедрам и плавникам, деформированным в подобие кривых весел, и по тому, как он ухмылялся лишь левой половиной рта: там коготь острым шел концом, звериным умыслом влеком. И даже глаз Бегемота, огромный, белый, мутный, был весь изрезан, исцарапан — и при том все еще мог видеть.

Люди-леопарды, слоны и гигантские выдры. Носороги, у которых были головы обезьян. Воинственные стаи (или стада?) плотоядного зомбифицированного помраченного зверья, смахивающего на обугленный топляк, у которого и имени-то никогда не было. Бегемот бился с ними,

и со многими другими — с тварями, что падали с неба, выскакивали из-под земли, носились по равнине со скоростью спринтеров-чемпионов.

Покрытый грязью, обретший истину в своих погружениях. В глубокий пруд — туда, где белое сияло так ярко, что освещало маленьких рыбок, кормившихся с боков Бегемота. Маленькие рыбки, которые пели на рассвете, как птицы, и нигде не жили: ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Блаженны в своей вечности небытия.

Да, они пели, и пели так близко, что Бегемот порой думал — так поет его тело, его участь. Он напряженно вслушивался в наставления плоти. Но вот незадача, ни слова в песне не разобрать. Тревожно как-то. Горит сарай, гори и разум. Порой он зарывался головой в грязь, чтобы охладить мозги. В такие моменты он ненавидел ночь и жалел, что не может сожрать звезды. И никак не мог уснуть.

Компания никогда не пела Бегемоту песен. Ей от него ничего не требовалось, кроме как поглощать. Таким образом, Бегемот читал оставленные им круги, кольца. Таким образом, он знал, что является владыкой воды. Вольный есть. Спать. Гадить. Таскаться взад-вперед меж прудов-отстойников. Ради такого, казалось бы, Бегемот и

был создан. Таким он и останется до скончания дней.

Если порой Бегемот и не понимал своих снов, то поначалу его это не тревожило, потому что он каким-то образом знал, что сон — не реальность. Сон о лице, превращающемся в подобие живого компаса на фоне ночного неба. О странном зеленом небе. Звезды не были звездами точно так же, как светлячки на самом деле не казались светлячками. Слишком близко, слишком далеко. Лицо вроде бы и человеческое, и притом — не человеческое вовсе.

Глаз, который рос во сне, был красный, опухший и темный. Глаз, появившийся из водоворота глобул, наполненных крошечными существами, уставился на него. Спрашивал что-то, но что? Вопрос этот тревожил Бегемота. Он даже обзавелся какой-то потешной нерешительностью — теперь между выбором какой бы то ни было жертвы и ее убийством образовалась дополнительная пауза.

Но в конце концов никакое нормирование мяса не могло противостоять нормированию внимания. И скатывались по пищеводу жертвы его, пополняя галерею призраков. Даже если Бегемот чувствовал себя более опустошенным, будто наевшимся густого тумана, он должен был

прожить еще день, протянуть еще ночь. Давящая тяжесть, должно быть, являлась каким-то новым эффектом, оказываемым небом над ним. По крайней мере так думал Бегемот.

4. Никак не упомнить

v.7.0 Почему Синий Лис все время играл с чем-то, что Чарли Икс не видел? Почему там, снаружи, среди прудов и потрепанных, будто переживших бомбежку зданий, он видел Лиса, выслеживающего некую добычу или *объект* — само слово казалось иностранным, чужеродным, но все-таки знакомым. Но ведь там… ничего не было, верно? Никакой добычи, никакого объекта. Синий Лис вздымал пыль, отпрыгивая от атаки фантома, призрака, воспоминания. Он подумал — возможно, Синий Лис захочет нанести по нему удар. Снова. Хотя он даже не помнил, когда это произошло впервые. И даже когда

v.6.9 он вспоминал, что сталкивался с чем-то, все снова исчезало. Оставался лишь Город посреди равнины. Он бродил по нему, узнавая о собственном прошлом лишь по следам, что оставались позади. И он знал, что есть веская причина, по которой он всякий раз огибает совершенно пустой с виду участок земли, занесенный песком. Но

v.6.8 оно снова сбежало, или он сам сбежал, и он

стоял у пруда-отстойника, когда сквозь ржавые врата прошла очередная порция отбросов Компании. Их вытолкнули, исторгли, и они посыпались на песок, в грязь, беспорядочно, с широко раскрытыми глазами, не верящие. Кто-то сразу побежал к прудам — наплевав на неумение плавать. О, что за поток исторгался из тех дверей — поток людей и нелюдей; смотреть за ним было удивительно и

v.6.7 жутко. Шутка, мишутка, минутка, закрутка. И всякие другие слова-наваждения. Но — не то слово, которое мне нужно. Но когда он

v.6.6 пришел снова и, по обыкновению своему, отплясывал кругами, чтобы заключить кого-то в круг, или… нет, ничего. Прошло. Был здесь какой-то дурман, и он устремлял к нему свой разум — к самой идее возможности такого дурмана где-то впереди, но идея размывалась, терялась, и тогда он цеплялся за *туман*, как за наиболее схожую с дурманом концепцию, единственно подходящее слово. Но — нет. Прошло. Исчезло. Одна только головная боль осталась, а уж с этим он

v.6.5 зашел в комнату, уставился в разверстую рану ок… в рану в стене. В проем. Ни эта комната, ни само здание не были ему известны. Он не владел терминологией в достаточном объеме. Так

что тут были стены кругом, но над ним — ничего, несмотря на то что звезд он не видел. Он знал, что такое стекло, но вот что есть ок… око в стене?.. ему было непонятно. Так что он встал, опершись рукой о стену, и стал вспоминать, что есть ок… ок… ок. Да когда же это слово закончится? Там ведь явно есть что-то еще. Ок? Ок! Ок. В общем, приходится уповать на стену и на стеклянные вставки в ней — позволяющие ему выглядывать наружу. И

v.6.4 круги могли быть окнами! Слово вернулось к нему в следующий же миг. Окно. В стене. Может, кто-то называл круги глобулами, не окнами. Но для Чарли Икса они всегда были окнами. Окнами! Удовольствие от подобного архитектурного открытия окутало его разом, и он снова выглянул наружу. Такие классные окна. Они его совратили. Тем, что через них было видать. Видать было всякое. И быстрое, и медленное. Трепещущее, парящее, на пар исходящее. Оставляющее горячий след от присоски на глобуле. То, что шипело с вызовом. То, что съеживалось и забивалось подальше. Были тогда дни, когда он в экстазе говорил:

v.6.3 как это прекрасно — в первый раз. Когда

круги становились глобулами, а глобулы — окнами, а потом уносились вдаль вместе с волной, будто цунами овладевало ими. Когда, позже, прекрасные и ужасные одновременно, призраки глобул устремлялись вихрем в пустыню — в таком виде их можно было принять за пылевые смерчи. Ну или за призраков. А на самом-то деле — окна, одни только окна, ничего, кроме окон! Ничего подобного раньше он не видел. Ничего подобного

v.6.2 той штуке, которая сошла с разрушенной стены, как только он взял себя в руки. Штуке, которую ему следовало бы увидеть, если бы только не искал то, чего увидеть не мог. Вся шутка в том, что это была та самая штука. Она заставила его кататься по земле, кричать и пытаться спихнуть ее со спины, куда она вцепилась острыми когтями. Потом ее вес сошел — тварь ушла, снова замаскировавшись. Неужели компания послала ее, чтобы помучить его? Это была

v.6.1 кха-кха-кха-кха-кха. Глотка пересохла. Как коряга, как шагреневая кожа, как погода. Какое слово он теперь забыл? Кха. Кха-кха-кха. Портал открывается-закрывается, и его отбрасывает в сторону, смывает в высохшую шелуху прибоя,

пойманного в янтаре. Окаменел там, истаивая на глазах. Стена глобул разрушена, только отпечаток на полу, след чего-то тяжелого. Солевая корка ломается, трещит, вся живая ткань сходит. Ут… кха, кха, кха. Чарли Икс — в своем горящем доме. Нет, не в своем, но какая разница, ведь он

v.6.0 потерял дневник. Коллекцию всех своих тайн. Может, потерял, а может, украли, уже и не скажешь. Украли столь много, и это… тренога, минога, хренога, ХРЕНОВО. Как только украли, все изменилось, все стало не так, как прежде. Его сокровище. Его священный текст. Так украден — или утерян? Вопрос впивался в него всеми зубами, терзал изнутри. Кому верить? И все же он всегда доверял только дневнику, и он доверил дневник ут-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе, и он

v.5.9 свернул с дороги, потому что там снова было что-то невидимое, что-то, чего там не было — в который раз? В десятый, двадцатый? В такой, что Чарли Икс уже и не помнит, сколько это было раз. Ничего, сейчас вспомнит. Вот прямо сейчас, в эту же секунду. Нет, не вспомнит. Нет, не вспомнить. Нет, не

v.5.8 вернуть то чудо, ту магию — слово вернулось, а ощущения чуда уже нет, и сама его душа

переписана заново, осквернена; разум видоизменен навсегда, искалечен. Тот новый человек, что был принесен ему вместе с дневником. Та Сара. Его начальство утрачивает доверие. Почему это — тайна? Почему у Чарли… Чарли… возникли разногласия между теми, кому было поручено выздоровление? Каков был его план? Ничто не спасти. Ничего не сказать. Кха-кха-кхе-КХРЕНОВО все это. Он ничего не мог сделать, ни к кому не мог обратиться, ни к кому не мог обратиться, и все, что оставалось, —

v.5.7 встречать Синего Лиса у стены глобул. Чарли Икс точно помнил — впервые они встретились у стены. Но как Лис пробрался внутрь? Как он прошел мимо… шутки, мишутки, закрутки… закрутки. Просто Чарли Икс знал, что шутка, мишутка, закрутка была там тоже. Была с ним большую часть его дней. За…крутка. И все это — лишь потому, что

v.5.6 Лис каким-то образом миновал закрутку. Закрутку, за шуткой, за жуткой, за закруткой. Так что, получается, Лис и спер его дневник? Нет, Лис точно не виноват. Так, надо вспомнить, но помнится тренога, минога, ох ХРЕНОВО все это и

v.5.5 придет день, когда Чарли Икс сыщет на

Лиса управу. Когда-нибудь он с него шкуру спустит и воротник себе сделает. Когда-нибудь Лис перестанет за ним шпионить. Вот придет день, и ут-кха-кха-кха

v.5.4 почувствует краем глаза пристальный взгляд, пронизывающий Чарли Икса, как сонар, пронизывающий до костей. Спрятался в цистерне. Наблюдал, как жрут убитого им падальщика. Жутко закрутка пряталась там. Потом она снова исчезла, и он не знал, что за уловку

v.5.3 предложил ему Лис. Подтолкнул его к этому. Нет, Лис такого не делал никогда. Это все Чарли Икса идея. Чтобы сделать закрутку. Использовать Сару. Слишком красива, чтобы уйти. Или слишком велик потенциал. Или просто было в тех раскинутых конечностях что-то художественное. Узорчатое. Уязвимое. Взывающее к воскрешению. Но он не стал вдаваться в подробности, потому что к тому времени какие причины ему были вообще нужны? Есть задача, нет задачи — он бы все равно

v.5.2 навлек на него эту кару, наказание из набросков в его дневнике. И он наделил его чертами летучей мыши. И запихнул ему в глотку мышь, правда, та кому-то другому предназначалась. И

выпустил его дрейфовать, отстриг от сущности, оставил его — пусть блуждает и дальше; забрал все его тайны и сюрпризы, и вот он остался единственной тайной — он и шутка, жутко, закрутка.

v.5.1 Белизна костей напомнила ему о служащих Компании. Вкрапления темно-красного вызвали в памяти саламандру. Призывали ее снова. Впрочем, она уже и так была внесена в дневник — значит, и в нем ей теперь было место. Но его разум стал горящим зданием, медленно тлеющим, неспособным что-либо ухватить.

v.5.0 Порой Сара гуляла среди развалин. И тогда он чувствовал, как она его проклинает. Чувствовал, как лицо умывается жаром. Кричащим жаром. Кричащим в его голове. Если бы только голову можно было отделить без последствий… если бы только он мог сорвать эту маску, которую на него повесили. Но маска сидела плотно, и чем больше он пытался, тем больше крови выходило, и он понимал

v.4.9 что стыд уже никогда не покинет его. Он помнил ее имя: Сара. Но было у нее и еще одно, и его-то он никак не мог ухватить. Ухватить — следовательно, признать. А разум отказывался признавать ту пытку. Оторвать голову какому-то

безымянному существу в пустыне. Испить его крови. Пойти дальше. Изгнать из памяти этот

v.4.8 кошмар, который был повторением прошлого. Иногда садящееся за пустыней солнце казалось не одной звездой, а целым пылающим созвездием, чуждой бурей, пурпурными, красными и желтыми пятнами на его лице, гневом, дарующим умиротворение. На минуту. Потом темнота и он

v.4.7 не могли удержать заслон. Там дыра — и тут дыра, и в появлении второй вините первую — долой… и из дыры своей главой дивился Лис, дыра длиной была как целый долгий век, или как день, чей быстр бег. Лис. И не Лис. Сегодня тут, а завтра — нет его, капут. Такая вот, скажу вам, шутка, и мне от этого, блин, жутко, такая вот, скажу, минога — и мне от этого ХРЕНОГА.

v.4.6 Шторм пробил дыру в крыше. И луч солнца золотого касался теперь изуродованного лица Чарли Икса — маски летучей мышки, у которой в глотке застряла мышка отнюдь не летучая. Луч касался обнаженной стены глобул и животных в ней. Касался души Чарли Икса, и дарил ей тепло — но вот беда, так быстро возвращалась темнота. Заползала обратно, и ему было неприятно.

Он ненавидел темноту, но в то же время был благодарен уходу света — ведь стена при нем выглядела столь инаково. Стена была заляпана кровью и дерьмом. Из нее торчали маленькие мертвые тела. Раздавленные. Распятые. До поры невиданные. И когда на него взглянул Чэнь, он

v.4.5 снова увидел Лиса — в свете луны, трусившего позади темной фигуры. Женщина. А за этими двумя бежали маленькие волшебные лисички, и он повернулся к ним и

v.4.4 когда-то здесь был волшебный сад, укрытый в тайной комнате, и он

v.4.3 уродливая шутка уродливая жутко жуткая закрутка закрученная минога вот это конечно хреново хреново хреново, но в целом жизнь была победой, триумфом, жизнь была спокойна и милостива, и если бы только он

v.4.2 додумал ту ускользающую мысль: «При глобулах такого не было», да и сам он, конечно,

v.4.1 был не в начале, не в середине и не в конце, и не было этого лучезарного света, и он сам

v.4.0 не мог вспомнить, потому что будь он честен с собой — заметил бы

v.3.9 выброс у самого горизонта, заставивший Левиафана испуганно зареветь. И он увидел очертания темной птичьей тени, похожей на облако, то вздымающееся, то опадающее по пути к Балконным Утесам; тени, похожей на стаю саранчи, сохраняющую конкретные очертания — он заметил ее, о да! И его затык прошел. Утка! Утка, утка, утка, утка, вот и вся шутка! Это УТКА. Его утка. Его гадкий утенок. От нее было никак не сбежать, и тогда он…

v.3.8 Три шлема от скафандров, присыпанные песком.

v.3.7 Все вернулось на Землю.

v.3.6 Ничто ее на самом деле и не покидало.

v.3.5 Опять забыл.

v.3.4 Хреново

v.3.3 И тогда он

5. Левиафан

Величавая глава Бегемота отяжелела, и вместе с ней сделались тяжкими его сновидения, за которыми Компания наблюдала издалека. Бегемот помотал главой, все пытаясь избавить себя от этого нового-старого наваждения. Незримый захватчик. Брыкался и трясся, катался в грязи, опасной для его тела. Но тяжесть все равно оставалась с ним. Никак не выходило с нею разделиться.

Ноктурналия вернулась. Вновь пришел час Ноктурналии, и живая тварь стала вести себя странно, причудливо… *несъедобно.* А Бегемот все никак не мог выбросить тяжесть из головы. Не мог подобраться к ней. Она гноилась, распространялась. Раскидывалась огромным пожаром. Растекалась всепоглощающим болотом.

Бегемот нырнул — и задержал дыхание, надеясь утопить то, что прилипло к его голове. Он шел, точно труп, ко дну, к скелетам своих жертв, к глубоководным обитателям, выжившим, раз уж он им дозволил — и жившим под его чутким контролем. Погружался, стараясь больше не ви-

деть снов. Верхний мир напоминал о себе лишь серебристо-серым пятном где-то над ним.

Бегемот стал фантомом. Призраком. Стал порожденьем тьмы ночной и отнял место у нее самой. А потом, ночью же, всплыл к поверхности — глотнуть свежего воздуха, поохотиться, дать тишине и влажной черноте омыть себя, и поговорить с тварью, что прилипла к его голове. *Голодай,* велела Ноктурналия. *Не видь больше света белого,* приказала Ноктурналия. *Зри в ничто и видь ничто. Подобно Бегемоту.*

Сон настигал Бегемота в странные моменты, находил промежутки во времени, где он восстанавливал ход времени. Отделял быль от небыли. Похоже, Ноктурналия повернулась к нему спиной и не пыталась сбросить с него тяжелую тварь. С этим осознанием к Бегемоту пришли сны зеленого цвета, будто всплывшие со дна пруда-отстойника. Пересмотренные. Отвергнутые. Возрожденные. Обученные плавать.

Даже на глубине, под толщей вод, Ноктурналия продолжала говорить с ним. Говорила с ним множеством голосов. И что-то внутри него поднималось Ноктурналии навстречу, приветствовало ее, как знакомца. Лис выглядывал из горящего

здания. Пламя превратилось в красный хвост, а тот принял форму саламандры, что барахталась в грязи. Голос, который не был голосом. Тело, которое не было телом.

Зелень, чьи остатки ушли в глубокую спячку, теперь снова покрыла его — все его существо, каждый его шрам. Зелень могла заменить тяжесть в его голове. По крайней мере Бегемот понимал источник зелени, когда-то играл с ней в открытую. Расти и расти себе, как когда-то — могучий Бегемот.

Зелень потянулась к Бегемоту — словно рука, медленно погружающаяся в мелководье и рвущая водоросли на дне пруда. Зелень проникла в цитадель на вершине головы Бегемота и просочилась внутрь — и, поскольку зеленая нора была там, Бегемот мог сказать, что у креатуры на его голове теперь были невидящие и неслышащие черты, которые он узнавал, но не мог поименовать. И никогда уже не сможет.

Теперь существо внутри говорило с Бегемотом. Под поверхностью мертвых листьев. Спрятанное в куче старой одежды в углу сарая. Откажись от чего-то, и получи что-то взамен. Превратись во что-то другое, чтобы остаться самим собой. Как

и все остальные. Но Бегемот не мог сказать, есть ли правда в этих словах, или все это просто хитрость, ухищрение, уловка, трюк. Он не мог даже определить, живое ли существо на нем — или механизм.

Прилив-отлив, прилив-отлив. Сон уносил одурманенного Бегемота куда-то все дальше и дальше от пруда, что то кишел жизнью, то делался безжизненным, и вот он уже вне родной морской стихии, внутри здания Компании — там, где никогда прежде не был.

Надо было успокоиться. И он успокоился. Дыхание Бегемота замедлилось, по всему его существу распространилось безмолвие — это зелень погладила его своими ростками по извилинам. Притопила в грязь. Затемнила. Воззрилась наружу глазами другого водяного существа. Он завис между жизнью и смертью, меж малого и большого.

Как будто кто-то говорил на языке жестов — но под водой и посредством всей кожи Бегемота. Внутренности лезли наружу. Наружности лезли внутрь. Пруд стал пустыней, пустыня стала прудом. А Компания все тыкала и тыкала в него зондами. В ту маленькую рыбку, которой он ко-

гда-то был. В Растлителя. В Бегемота. В Левиафана. Все это время зеленый свет незаметно исходил от лица на голове бегемота, освещая все вокруг. Все видя.

Крошечные рыбки, которые пели на рассвете, пели требования Компании, как команды, как псалмы, как приказы. Пели неразборчиво. *Ноктурналия:* гневное красное око Луны и Лис — прямо под ним. Лис, бегущий в авангарде парада упырей — мертвых организмов, возвращенных Компанией к жизни.

Теперь Бегемот страшился чудовища, превосходящего его самого, — здания Компании, бросавшего тень на солнце и воды; боялся и того, что близилось, — этот надвигающийся перестук шагов не предвещал ничего хорошего. Когда эти шаги удалятся, только боли и ярости будет дозволено остаться.

Ход времени уподобился глыбе воды, холода, тепла, льда, кипящего масла — такая глыба никогда не уйдет в глубину, так и будет плавать на поверхности. Но довольно скоро Бегемот почувствовал, что люди меняются под действием зеленого света.

Теперь зеленый свет исходил от людей, смотревших на бока Бегемота, и Бегемот, сам излучавший этот сокровенный свет, мог чувствовать их взгляд, куда бы он ни падал на его тело. Глаза, что были источником этого взгляда, взирали на него с чьих-то лиц, а хозяева лиц бормотали, советовались, покачивали головами, выражая провал, констатируя неудачу своего эксперимента. Нет, в самом эксперименте провал не крылся — то был именно что провал *признания.*

И настал день, когда зелень так заразила людей в здании Компании, что они стали драться из-за Бегемота — что делать с Бегемотом, кто должен это делать, куда Бегемота стоит отвести, и что это за шаги, есть ли эти шаги, удаляются ли они, удалились ли. Теперь они все стали одним и тем же человеком — правда, еще о том не прознали.

Когда полы. Когда стены. Когда коридоры были залиты кровью, а фигуры лежали там вповалку, сгорбившись или съежившись. Когда остальные отступили за баррикаду. Когда раздался рев человека-медведя — коего теперь держали на поводке, на цепи, в ошейнике. Когда дверь некоторое время простояла открытой. Когда Левиафан, страждущий и поставленный на стражу, обрел

решимость и задвигал затекшими плавниками. Когда сильно сдал в размерах — во спасение самого себя.

Свет грел его спину, его челюсти. Легкий, проворный, трудноуловимый. Свет касался его ран. Свет знал дорогу к прудам-отстойникам, свет давал добро. На полное погружение. На безопасный режим. На уход от всего. Кроме зеленого света.

Бегемот больше не мог. Не было больше Бегемота. Был Бегемот, стал Левиафан. Ненасытное брюхо, беженец из ночного кошмара. Вечно голодный, извечно объевшийся. Пытающийся вспомнить — и тут же забыть: ночная жизнь, дом на горе, Ноктурналия — приливные бассейны, они же пруды-отстойники. Грязь не могла охладить горячий зуд чешуи, раздраженной ранами и хворями. Звезды чешуек под звездами небес — такой вот ночной сюрреализм. Иного рода. Инородный.

Компания наплывала кругами — расширяющимися, сужающимися. То высылала поисковые группы, то отзывала. То распадалась, то чинилась. Те существа, которым Компания не позволила бы бежать, — сбегали, и Левиафан Видоизмененный отпускал иных в пустыню — навстречу относи-

тельной безопасности Города. Тех, кто поменьше. Заявлявших о своей невиновности. Не имевших на мольбы голоса.

Те, что хрюкали, и те, что клекотали, и те, что пели до самой смерти. Те, что скакали или прыгали. Те, у которых были широко раскрытые глаза, и те, у которых вместо глаз — узкие щелочки. Омытые кровью, плачущие и кричащие при виде Левиафана. Кричащие безмолвно, одними лишь опустевшими глазами. Спасенные. Сохраненные. Сбежавшие по безопасному проходу. Переходу. Преходящему. Неестественному. Но — не по моим меркам.

Изгнание: многие стражи Компании утратили доверие. Среди них самый могучий — человек-медведь, ставший опасным. Нерешительность. Затянувшееся сомнение. Память о бойне внутри здания Компании между фракциями, которая еще не произошла, отдана Левиафану как дар и бремя. Эти видения не подлежали безболезненному осознанию — и потому Левиафан пропустил и этого монстра.

Темная тень на земле, надвигающаяся с неба. Присутствие в дальнем конце здания Компании, которое сотрясало и разрушало мир своим ревом,

своей болью. Проблеск предчувствия. Слежка за осой, ползущей по грязным равнинам. Как она подпрыгнула в воздух, когда поверхность содрогнулась. Как она проползла по отпечатку огромной лапы. С почтением к линии границы.

Отпечаток лапы, по которому ползла оса, был заполнен водой из какого-то скрытого источника. Левиафан барахтался в его грязи, скользя огромной тушей по его ширине. Как будто стремясь затмить. Покрыть. Но габаритов-то ему не хватало. В сравнении с отпечатком — сущий головастик.

Однажды тень на земле стала такой огромной, что в прудах не осталось места, где можно было бы спрятаться. Чудовище, бросающее тень, человек-медведь, выросший в бешенстве, опустило свою огромную лапу на здание Компании. Раздавило его. Пожрало то, что выплеснулось из здания, — в ярости. Ревело от боли, гнева и торжества.

Старые челюсти клацнули, повинуясь еще более старому инстинкту — то Левиафан ухватился зубами за большой медвежий бок. На минуту. Потом — соскользнул, и медведь его сграбастал. Затрещали кости, и на смену прудам-отстойни-

кам пришли небесные просторы. Левиафан не мог пошевелить конечностями. Ничего не видел единственным своим глазом. Отброшенный. Отвергнутый. А медведь, как ни в чем не бывало, двинулся дальше.

Созвездия шрамов озарились болью. Заболело все — и глубокие раны, и поверхностные. И самые мелкие, несущественные, и весьма серьезные, почти фатальные. И пока они вспыхивали, горели и тлели, Ноктурналия разгоралась у горизонта, и все существа, ее слагающие, вписывали свои очертания в звездный узор. Мост — туннель — горящий сарай.

Он умер не быстро. Но и надолго его смерть не затянулась. Слишком долго он растрачивал себя на пруды-отстойники, и стал в итоге ни жив, ни мертв. Небесная пыль осела на Бегемота, и захлебывающийся крик-вопль из разбитых челюстей ослабел.

Осталось только опаляющее синевой небо, а с ним — отдаленные звуки борьбы и сковывающий жар. И все это было лучше, чем ничего.

Придет время, и твои страдания закончатся, Бегемот. И ты сам больше никому не причи-

нишь страданий. Со временем ты станешь таким же, каким вылупился из яйца. Обновленным, любопытным. *И я буду прежней. И ты станешь началом чего-то нового… опять же, через меня.*

6. Тело

– 7 —

В мозгу всегда что-то горит. Стены горят. Никогда не превращаясь в пепел. И ты не знаешь, находишься внутри стен или снаружи. Согнувшись пополам, кашляя, глядя вниз на мох, усыпанный пластиковыми пакетами, соломинками и стаканчиками, тянущийся вдоль загрязненной реки, которую некоторые могли бы назвать ручьем. В лунном свете он казался призрачным. В обрамлении темных зарослей низких, корявых деревьев.

Что-то там запуталось. Сначала не знаешь, что там. Просто тебя тошнит на грязную землю, а слева на тебя смотрит какое-то существо. Невероятное. Похожее на грубый набросок. Обрывок чего-то, что осталось позади.

Но потом оно превращается в рисунок на черной обложке какой-то книги. Книгу прибивает к берегу реки. Существо смотрит на тебя снизу вверх, нарисованное светящимися синими чернилами. Лиса? Наверное, лиса. Обрывки ткани вьются вокруг корневищ папоротника и сорняков поблизости, и пятен пурпурного, которые,

как ты думаешь, могут быть засохшей кровью.

Ты бьешься в конвульсиях, теряешь тот маленький балласт, который у тебя был. Чашка тунцовой пасты. Ковш супа из приюта для бездомных в городе. Несколько крекеров, украденных из ресторана быстрого питания. Не стоило их есть? Или так на тебе сказываются прогулки по загрязненной зоне — в едкой мгле, туманившей горизонт или поднимавшейся из разорванных труб?

Или у тебя рак. Но из-за этих высыпаний на коже ты думаешь, что воздух просто отравлен чем-то новым. Не тем, что происходит из тебя. Нырни в реку поглубже и очистись. Помнишь, какой она была в годы твоего детства? Не настолько грязной, уж точно. Может быть, где-то далеко за Городом есть места, где река не смердит так, как здесь. Там ее воды фильтруют наполовину построенные бобровые плотины, а раки с рыбами все еще выживают где-нибудь под камушками.

Когда ты приходишь в себя, Лис, весь блестящий, подмигивает тебе — почти радостно в свете луны, который странным образом, будто снег, падает между деревьями. Ярко-белыми хлопьями.

Это существо словно пришло из какой-нибудь детской сказки, что призвана утешить и обогреть.

Ведь только в сказках есть умные говорящие лисы. Услужливые лисы. Улыбающиеся своими пастями. Сказки на ночь, которые тебе рассказывала мама — о волшебных зверушках. Правда, ее дыхание так воняло джином, что от него, казалось, страницы книжек сворачивались — будто что-то в них умирало от ее прикосновения, — и истории на них тоже сворачивались, и лис становился чем-то другим. И мораль тех сказок утрачивала нормальность.

Ладно, лисик, ладно. Всему свое время. Вытираешь рот краем рваного рукава. Тяжко вздыхаешь напоследок.

Ткань все еще прилипает к дневнику, как марля. Кто-то подошел и развернул его. В приступе мимолетной паники оглядываешься кругом. Но сейчас здесь никого нет. Итак, книгу выбросили. Пролистали — и отшвырнули в грязь. Может быть, это даже был кто-то из тех, кто живет под мостом, в презрении, как и ты. Но это так на тебя непохоже. Тебе нравятся выброшенные вещи — ведь с ними всегда к тебе приходит что-то или кто-то. Они как будто приводят друзей. Компанию.

Ты поднимаешь книгу, стираешь с нее грязь. Странный пластик твердой обложки ломается,

врезается в ребро ладони. Книгу листает ветер, и выглядит она так, словно прошла сквозь пламя, оставившее ее целым. Книга — Дневник, как ты инстинктивно думаешь, — пахнет кровью, а под запахом крови — смутно знакомая антисептическая вонь.

Ты нащупываешь свой дешевый фонарик-брелок. Высвечиваешь круг тусклого света на обложке, и внутри круга — грубый рисунок лисьей головы, выполненный синей краской. Круг похож на перевернутый аквариум для золотых рыбок, а лис — на допотопного глубоководного ныряльщика в громоздком костюме.

Лис сложен из резких штрихов — будто либо он сам, либо человек, нарисовавший его, жесток. Или болен. Или злится. Или такие вещи по манере рисунка не узнать? В желудке пусто, и ты не знаешь, откуда пришло это чувство, но чувствуешь — ты, похоже, бывала здесь раньше. Проходила мимо дневника, не замечая, отвлеченная голодом или болезнью, или тем, как усыпанный пластиком берег становился белым шумом, частью фона для мира.

Ошеломленная, ты припадаешь на колено — окунаешь джинсовую ткань в грязь. Дневник на ощупь — грубый, шершавый. Ты чувствуешь

исходящую от него силу — будто явилось что-то чуждое, что-то опасное.

Откуда он мог взяться? За рекой и лесом раскинулся старый завод. Дымовые трубы — всего лишь неясные очертания в ночи, но их тотемные столбы ярки, узки и высоки, как если бы ты наблюдала их днем.

Проблеск какого-то движения в воде привлекает твое внимание. Ты светишь фонариком на что-то гладкое, длинное и (как тебе кажется) светло-зеленое.

Оно чувствует на себе свет, вздрагивает, поворачивается неспешно — и распахивает большие-пребольшие светящиеся глаза. Тупая морда. Что-то в ней есть рептильное, но это не рептилия. Размером с речную выдру. Юрко пробирается меж покачивающегося на водах мусора и тростника.

Тебе не хватает воздуха. Ты дрожишь, задыхаешься.

Существо ныряет. Всплеск обретает глубину, охват, определенность. Круги, расходящиеся от того места, где существа уже нет, мало что тебе говорят. Умирают, не достигнув берега, и все же кажется, что они, невидимые, проходят прямо сквозь тебя.

Ты на севере, а не на юге. В реке не должно быть

ничего подобного. Воздух уже посвежел, деревья делают вид, что шелестят листвой. Зимы стали жарче, чем раньше, но все же, как такое существо могло выжить здесь?

При выключенном фонарике вода как-то чище, просматривается лучше. Решетка из легких теней, деревья за ней, как обвиняемые, призванные судом встать. Ты не хотела ослепить это существо. Кем бы оно ни было. Ты не любишь причинять неудобства живым существам. Если без этого можно обойтись. Слишком многие вещи тебе самой причиняют дискомфорт.

Звуки выстрелов где-то в Городе гальванизируют тебя. Спрячь дневник под шаль. Отступи на пятьдесят ярдов или около того к своему убежищу в туннеле под мостом, ведущим из Города. Присоединись к сгорбленным спящим фигурам там, ощути влажную пульсацию их телесного тепла. Только один часовой на посту, такой же ветхий, как и вы все. Человек, мучающийся бессонницей. Тощий. Библейский. Кивает тебе. Снова смотрит в ночь. Пока еще обстановка не столь спокойна, чтобы можно было разжечь огонь в ржавой бочке неподалеку.

Вблизи Города ведь всякое может случиться. Вблизи завода. Уж лучше жить-поживать под

мостом. Ты бы отправилась под мост, даже если бы у тебя был выбор — а может, это самообман. Просто внешний мир кажется тебе неправильным. Захваченным чуждым недугом. Внешний мир — никакой это не «мир» вовсе, ничего в нем мирного нет! — сожрет тебя живьем, если предоставится шанс. Жаль, что так мало способов узнать, что там еще, за мостом.

Редкий резкий звонок поезда — уже наполовину мифическое событие. Звонок теперь почти такой же редкий, как уханье совы. Почти все совы вымерли, а мыши, очевидно, так их любили, что вымерли за компанию. Что вообще значит это слово — «вымерли»? Да ничего хорошего.

Становится холодно, как, бывало, в осенние ночи, и холод, наконец, доходит до тебя. Пейзажи прошлого дают о себе знать — в снах.

Ты забиваешься в свой маленький самодельный уголок, накладываешь на себя еще один грязный слой. Наполовину скрытая от остальных перевернутым комодом, грудой целлофановых простыней и лепниной из грязного тряпья, что заменяет тебе одежду. Дневник запрятан глубоко в ряску, в самую безопасность. Ты осторожно выглядываешь наружу, почти ожидая, что существо последует за тобой в туннель.

Ты не можешь избавиться от образа глаз из воды. О, этот взгляд.

<<**Демоны** *жили в ее городе вечно, оставаясь в тени. Но теперь они явились целой стаей, откуда-то извне. Она была в этом уверена.* **Демоны** *и рабочие — как их теперь различить? Все, что ей оставалось — расковыривать окровавленную язву на тыльной стороне левой руки. Оставалось цепляться за чувство, что она никогда не будет в безопасности.*

Демоны *укрывались в любой доступной тени. В любой тени, что попадалась на глаза. Все больше и больше людей претерпевали странные внешние метаморфозы. Все еще похожи на людей, но уже не люди. Уже и не скажешь, что они — отсюда. Иногда новые* **демоны** *приводили причудливое зверье на поводках. Животных, похожих на собак, но двигающихся не как собаки, а почти как люди, ползающие на четвереньках. Или с шерстью, обладающей странными светоотражающими свойствами, — принимая определенные позы, эти звери, казалось, исчезали.*

Если она говорила о **демонах**, *люди думали, что она сумасшедшая, потому что они всегда принимали ее за сумасшедшую, она ведь бездомная. Или они притворялись, что она ничего не сказала,*

потому что не хотели об этом думать. Но она знала лучше, чем кто-либо другой: она выросла здесь — скорее призрак, нежели человек. Слишком много раз она исчезала, и с каждым разом — все больше пробелов в мире. В памяти.

Иногда появлялись **демоны**, *и другие люди умолкали. Это заставило ее задуматься, не бредит ли она. Или так было все это время. А иногда она злилась из-за того, что другие не видели видимого ею. А может, задавалась она вопросом, все даже хуже? Может, они все видят, но виду не подают.>>*

– 6 —

За рекой, на противоположном берегу, на рассвете, из тумана… появляется бледный чуждый человек. Угловатый силуэт. Кожа настолько прозрачная, что вены выделяются, точно притоки.

На фоне переплетения лесных ветвей и останков заржавевшей машины, утонувшей в грязи, — виноградные лозы проросли сквозь вагонный остов, а за ними — клубы дыма от фабричных труб. Дым, вьющийся в небе над линией деревьев, и вполовину не такой белый, как этот человек. Его одежда блестит, блестит или движется. Отражает пятна света, что пробивается сквозь ветви.

Он стоит неподвижно, но не неподвижно, с таким изможденным лицом, что его усталость можно прочитать издалека. Он пришел издалека, в поисках чего-то.

Он для тебя ненастоящий. Он как галлюцинация или мысль, которая все еще пребывает в твоем сознании. Все еще где-то далеко. Но потом рядом с ним появляется еще один, такой же, и этот — уже реален. И это тебя пугает.

Ты крадешься, пригнувшись. Через прохладную канаву в насыпи, заросшую папоротником. В кустах ворчат крапивники. Более — ничего не движется и, кажется, даже не дышит. Двое странных людей еле различимы, колеблются в кустах, как будто могут двигаться, не двигаясь. Возможно, это ты хранишь неподвижность, а они то исчезают, то появляются, не совсем в том же самом месте. Нет, все же — там же.

Они осматривают землю. Ищут. Но не тебя. Или тебя? У тебя же дневник. И ты видела саламандру. Они просто еще не знают, кто ты такая — и кем можешь стать.

Когда появляется третий, костлявый на фоне лесной зелени, бледный человек снова становится нереальным. Растворяется в солнечном свете, в сверкающей пыли собственного покоя.

Этот третий. То, как держится и как мерцает свет в его глазах. Взглянув на боль, ты ее всегда узнаешь. Они больны, им больно. По этой причине они замедлены. Но — все равно ищут, будто кто-то заставляет их искать.

В ноздри ударил отвратительный запах горящей хвои, и ты думаешь, что это они, должно быть, горят на солнце — истаивают, рассеиваются туманом, брызгами. Но потом понимаешь — это просто новый смрад с фабрики. Смрад набирает вес и дезориентирует, как ржавое железо, пропитанное жимолостью. Превращается в отвратительное пойло из горячего асфальта и сырого ливера. С острым послевкусием. Трудно отличить отраву от боли.

Когда трое бледных людей снова удаляются, ты возвращаешься в туннель.

Полдень. Остальные — в поисках пищи, рефлексивном. Прочесывают то, что пусто или пустует. Имена погибших или тех, кто ушел отсюда, двинулся дальше, просто нацарапаны черной шариковой ручкой на противоположной стене. Мгновение, чтобы оценить свое состояние, отметить новые симптомы. Хриплый кашель не проходит. Но не убьет тебя в данный момент. Боль в суставах, головная боль, такая же, как всегда.

Ничего сверх. По крайней мере явных симптомов нет. Коллекция болезней — как кастрюли и сковородки, стучащие друг о друга в катящемся вагоне. Ты обманываться рада, говоря, что речная вода безопасна, но она просто безопаснее, чем то, что выходит из крана. Муки голода ты попросту игнорируешь. Тебе это легко дается — после стольких-то лет тренировок.

Огонь в бочке погас, машины гудят и гудят над мостом. Иногда дроны проявляют интерес, жужжат как-то по-другому. Лес — стена зелени на северном конце туннеля; выгоревшие бетонные блоки «базарного» офисного комплекса, сильно потрепанные, на юге. Сразу за ними — тусклые стены главной улицы, бетонные кишки, испещренные грязными стоками, суровые тени, закрытые ставнями двери и окна.

Дневник хорошо спрятан. Под кирпич, под мешком грязной гниющей одежды, среди груды мягкого известняка, мокрого от воды, натекающей сюда с моста. Струпья лишайника и пленки серой плесени скрывают его. Ты представляешь себе, как дневник полнится энергией того, что в нем содержится. Представляешь, как мох и лишайник нашептывают ему. Велят дневнику успокоиться, отдохнуть, подремать. Изгоняют

из него демонов и безобидно рассеивают их в воздухе. Но под кирпичом прохладно и спокойно, как будто так было всегда. Но Лис — потаенное синее солнце — пульсирует находящим к тебе путь через все заслоны светом.

Ты бдительна к бледным людям, к их проявлениям. Но в подлеске шумит только древняя сосна-дикуша. Шорох иголок. С нее не сорвать плодов, но даже и будучи загрязненным и отравленным, лес способен прокормить.

Дневник все еще выглядит выброшенным мусором. Все еще не тянет на похищенную ценность. Одни страницы опалены огнем, другие — изорваны в гневе. По краям — разлохмачены. Запятнаны. Кто-то жадно хлещет речную воду неподалеку и хихикает, ты пытаешься не обращать на это внимания: звук мог значить что угодно или вообще ничего. Просто слушать реку — уже достаточно, чтобы знать: она меняется, она лишена постоянства. А здесь — ядовитый пруд-отстойник. Там, в полуразвалившемся домике ондатры, обитало еще какое-то существо.

С годами твое чувство времени угасло, но, вероятно, у тебя есть тридцать минут, может быть, час до возвращения остальных. Ты не хочешь, чтобы они думали, будто у тебя есть что-то цен-

ное. Сей трудный урок ты усвоила крепко. Нужда — страшная сила, почти как демоны.

Может быть, это лишь иллюзия, создаваемая обугленными страницами, — но дневник кажется теплым. Как будто и впрямь — не просто мираж, самовнушение, а что-то еще. В дневнике — ни имени, ни адреса. Нигде их не сыскать. Есть какие-то две метки — одна, вполне возможно, буква «Ч», а вторая — маленький «икс». Вполне возможно — но также возможно, что ты ошибаешься.

Вместо этого: созвездия или то, что ты принимаешь за созвездия. Точки света с линиями между ними. Всего пара страниц. Каждое из созвездий имеет приблизительно круглую форму. Обозначения в цифрах рядом с каждой точкой. Меньшие круги сопоставляются с большими, как будто большие — модели, призванные пролить свет на большее число подробностей. Но — не проливают.

Первые страницы тебя беспокоят. Нельзя сказать, почему. В них есть что-то знакомое. Может быть, в цветах. Может быть, в форме двери, которая появляется на третьей странице. Дверь беспокоит тебя. Заставляет думать о чем-то открывающемся, что должно оставаться закрытым.

Ты представляешь себе огромную тьму за этой дверью. Такую тьму, в которую никогда не возникнет желание погрузиться, дабы узнать — что там, в ней, за ней.

После двери идут рисунки существ, похожие на протоколы вскрытий. Или на иллюстрации к каким-то адским кулинарным рецептам. Есть весьма и весьма причудливые — растение становится морским анемоном, превращающимся в кальмара. Медведи, превращенные в людей, и люди, превращенные в медведей. Сцены патоморфической бойни ты пролистываешь быстро. «Инструкции» выстраиваются в пространные абзацы, написанные на языке, который тебе непонятен, — в средней школе ты проходила испанский и кое-что понимаешь в русском. Другие алфавиты тебе знакомы, но этот — не соответствует ничему, что ты когда-либо видела.

Страница за страницей, вплоть до нескольких фраз на английском языке. Диким, неуправляемым почерком, чужим языком, своим собственным. Английский язык не ведет ни к чему полезному, как если бы след из хлебных крошек превратился в россыпь грибов или крошечных черных монолитов.

«Лис не хочет, его надо заставить».

«Слова, идущие ко мне издалека, из-за глобул».

«Никакой больше Компании».

Праведная неправедность: почти все люди, живущие под мостом вот уже много лет кряду, томились некогда в специальных учреждениях, ну а потом их оттуда просто выкинули. Выпустили, сказали — бродите по планете. Правы были родители, когда говорили тебе в детстве — держись подальше от этого места; значит, и в ту давнюю пору все было точно так же. Порой эти блаженные делились своими записками, указывали на какие-то слова, а ты кивала и делала вид, что принимаешь это всерьез — ведь они-то точно принимали. Может быть, дневник — история чьей-то жизни, написанная на выдуманном языке.

Почти все страницы дневника заполнены бормотанием. Будто кто-то бормочет себе под нос, а не записывает упорядоченно, чтобы кто-то сторонний мог это понять и прочесть. Постановка каких-то вопросов, вывод уравнений и формул — ты почти уверена, что дневник написан мужчиной, хотя непонятно, откуда такая уверенность.

На самых тревожащих рисунках подробно описан процесс выведения очень маленькой особи

мыши, популяция за популяцией — выведения с целью помещения в горло человека в ходе хирургической операции на горле. Человеческая фигура с дренажным отверстием под подбородком — бесполая, как в инструкции по проведению искусственного дыхания.

Некоторые изображения в дневнике напоминают тебе о реальном мире. На одной странице изображена тонкая фигурка, похожая на наркомана по имени Хэл, чье лицо было порезано бутылкой в драке. Весил все девяносто фунтов. Зиму, похоже, не пережил. Мог часами напролет рассказывать о своей прежней жизни. У него был дом и жена. И он работал программистом в фирме по производству софта. Дела давно минувших дней — но все три месяца твоего с ним знакомства он только о них и твердил. Расписывал в деталях, как все когда-то было.

Ты никогда ни с кем не говоришь о своем прошлом. Разговор просто выпускает воспоминания в воздух, и они больше не являются твоими, или — уж не те они, что прежде, измененные; или другие люди захватывают их и держат в плену. Ты хочешь оставить их себе. Плохая память может заразить кого-нибудь.

Нацарапанная на полях, то ли мольба, то ли

приказ: «Открой свое сердце как можно большему. Открой настолько, насколько возможно. Цена не важна».

Экая ваниль. Подобные сантименты в дневнике смотрятся куда более дико, чем неизвестный и нечитаемый язык. Есть еще подобное, что-то в духе фразочек с поздравительных открыток, и ты уже задаешься вопросом, нет ли здесь какого-то второго дна, скрытого смысла. Интересно, это была какая-то стратегия борьбы с ужасом? Но кто создал этот ужас? Если ты все правильно поняла.

«У всех должен быть свой волшебный сад. Все должны знать, каково это».

Ты встревоженно перелистываешь страницы, время от времени возвращаясь к обложке и поглядывая на морду лиса. Но лис ничем не помогает и ничего не проясняет.

Ближе к концу дневника ты находишь наброски существа, похожего на то, что ты видела в реке. В шаре света, как и лис на обложке. Более «наукообразный» рисунок, с тщательными пометками, подписями, на месте глаз — крестики. Анатомическая зарисовка. Существо напоминает саламандру. Огромную такую. Почти — саламандра, но не совсем.

Как и непонятный тебе язык, это существо не

похоже ни на одно, которое ты бы видела, или о котором читала. В пояснениях к нему тоже есть вставки на английском, но они лишь наводят дополнительную тень на плетень. Снова — придуманный язык. Язык саламандр?

Может, ты изучаешь эту страницу днями, месяцами, годами. Может, на все про все уходят считаные секунды. Страница делит твой мозг на «до» и «после». И пытаться выжать смысл из ситуации — бессмысленно.

Страница струистого изложения напоминает тебе страницы из книги, которую тебе как-то спровадили — о побережье. Волна набегает водянистыми кривыми. Отступает во время отлива, оставляя после себя спиральные колонии крошечных существ. То, что было скрыто водой — да откроется. Отступит спасительная тень, обнажится мусор.

И это — нисколько не момент просветленья. Все, что ты знаешь, — остальные скоро вернутся. Итак, ты запоминаешь простую фразу. По-твоему, это фраза на саламандровом языке. После этого ты возвращаешь дневник в тайник.

Ты спускаешься к берегу реки и пишешь в эфемерной густой грязи. По-твоему, это слова, ну или хотя бы символы. И ты ими излагаешь — привет-

ствие, предложение дружбы, провозглашение солидарности.

А что, если это все вздор? Но ведь и реальность, которой ты в массе случаев оперируешь, — тоже вздор. Грязь дарит пальцам приятные ощущения. Мягкие, холодные и всепрощающие.

Ты все еще сидишь там, скрючившись, когда на противоположном берегу появляется дрон. Рука и спина затекли, болят. Ты припадаешь еще ниже к земле и прячешь послание в тени своего тела. Дрон — явление привычное, но этот, возможно, какой-то особенный.

Красивая штука с тремя горящими глазами легко плывет к тебе по воздуху. Парит. Ты притворяешься куском мертвой плоти, налипшим на завязшие в прибрежной грязи кости.

Кто знает, кем этот беспилотник послан. Кто угодно мог его сюда послать. Кто угодно мог захотеть, чтобы кого-то другого не стало. Чтобы кто-то другой испарился за миллисекунду. Будто никогда и не было. Был человек — и нет его; и следов не осталось.

Дрон некоторое время напевает тебе некую ворчливую песнь. Какая-то новая модификация, такой ты раньше не видела. Наполовину — живая плоть: крылья как у колибри, голос как у дрозда

или крапивника; наполовину — металл и пластик, слагающие панцирь. Он поет тебе, точно старый друг. Жаждет ответа. Тебе виднее.

Но в конце концов ты ему не нужна. Или, возможно, — не нужна прямо сейчас. Ни один демон его не посылал. Вероятно, это дрон-землемер. Безо всяких злых умыслов.

Когда беспилотник улетает, ты вздрагиваешь, расслабляешься, отправляешься на поиск еды. Еще один обычный день. Кроме того, ты убеждена: фабрика — мираж. Столбы дыма из труб — просто завеса, помогающая сохранить иллюзию. Как будто это все еще фабрика, а не что-то другое. Дрон, насколько ты понимаешь, как раз с той стороны и прилетел. Не из Города. Трио бледных появилось из леса — плотно соседствующего с фабрикой. Значит, разумно сказать — с фабрики и пришли? Раньше ты не обращала на дым внимания, а сейчас он кажется тебе чем-то угрожающим, каким-то недобрым знамением.

Ты ешь, потому что твой желудок — тугой маленький комок боли. Ягоды — вполне подойдут. Оранжевые грибы, как ты знаешь, безопасны, и плевать, что лес почти всегда источает запах бензина. Пока ты ищешь, на ум почему-то приходят те хрустящие чистые страницы из самого конца

дневника — будто это тоже своего рода пища. Ты думаешь о них, когда забрасываешь в рот горсть собранных кислых ягод, когда катаешь по языку их семена. Боль в животе чуть-чуть ослабевает. Да и ум проясняется.

Ты решила писать на тех страницах сама. Все, что не можешь произнести вслух — боишься. Все, что не понимаешь.

И вот отворяется дверь, и целый мир проходит сквозь нее. Сквозь страницы.

Ты это уже знаешь, пусть и пребываешь пока в неведении.

<<*Язык* **демонов** *девушка переняла у своей матери-евангелистки — забрала как бы на прощание. Только это и осталось. Лишенные смысла слова — шипящие, разящие, бормочущие, — срывались с уст матери, когда та стояла ночью над ее кроватью. Такая вот сказка на ночь. А малышка все дрожала, съежившись, под одеялом, до тех пор, пока ее мать не извергала из себя все, пока не выблевывала все слова, пока мозг не опустевал. Стук нестриженых ногтей ее матери по деревянному полу напоминал о собаке, которую они когда-то держали.*

Ее мать считала, что **демоны** *— это не просто* **демоны**, *а возмездие от бога. Целенаправленное*

наказание. Девочка, став подростком, знала, что ее мать была неправа — и в этом, и во многих других вещах. И все же иногда ей было легче думать о них так, в духе разговоров ее матери о религии.

Всякий раз, когда девушка писала слово **демон** *— и в те дни, и ныне, и присно, — она ощущала себя обязанной использовать свою собственную кровь. В качестве защиты. Как наказание. Кровью она чертила круги на полу своей комнаты и рисовала символы, найденные на страницах книг.*

Но как быть, когда весь мир превращается в **демона***?>>*

– 5 —

Некоторые из них задают слишком много вопросов, как только видят дневник. Особенно Эрик, долговязая развалина, недавно прибывший. У него шок от повальной новизны быта. Он думает о бездомных людях как о сообществе, которым они могут быть, но не всегда являются. Думает о себе как о ком-то отдельном, приходящем. А твои глаза болят, когда при плохом освещении ты чересчур сильно щуришься. Ты отвергаешь все вопросы, даже когда прячешь дневник поглубже в свои рваные одеяла, в свой спальный мешок.

Ты прижимаешься к грязной стене туннеля,

радуясь, что она защищает тебя от ветра. Когда Эрик отступается, замолкает и таращится из туннеля на реку, ты в который раз пытаешься заснуть. Одну руку держишь на бейсбольной бите. Скрип падающего снега исходит из дневника, а не из внешнего мира, и вновь он звучит в твоей голове.

В дневнике ты обретаешь крупицы покоя. Какие-то страницы пахнут летом. А другие — словно бы вырваны из зимы. На одном бросающемся в глаза двухстраничном развороте запечатлено падение метеора. Внизу некто, сотканный из тьмы, смотрит через снежную равнину на то, что может быть когтями и руками какого-то другого монстра. Все это время падают снежные хлопья, смешанные со звездами. На полях был нацарапан еще один набросок лисьей головы в шлеме глубоководного ныряльщика, и непонятные слова — в довесок.

В какой-то момент, или же на другой день, Эрик ушел. Люди ушли. Туннель стал совсем-совсем заброшенный. Осталась только ты — то, что от тебя осталось. Потеряла счет времени. Потеряла самоконтроль. Сделай же что-нибудь практичное, чтобы удержаться. Вбей кол в землю. Не отплывай во мрак. Сопротивляйся подступающе-

му омуту, темному и глубокому, засасывающему в себя. Посвяти себя моменту — настоящему.

Что у тебя есть, кроме таинственного дневника? Каждое утро — подводишь итоги, как будто что-то может измениться. Потому что это возможно. У тебя может быть и меньше. Ты не можешь позволить себе меньше, не вынесешь очередного ужатия инвентаря. Рюкзак, а внутри — плеер с обрывистым микстейпом[10], подарок от старого дружка, который был у тебя еще до бродяжничества. Бейсбольная бита с отпиленной ручкой. Футляр для губной помады старой-престарой марки, принадлежавшей матери, черствый хлеб, украденный из мусорного контейнера за продуктовым магазином. Банка тунцовой пасты, но без консервного ножа ее не открыть. Шоколадный батончик — так, на всякий пожарный случай. Галлонный кувшин с надписью «молоко», наполненный водой из ручья.

Саламандра все околачивается вокруг да около — даже в холодную погоду. Твое сообщение либо получено, либо нет. Когда ты возвращаешься к грязи на берегу, букв-символов уже нет — они

---

[10] Примечания: 10

Микстейп (англ. mix tape) — тип звукозаписи, сборник песен, записанных в определенном порядке, представляющий смесь музыкальных фрагментов, собранных в композицию, обычно на аудиокассету.

либо смыты, либо слизаны.

Изломанное, осквернённое тело.

Бледные неправдоподобные чужаки все еще бродили где-то в лесу.

Саламандра становится больше. Прямо у тебя на глазах. Ну да, ты слишком часто на нее смотришь. Из подлеска. Из-за деревьев. Ты выглядываешь из-за пустой бочки — ты разведчица, ты наблюдаешь. Ждешь. А чего ждешь? Саламандра дрейфует, отступает, возвращается в фокус. Изменчивая ее кожа меняет цвет с зеленого на красный — на дымчатый багрянец горящего сарая. Саламандра весомая, она оставляет след за собой — узоры в воде. Тебе кажется, будто ты — во чреве чудовища, пусть и не безнадежно чудовищного. Есть ли где-то карта, способная указать тебе путь наружу? Или ты тут безнадежно застряла?

Ты зовешь существо саламандрой, потому что ничего более похожего — не знаешь. С тех самых пор, как ребенком заблудилась в лесу и прошла вдоль ручья, чтобы вернуться. Всегда считала их медлительными, маленькими, хрупкими. Но эта тварь в реке, *эта* саламандра — она так велика, что вспенивает воду, и по водоворотам можно счесть дразнящий намек на ее истинную форму.

Но глаза на ее голове расположены совсем не

так, как у саламандры.

А еще у нее острые зубы.

И хвост с гребнями и зазубринами — плавник-стабилизатор.

Плывет так быстро — вот вроде бы глянешь, вот она, моргнешь, уже исчезла. Рассекает речные воды, уходит в глубину, подбирается к мелководью — по акульей тактике. Пахнет свежо, как чистый ток — как когда-то пахла сама река, до того, как появился Город.

Быстро стемнело, но ты все смотришь — глаз не можешь оторвать. В животе у тебя плещутся хлебные комки и водка — целая бутыль была оставлена кем-то в переулке. Ты либо пройдешь этот тест, либо провалишь. Впустишь демонов, ведь демоны уже здесь. Когда светлячки опускаются к самой поверхности, саламандра чуть приподнимается, гасит их свет и возвращается в былое положение. Священный мрак кругом. И у тебя нет ни убеждения, ни твердой веры в себя. Может быть, потому что ты не так свежа, как это существо, не такая *новая* для этого места.

Красуется перед тобой? Или всегда себя так ведет? Саламандра больше тебя не боится. Видела, как ты убегаешь от троицы бледных. Видела, как ты прячешься. Слышала хриплый предупре-

ждающий вскрик из твоей глотки, погрузилась на самое дно — прежде чем бледные заметили. Вскрик тот закреплял пакт, говоря: *мы с тобой — на одной стороне баррикады.*

Ты пыталась позвать саламандру словами. Сначала одними, озвученными, потом — другими, выведенными пальцем на воде. Она только разозлилась, шлепнула хвостом по воде и уплыла. Но вот с безопасного противоположного берега на тебя смотрят эти большие светящиеся глаза. Кажется, она простила тебя. Ведь ты просто не знаешь, что сказать. Не ведаешь, что говоришь.

Заняв безопасную позицию, саламандра раскрыла рот — и из нее полилась текучая певучая речь, обволакивающая, окутывающая тебя. Утешила, зажгла в тебе огонь. Ты восхищена, ведь это самые прекрасные, самые неописуемые слова, когда-либо тобою слышанные.

Ага, тебя застали врасплох. Испугалась.

И ты поспешно отступаешь назад, к туннелю. Спину — к стене, в одеяло так и вцепилась, как в старую полузабытую мягкую игрушку. Сердце бешено колотится. Ты все еще ощущаешь объятия этого тайного языка. Ощущаешь, будто река течет прямо в тебя, прямо сквозь тебя. Из твоих глаз. С твоих губ. Послание саламандры изливается

наружу — так много информации поступило к получателю, а тот и не в состоянии ее принять.

Что это значит, ты хочешь знать, что это значит, что это значит? Даже если есть смысл и есть болезненное чувство, что твоя судьба неразрывно связана с судьбой саламандры.

Ты думала, что поможешь ей, но, похоже, она должна помочь тебе. Или ты пропадешь. Среди демонов. Среди всех закрытых дверей. На мгновение ты впадаешь в отчаяние. От всего этого. От страшного мира. От собственного места в нем. Как же манят назад, к реке, маневры сказочного существа в ее водах — крен, скольжение, нырок в глубину.

Ты зовешь ее саламандрой; ты все еще не знаешь, как она зовет себя сама.

Позже ты почувствуешь непреодолимое желание снова увидеть саламандру. Оставить свое укрытие. Побродить по темным тропинкам, сбегающим вниз, к берегу реки. Лунный свет отбрасывает на воду блики, вполне достаточные для того, чтобы увидеть, как гладка вода, лишенная ряби. Может, ты напишешь еще одно предложение в грязи? Может быть, саламандра ушла, ушла далеко отсюда, спустилась вдоль реки к устьям у моря. Живя жизнью, которую ты

хотела бы прожить.

Но нет: мерцание под водой, как затопленное пламя. Запах тлеющих опавших листьев. Мерцание углубляется, расширяется.

Ты оставляешь еще одно послание в грязи. Такие слова могла бы написать твоя мать в поздравительных открытках — пишет одно, на ум идет совсем другое:

Береги себя. Держись. Да хранит тебя бог.

<<**Демоны** *могут прийти из будущего и заразить прошлое.* **Демоны** *могут принять форму гигантской рыбы, чтобы проглотить ее целиком.* **Демоны** *могут говорить с тьмой. В самой тьме не было ничего плохого. Она любила тьму за то, что та скрывала ее, успокаивала и охлаждала. Но* **демоны** *насыщались тьмой, пьянели от нее.* **Демоны** *могли забыть принять любую форму — просто поглотив тьму и став тьмой.*

Демоны *теперь жили на заброшенной фабрике, как и в Городе. В наказание Городу? Непонятно.*

В церкви, всего один раз, мать девочки читала проповедь. Никто не знал, кроме девочки, что проповедь была о том, что ее мать злилась на отчима за то, что он ушел. А может быть, кто-то из горожан догадался, но ему было все равно.

Демоны *жужжали вокруг головы ее матери,*

извергаясь из ее рта, как будто рот ее матери был полон мух. Хотя было бы лучше, если бы это были просто мухи. Эти не-мухи вспыхнули крошечным пламенем, и пламя превратилось в мерцающее лицо, выкрикивающее слова, которые только что произнесла ее мать. И хоть никто этого не заметил, все сидели на скамьях напряженные-напряженные, с застывшими улыбками, примерзшими к лицам, потому что хоть они и не различали демонов, зато прекрасно видели ее мать — и увиденное им не нравилось.

Но девочка не стала рассказывать об этом матери, боясь, что та снова покрошит таблетки в полужидкий омлет, подаваемый к завтраку, или просто втянет ее в очередную ночную перебранку — перебранку, которую девочка не начинала и начинать не желала.

В тот день, когда она пришла домой из школы и обнаружила, что все в ее комнате разбито или разорвано, разбросано в беспорядке, мать сказала: ей нужно убраться.

– **Демоны** *пришли, — заверила она ее. — Наказать тебя.*

В чем тогда разница между собственной семьей и **демонами***? По правде говоря, некоторые* **демоны** *когда-то были людьми, делавшими пло-*

хие вещи, иногда даже не по своей воле. Не зная лучшей доли, люди становились демонами, вот такая вот интересная загвоздка. В конце концов девочка поняла, что это все вряд ли имеет значение. Порой она думала, что если что-то и стоит писать кровью, то только — имя матери>>.

– 4 —

В лесу, ночью, когда лунный свет тускнеет, ты видишь, как движется тьма. Ее исторгает фабрика — разверзается, точно пасть, грозя рано или поздно сомкнуться на твоей голове и все разрушить.

Кто-то крадется к мосту, к туннелю. Кругом так тихо — даже на разыгравшееся воображение не спишешь. Кто-то движется, кто-то скользит в темноте, будто темным крылом осеняет, будто чудовищная глава бросает тень поперек теней ветвей — и поглощает их. И слышатся неспешные шаги — негромкие, о двух ногах, а не о четырех.

Ты завернулась в тряпки, прячешься. Притворяешься мертвой — и чтобы ничто человеческое тебя не выдало. Смотришь сквозь завесу грязной белой марли на бледную мглу, что окутала пространство под мостом.

Вот тогда-то она и надвигается, прикинувшись невидимкой. В своем камуфляже — некая форма,

собранная из разнородных, не подходящих друг другу. Гибкая, но тяжеловесная. Будто бы тонкая, будто бы толстая. Рептилия, сильно смахивающая на птицу. Столь зоркая, даже во мраке, что ты ощущаешь этот тянущий взгляд на себе. Будто берет за свисающую ниточку и распутывает тебя. Буксирует. Дразнится.

Но ты же только того и хочешь, верно?

Со стороны, откуда она приходит, несется вонь — антисептик и свежая кровь. Запах будто сам по себе — какая-то нематериальная часть существа, тоже ищущая; возможно, тварь воспринимает мир абсолютно иными чувствами, не такими, как у тебя, и, быть может, она найдет тебя не глазами. Когда найдет — сожрет живьем.

Туннель закупорен ею с одной стороны, точно пробкой.

Ты чувствуешь себя в ловушке. Подступает удушье.

Света белого не увидеть более, вечно смотреть в ничто, в никуда…

Многие жители леса перешли на ночной образ жизни. Ты говоришь себе это, когда чудовище приближается. Они предпочли раствориться в ночи, так как день стал им слишком опасен. Так тебе сказал один бездомный. Биолог. Уволенный.

Опороченный. Канализированный Компанией. В отличие от тебя, туннельной жительницы, тот мужчина предпочитал дикую местность; он любил ее. Так вот потом он исчез. Но от него ты узнала, что дикобразы любят фрукты. Что лис, даже если у него синяя шерсть, может явиться что днем, что ночью.

Пульсация, кинетика, преисполненность чем-то, что близко к жизни твоей насущной — нечто внутри тебя знает гораздо больше, чем ты сама. Оно предвидит будущее. Оно просчитывает на несколько шагов вперед, даже если сама ты ничего не можешь предпринять. Например, ты видела лишь одного бледного человека в своих снах, и он падал на ложе из роз, становившихся снежными шарами, а шары те преображались в мириады новых миров. И в каждом из этих миров был горящий сарай и бледный человек на противоположном берегу, и ты не можешь вспомнить, снился ли тебе этот сон и раньше, до того, как ты впервые увидела бледную троицу наяву.

Какие-то выдержки из дневника, когда ты достаешь его вновь на рассвете, в этом странном сиреневом свете, при котором ты все гадала — миру конец или только начало… почему они, выдержки эти, кажутся знакомыми? Демони-

ческая сущность, согласно дневнику, способна принимать множество форм. Порой она похожа на труп и кажется пойманной в ловушку агонии. На одном из рисунков она живет внутри алхимического пузырька воздуха и воды, защищенного крутящейся стеной пыли и песка. Своего рода мягкая внешняя оболочка. Как будто что-то ждет, чтобы родиться. А порой на демоне маска летучей мыши — он как бы примеряет роли.

Пытаясь унять дрожь, ты рассказываешь папоротникам и грязи свою правду — то, что считаешь правдой: детскую сказку, однажды поведанную тебе матерью. Если она и повторяла ее позже, то — всегда с желчью, с сарказмом, так что тебе кое-что пришлось изменить. Она говорила: раз веришь в такое — ты еще ребенок.

Итак, сказка: над всем лесом за их домом и маленьким сараем, над всем-всем и над всеми-всеми… властвовал лесной разум, спящий беспамятным сном, бесхитростный. Он был сотворен из земли и деревьев, облаков и птиц. Но на самом деле он все-таки бодрствовал — так, как не может бодрствовать ни один человек. Его сон не был сном. Его ум не был умом. Человек никогда не смог бы постичь его мудрость, лишь растащить ее кусочек за кусочком, развенчать.

Но пока оставался хотя бы маленький кусочек, он не мог умереть. И никогда не умрет.

Возможно, он спасет тебя (чтобы спасти себя), ну или даже не заметит тебя — такую маленькую, прижавшуюся к стенке туннеля.

Когда чудовище исчезло… прошло мимо входа в туннель и отступило в лес, когда ты больше не чувствуешь эту жуткую тяжесть… когда спустя несколько часов в туннель заползет обычный полуденный зной, совсем не чуждый, и ты вспотеешь… тогда-то ты осмелишься снять покров. Приподняться на локтях. Выдохнуть.

А потом ты будешь кричать до тех пор, пока не охрипнешь — от одного вида того, что чудовище (красное око монстра теперь будет расти в твоих снах) оставило после себя.

Голова бледного человека слепо смотрит на тебя с земли.

Туннель похож на пасть гигантской рыбы. Ты поглощена. Тебя усваивают. Расщепляют на атомы. Ничего человеческого. Ничего настоящего, из плоти и крови. Ты — просто очевидец зверства. Твой разум в огне, и ничто не способно его потушить. Не можешь двигаться, не можешь говорить. Не знаешь, как успокоить обезумевший пульс, унять звон в ушах. Мир кренится,

сдвигается с места.

Свежий, чистый запах вод, что изобильно полнятся жизнью.

На стене туннеля, как по волшебству, проступает саламандра. Мимикрия это называется, покровительственная окраска. Цвет кожи переходит от грязно-белого и текстурированного стенного в пронзительно-оранжевый с зеленоватым наливом.

Всегда ли она там была? Все это время — наблюдала?

Саламандра на всех четырех лапах, в горизонтальной плоскости, надвигается на тебя. Но ты и шелохнуться не можешь. Голова — как наконечник гарпуна, сидит на мускулистом теле, вопросительным знаком изгибается толстый хвост. Эта тварь больше и сильнее тебя.

Взгляд саламандры жаден, он пожирает, ее глаза вращаются в орбитах, а потом вертикальный зрачок, точно якорь, надежно фиксирует их. Саламандра смотрит на тебя, а ты — на нее, потому что не в силах отвести взгляд. Оттенок ее глаз меняется у тебя на глазах. От фиолетового до аквамаринового до розового, а затем до самого эффектного оттенка светло-голубого. Снова — все двигается.

Грубые подушечки пальцев саламандры на твоей руке — хороший знак. Ты хотя бы не вздрогнула, не отпрянула в ужасе. Где-то ты однажды прочла, что саламандр можно отравить прикосновением. Прогорклое масло, хозяйственное мыло — такие штуки могут им навредить. И ты сама способна причинить ей боль — в одно касание. Ты можешь даже причинять вред другому живому существу, просто сосуществуя с ним в одном мире. Просто… существуя. Вот и все. Вот и все. В панике ты пытаешься отстраниться, спасти саламандру, избежать причинения страданий.

Но касание ее — твердое, теплое, настойчивое. Ты, конечно, не хочешь, чтобы тебя успокаивали; держаться за ужас от осознания произошедшего — важно для выживания. Чувства, добытые через боль, воспоминания — все это не по тебе, но ты и переступить через это все неспособна; неспособна проторить дорогу в будущее. *Нет ничего такого, с чем нельзя примириться,* говорит тебе взгляд саламандры. И ты поймана — этим взглядом, этим ее касанием.

Стена глобул причиняет боль.

Затем саламандра исчезает, унося с собой безглазую голову бледного человека. Все еще чувствуешь прикосновение. Прикосновение

ощущается повсюду в мире вокруг тебя, и оно делает этот мир лучше. Забирает с собой часть твоего прошлого.

Там, в лесу, ты видишь издалека двух бледных людей, которые ищут своего третьего. Слышишь далекий крик их отчаяния, нечеловеческий зов, воззвание к их утраченному товарищу. Похоже на вопль новорожденной вороны. Птенца, только-только вывалившегося из яйца в мир.

В дневнике бледные люди и Темная Птица находятся на одной странице. Но здесь, в этом лесу, они враги.

<<**Демоны** *всегда выходили по ночам. У некоторых их воплощений на лицах цвела улыбка, даже когда они намеревались причинить вред. В таком виде они были куда хуже истинных монстров — ведь истинные монстры не пытаются выдать себя за друзей. И хуже всего было то, что люди хотели быть одураченными, даже и зная, что их одурачивают. Даже когда они знали, что их в итоге ждет. Даже когда девушка знала, чем может обернуться такая улыбка. Лунный свет в их глазах серебрился потусторонним жестоким весельем, а потом — конденсировался в убийственный порыв.*

Демоны *могли говорить с тьмой. Но они опья-*

нялись ею, и потому им нельзя было доверять. **Демон**, *которому нельзя доверять, — ужасен сам по себе. Тогда она не могла предсказать, какой фортель он может выкинуть. Вот почему, когда выросла — отказалась от алкоголя, бралась за него только тогда, когда пить было вообще больше нечего. Алкоголь мешал отличить демона от монстра.*

На самом деле… правда о **демонах** *была такова: демон — первобытная, ужасная, хаотичная тьма, наделенная волей и злой улыбкой, и глазами, которые повсюду — зрачки не булавочные уколы, но рваные дыры, видят насквозь, проникают в самую ее суть, и там все переворачивают вверх дном, останавливают мысли, ломают хребет, вынуждают мочиться в штаны. И нет в них ни доброты, ни нежности, ни мудрости. Почему* **демоны** *должны быть такими? Они же привыкли поступать по-своему.*

Эти мысли возвратились к ней годы спустя, во взрослую пору, когда на ее глазах демоны хлынули из заброшенной фабрики, стремясь заразить весь мир. Завоевать его. Если бы они выглядели как люди, кто бы заметил разницу? Если они уже не те **демоны**, *что раньше, разве это имеет значение?>>*

— 3 —

Они ушли от тебя. Теперь они слишком далеко. Ничего не поделаешь. Есть только миг между прошлым и будущим — и ты в нем сейчас, можешь сделать лишь то, что можешь. Четкая привязка: пространство, время. И мир надвигается на тебя. Охотится, и тебе придется стать призраком, фантомом, концепцией, ночной тенью.

На следующей неделе ты посетишь столовую в городе. Но теперь она покажется тебе странной, чуждой. Видишь все в каком-то зеленом свете. Наверное, в том виноват дождь — и все то, что в дожде, возможно, живет. Но наверняка сказать нельзя. Слишком много незнакомцев. Слишком много фабричных рабочих — оглядываются кругом, словно что-то ищут. Ты и раньше им не доверяла, от них ожидала всякого. Но теперь ты даже не доверяешь своим старым представлениям о них.

Теперь в туннеле никто не живет, кроме тебя. Куда они делись? Куда они могли пойти? Ты не могла пойти с ними — и дело было не в опасностях внешнего мира. Дело было в саламандре. В бледных людях и в темной птице, что их выискивала. Людей стало трое, а потом они отступили

— Темная Птица убила их. Интересно, почему? Они — плохие? Они — больные?

Ты нашла дрона смятым, истекающим кровью из зазубренной раны. Его антенны все еще подергивались. Ты ничего не могла с ним поделать, не рискнула даже добить из милосердия, чтобы облегчить муки. Он раскинулся на лесной поляне, точно какая-нибудь приманка. Больше дронов не будет, и это пугает тебя точно так же, как когда-то пугал сам гость-беспилотник. Получается… что бы сюда ни вторгалось, оно побеждало. Мало-помалу, шаг за шагом, оно закрепляло свою победу, и с этим тоже надо было что-то делать.

Каждый день ты прячешь дневник в какомнибудь новом месте. И каждую ночь — тоже. Украдкой пролистываешь страницы — в надежде на то, что они выдадут-таки свои секреты. Хотя скорее — в поисках ответа на вопрос: что делать?

Темная, похожая на рептилию, птица расплывалась на одной странице, как пятно сажи. Темная и угловатая. Трудно читать из-за нее. Наброски и обрывки; какая-то басня о жестоком отце и о мальчике, чье убежище превратилось в ад.

Слово, которое ты считаешь английским, *Nocturnalia*, наброски, которые выглядят как гре-

зы, становятся опасными. Существа, теряющие разум. Вихри и стрелы, словно элементарные частицы, проносились в воздухе. Нервно-паралитический газ? Загрязняющее вещество? Но их насылали намеренно. Какие-то миазмы в воздухе, из-за которых живые существа вели себя странно. Незримые враги. Хотя все еще возможна ошибка с твоей стороны. Вполне вероятно, что описания в дневнике намекают на что-то другое.

И неоткуда ждать помощи в расшифровке. Неоткуда. Вообще.

В потаенной лесной лощине ты проводишь все больше времени. Окруженная мхом, лишайником и сосновыми иголками. Под твоим телом мягко пружинит перегной. Лесной дух, стелящийся по лесной подстилке. Подавляя кашель, разглядываешь навес крон над головой — дятлы, сойки и славки[11] перелетают с ветки на ветку. Ждешь звуков прибытия бледных людей. Ждешь звуков, издаваемых темной птицей. Смерть кажется сном, неразрешимой головоломкой. Какую личину примет смерть в этом лабиринте?

Саламандра подползает поближе и лишенными выражения глазами рассматривает тебя.

---

[11] Примечания: 11

Славки — род птиц из семейства славковых (Sylviidae), относятся к подотряду певчих воробьиных.

Издает низкий квакающий звук. Оборачивается — глянуть через плечо. Квакает снова, снова обращает голову к тебе.

Ты не понимаешь.

Саламандру тошнит прямо на тебя. Рвота покрывает с ног до головы. Фу. Ты поначалу шокирована. Потом — успокаиваешься.

Светло-розовая в этом свете, что просачивается повсюду, жидкость удерживает тебя на месте — предотвращая необдуманные действия, наделяя некоторым качеством, которое ты не вполне способна описать. Жидкость тебя охлаждает. По твоим ощущениям, она ничего не весит. Она ощущается точно пульсация воздуха, сгущающегося и подстраивающегося под тебя. Мягко, комфортно. Растекается по рукам и ногам — и вот уже у тебя нет никаких поводов двигаться.

Ты восторженно смеешься. Она пахнет жвачкой. Запах арбузной жвачки! Ты когда-то покупала ее себе — еще когда могла позволить. Жевала, точно настоящую еду, часами. Дурачила желудок.

И снова саламандру рвет, на этот раз на саму себя, и ты видишь, как розовая патока, трепещущая, точно живой организм, окружает ее. Дыхание посредством кожи, которая и кожей-то не является.

Саламандра проскальзывает тебе навстречу. Нехило так весит, увесистая. Ее живот раздут, будто полон молодняка. Она мостится где-то рядом, и теперь ты смотришь ей в глаза. Вы обе ждете, что же будет дальше. В лощине. В непосредственной близости от чего-то столь чуждого.

По краю их лежбища скользит, поднимаясь, тень. Знакомые очертания. Темная Птица — рептильная ухмылка клюва, налитый кровью глаз, который ты можешь себе представить, несмотря на темноту. Но вторая кожа из сблева саламандры не дает тебе и пальцем пошевелить. Сейчас она дышит за тебя, словно ты покрыта с ног до головы кожными жабрами.

Темная Птица смотрит вниз, в лощину. У Темной Птицы долгий взгляд. Вы с саламандрой так неподвижны, так близки. Твой ум блуждает, проходя сквозь глаз саламандры и попадая в мир пульсаций и волн бесконечного парения и быстрого стремительного движения. Пробираясь сквозь сорняки, камыши и хладные камни на дне реки, ты чувствуешь трепет жидкости на теле, стесненное чувство от нее же. Это — мир, в котором ты тоже можешь дышать, хоть и совсем не так, как дышишь здесь, в царстве воздуха.

Темная Птица тебя не видит. Ты находишься

под водой, прочесываешь дно. Ты так далеко от лощины.

Кто-то рычит, выражая разочарование и провозглашая свою кровожадность. Темная Птица скрывается за краем ложбины. И ее тень превращается в обычную темноту ночи.

После ты с саламандрой омываешься в водах реки — тонкая пленка, все еще хранящая ваши формы, уплывает вниз по течению, слабо светясь, растворяясь.

Саламандра что-то пишет на воде. Надпись исчезает, потом растекается. Она просто откладывается в твоей памяти; ты будто находишься в эпицентре ряби. Как будто ныряешь сквозь точку спокойствия в глубокий омут. Как будто ты — морское чудовище.

— Я не понимаю, — шепчешь ты.

Но ты знаешь.

Теперь у тебя другая кровь. Саламандра что-то с тобой сделала. Ты чувствуешь себя каким-то образом помолодевшей, тебя не гнетет разлитый в воздухе запах бензина.

Саламандра квакает тебе раз-другой, а потом, огромная и тяжелая, ныряет в реку и исчезает.

Когда ты пишешь слово «демон» в дневнике, у него какой-то другой смысл. Ты вынюхиваешь

это новое значение, как зверь вынюхивает кровь. Что-то, чего не было там раньше, взирает на тебя со страниц.

Какая-то часть саламандры поселилась теперь в дневнике.

Ты никогда не завидовала своему создателю из-за ежедневной боли и отсутствия утешения. Недостатка ухода. Простуды. Жара. То, что ты должна сделать… это не легко и не трудно. Но ты все равно должна. Жизнь не предоставила тебе какого-то иного пути. Если он был, ты не можешь вспомнить. Если его не было, ты о том не можешь забыть.

Имеет ли это значение для лесов, дымовых труб или неба? Имеет ли это значение для саламандры, или странных бледных людей, или мышей на лугу, или оленей в поле? Имеет ли это значение для течения реки или улицы, или для того, как Город расширяется, или сужается, или заполняется дронами? Разве это имеет значение?

Теперь, после встречи с саламандрой, ты не знаешь, куда смотреть. Ты не знаешь, что делать. Перед тобой предстает ее глаз. Бросает тебе вызов. Слова, которые он говорил тебе на языке, который ты никогда не поймешь. Ты никогда не сможешь спросить его, чего он хочет или в чем

нуждается. Все, что ты можешь сделать, — попытаться ощутить себя в новом теле. Попробовать почувствовать, каково это — жить в воде. Что значит для тела общаться с миром так интенсивно, так плотно, в такой непосредственной близости — будто вы с миром одно целое.

Если ты рождена для этого, если ты подобна саламандре — наверное, это твой рай, как если бы рай снизошел на грешную землю. Черт побери, и ведь никто не оставит тебя в покое в собственном раю. Люди будут охотиться на тебя, желать убить, людям не сидится спокойно в собственных оболочках, им не хочется слушать, смотреть и слышать, им неприятно биение собственных сердец, и поэтому, даже будучи во временном покое, они все равно движутся, лишь бы его не слышать.

Когда ты останавливаешься, застыв, пригвожденная намерением во взгляде саламандры… тебе даруется откровение. Откровение значения. Откровение смысла. Ты не просто понимаешь, *как*, ты даже осознаешь, *почему*. Тебе открыт контекст.

Когда ты пишешь в дневнике, твоя боль утихает. Голова больше не болит. И даже сыпь исчезла.

<<Ее прошлое — достояние какого-то другого человека. Другой девушки — тусклой, скучной, обычной. Она думает о нем как о лишенной смысла сказочке. Когда-то, еще ребенком, она жила в коттедже на окраине города, на фоне дымящих в небо труб. С мамой и отчимом. Вот кем она была.

Даже тогда она знала, что в доме что-то есть, что-то живет под домом — просто не могла дать этому названия. В зависимости от ее настроения оно было добрым или ужасным. Но именно то, что находилось под домом, всегда вызывало споры между ее родителями. Именно эта штука под домом заставила ее настоящего отца уйти.

Через некоторое время она убедилась, что существо под домом прошло через туннель и проникло в ее мозг. Когда она рассказала об этом матери, еще до того, как эта мысль заразила ее, мужчина в больнице со сверкающей на манер водопроводного крана улыбкой сказал ей, что это неправда. Она ему не поверила. Иначе зачем бы ее мать продолжала спорить даже после того, как отчим ушел? Иначе зачем в голове девушки звучал еще один голос?

Настоящий отец девочки ушел от нее при рож-

дении, и все, что осталось после него — несколько игрушек, купленных в долларовом магазине неподалеку от караоке-бара, в нескольких милях отсюда. Там он и познакомился с матерью — еще до того, как ту уволили, и она пошла работать в фастфуд. Девочка не хотела питать к этим игрушкам хоть какие-то чувства, но ей нравилась пластмассовая лодка, которую ее мама называла «ковчег», а она сама — просто лодкой.

Когда отчим девочки увидел лодку, он сказал ей, что когда-то у него была такая же, только настоящая, и что когда-то он жил на побережье. Когда он не был пьян, то рассказывал ей истории о приливных бассейнах, о том, как прогуливался среди них на закате и находил сокровища. Он показывал ей фотографии и картинки в книгах. Как будто хотел, чтобы его прошлое стало ее будущим.

Девочка никогда не увидит океан. Он был слишком далек от города. Слишком далек от туннеля, который стал ее домом. Но она помнила, как играла с лодкой в ванне, брала свои игрушки и пластиковые безделушки и создавала те приливные бассейны, чтобы изучать их. У нее была живая фантазия. Ее мать всегда так говорила. Иногда — цедила сквозь зубы. Несколько раз наказывала

ее за это. Именно тогда было так важно сосредоточиться на море — и на том дне, когда она сможет жить в маленьком домике на берегу.

Рассказы отчима были немногочисленны, но для девочки они значили слишком много. Она знала это, но ничего не могла с собой поделать.

Однажды, в редком приступе доброты, на следующий день после того, как отчим покинул их, **мать** *поставила в ванной калейдоскопический светильник, и тогда девочка вела лодку через море ванны при свете звезд, порождаемом им.*

Именно тогда тьма начала обретать форму и очертания в ее сознании, и она дала тому, что жило в **доме** *и скрывалось в* **Городе**, *истинное имя:* **демоны**>>.

– 2 —

В ту ночь, в ту ночь… Либо — в эту, либо — в ту. Ты теряешь след. Распалась связь времен. Распалась связь симптомов. Весь мир — распался. Но в ту ночь спустилась тьма, и ты убила бледного человека, а потом — еще одного. Оттащила их к заводским трубам. Их тела, волочась по шелковистому подлеску, издавали тревожный звук, будто шорох линяющих змей по лесному ковру. Но тварь, что тащила их, была грубой, жесткой и по-

трескавшейся, и ночь не имела для нее значения. Потаенные силы этого мира сплелись в парадоксе. Уже не тьма против света, а тьма, что воюет с тьмой, что воюет с тьмой, что воюет с тьмой.

Ты вылавливаешь из дневника знакомые английские слова, сшиваешь вместе и придаешь сшитому смысл, *своего рода* смысл. Ты думаешь, что он удержит тебя на месте, точно якорь — несмотря на то, что слова эти, взятые по отдельности, сносят тебя все дальше в море.

«А что, если бы мир был живым? Весь мир — и все, что в нем есть? Что, если бы я могла создать такой мир, и объединить всякую тварь живую столь сокровенной связью?»

И так темно в туннеле, из которого ты выходишь, и так тихо звучат его голоса. Вспомни — было время, когда другие боялись тебя так же, как тварь, что тащит трупы бедных бледных людей через лес.

«То, что люди сделают в будущем, должно быть лучше прошлого. Если мир хочет жить, мы должны стать лучше».

Там, в сумерках, ты снова представляешь себе саламандру, спрятавшуюся у корней деревьев на берегу реки. Саламандра в безопасности в подводных гротах, в мутной воде, среди речных трав,

водорослей и гладких скал. А наверху последний бледный человек бежит в поисках спасения через луг, поля и лес. Темная Птица следует за ним быстро, она уже совсем близко, и ты понимаешь, что звуки, с которыми она волочит свою убитую ношу, доносятся из прошлого.

«Иногда для меня попросту не ясна конечная цель. Но я знаю, работа должна продолжаться. 10, 7, 3, 0».

Птичий крик, кроваво-красные глаза, запах серы, вопль — победа одержана. Еще один бледный человек умер. Ты представляешь, как когти рвут полупрозрачную кожу и касаются сердца, заходящегося в последний раз. Нежному, как лягушка-древолаз. Неспособному противостоять неизбежному.

«Я ищу во внутренностях, вскрываю черепа… верю — оно где-то там».

Ты находишь влажное сердце леса, где мох и папоротники сплелись воедино, где земля уходит книзу волнительными изгибами, где непрестанно течет вода. Где черные радужные стрекозы прорезают воздух, замирая неподвижно, — и вновь срываясь в движение. Остановись, мгновение, ты прекрасно — плоды твои срывать небезопасно… вполне возможно, это все — лишь

сказка.

Ты находишь себе приют под гнилью поваленных деревьев. Нора — глубокая, точно лисья. Прячешь пожитки. Кладешь дневник в пакет, закапываешь в суглинок подальше от своего укрытия. До следующего раза.

Писать быстро не получается, потому что для прирастающего потока слов тебе приходится использовать кровь. Ты это чувствуешь. Понимаешь, чем это чревато, но не останавливаешься — смутные ощущения настаивают на необходимости таких записей. Саламандра что-то сказала тебе. Насчет обязательств. Что-то о побеге, или о невозможности побега, или о том, что наступит время, когда она тебя не сможет защитить. Или просто ты так думаешь — что она тебе что-то сказала. Кругом так много демонов, приходится сосредоточиться, чтоб вызнать все наверняка.

Ты любишь, когда земля касается твоей кожи. Ты любишь, когда вода касается твоей кожи, а лес — это своего рода блаженство. Или, может быть, дело только в том, что саламандра любит все это. Разве это имеет значение? Места, укрытые утешающими сухими листьями. Суглинки и лишайники, дождевые черви и улитки, грибы и плесень. Грибы, как фонарные столбы, освещаю-

щие мир. Когда ты пишешь в дневнике, кажется, что твоя кожа открыта для сообщений, которые лес посылает, сообщений, которые ты внедряешь в кожу. По-своему здесь — тоже царство приливных бассейнов, а лес — остров посреди опустошения.

Ночь, светлячки, над головой — лунный шар, и даже, как тебе кажется, лис, глядящий на тебя сверху, в короне из листьев и темных ветвей. Лисья морда бесстрастна, отстранена, он смотрит на тебя с расстояния в многие световые года. Он так далек… почти так же далек, как сама луна.

Позже. Ты заснула или проснулась. В час полночный, в час поздний — разницы нет, не укрыться. Но лес теперь полон света. Волны красного мерцающего сияния — от резкого линейного источника, и в самом центре той линии — далекая фигура. Надвигается, все ближе и ближе, ползет по теням древесных стволов. Нет разницы между светом и фигурой, ведь фигура будто бы сделана из света и протягивает к тебе бесконечные руки-лучи. Но ведь нет запаха гари. Не слышно ни потрескивания, ни шипения. Только приглушенный звук чьих-то шагов по влажным листьям и веткам.

Твоя мать. Из своего укрытия, глядя поверх

упавшего бревна, ты видишь, что фигура — это твоя мать. Яростное, обезумевшее пламя захлестывает лес с каждым ее шагом. Распростав почерневшие руки, огонь расправляет крылья.

Мольба. Просьба. Теперь ты слышишь ее сквозь пламя. Она кричит, зовет тебя криком по имени. Просит тебя помочь, остановить боль. Перестать прятаться.

Что есть настоящее, как не версия прошлого? Ты обмочилась от страха. Так сильно сердце стучит в ушах — будто давление резко скакнуло вниз. Теряешь сознание. Находишь вновь. Примерзаешь к месту, все еще прячешься. Недолго тебе осталось. Она уже близко. Она так близко.

Тонко очерченные черты лица твоей матери, столь отрешенного. Как будто она слишком долго ходила по морям в шторм; суша так и не забрезжила впереди, и она решила не останавливаться — идти вперед хоть сквозь воду, хоть сквозь огонь. Надо найти блудную дочь. Чтобы объясниться? Чтобы устроить ей взбучку? Что так, что так — страшно; ужас в тебе нарастает.

Огонь зачаровывает. Огонь зовет тебя по имени. И огонь, и мать — одновременно. Но ты не можешь бежать. Нельзя выдать себя.

И вот мать встает на краю твоего убежища и

смотрит сверху вниз. Ее зеленая бархатная ночная рубашка горит, а глаза похожи на угли. Ее протянутая к тебе рука — край темного птичьего крыла, выглядывающий из горящей свободной ткани ее рукава. Ее лик — это морда рептилии, совершенно инопланетная, и ее когти бороздят твое плечо, и ты так потеряна — так, что уже никогда не найти. Потерянная, не нашедшая спасения, ты зарываешься в лесную подстилку, набиваясь в гости к личинкам жуков, кротам и другим детям подземелья.

И все-таки — отталкиваешься, пытаешься подняться, спотыкаешься, падаешь на ствол ближайшего дерева — корни, торчащие из земли, держат крепко, не пускают. Когти рвут твое плечо, из него сочится кровь, когти втягиваются перед новым ударом. Темное крыло, горящие красные глаза. Она сдерет с тебя кожу заживо, отнимет душу. Ведь именно так поступают демоны.

Вот тогда-то саламандра вылетает из темноты — теперь она даже крупнее, чем раньше, — и врезается всем телом в темное крыло, и они падают, борясь — молчаливые ужасные монстры, — обратно во мрак.

И тогда ты снова обретаешь дар движения. Хватаешь дневник. Хватаешь пожитки. И бежишь.

<<Ее отчим имел обыкновение красться вокруг коттеджа, как будто фантом, тень, призрак, ступающий легонько преследователь. Он развешивал по стенам фотографии своей семьи в рамках, отмечая свою территорию, но сам зачастую будто бы оставался невидимым. А в один день — как корова языком слизнула. Был — и вот уже его нет; **демоны** *увели.*

Как-то раз **мать** *объяснила, что он ушел, потому что «не хотел нам страданий». Но девочка знала, что это неправда. Наверное, так он просто облегчил себе житье-бытье. И потом, разве может призрак громко препираться с* **матерью** *за закрытыми дверьми спальни? Когда он ушел, все, что осталось — приливные бассейны в голове девушки и портреты, свидетельствующие о том, что был кто-то, кто их когда-то повесил на стену.*

Его отсутствие открыло дыру в ее жизни, о существовании которой она и не подозревала. Как будто он был затмением — а едва отступил, так свет сразу же пролился на руины. Отец, которого она никогда не знала, которого никогда не было в ее жизни и о котором ее **мать** *говорила только неопределенные вещи, навроде «он был хороший человек» или «он любил спорт», да под такие-то*

критерии много кто подойдет. Неужто он взаправду был настолько заурядным?

Наедине с **матерью** *ей стало хуже. Нет,* **мать** *была все та же — женщина с морщинистым лицом и взъерошенными светлыми волосами, старавшаяся изо всех сил большую часть времени, заливавшая по утрам хлопья молоком или апельсиновым соком, но иногда будто пробуждавшаяся от наваждения и неизменно находившая способ обвинить ее в чем-нибудь.*

Мать *сказала, что у нее нет фотографий настоящего отца девочки. Но однажды девочка порылась в ящиках комода, чтобы взять пару* **маминых** *носков, и обнаружила стопку старых черно-белых снимков сурового вида* **людей** *с узкими лицами в строгих черных костюмах. Она знала, что это не их семья и не семья ее отчима. Они не были похожи ни на кого, с кем бы она хотела встретиться. Они выглядели, если подумать, как* **демоны**. *Такие же малоподвижные и нездоровые, как* **демоны**, *заселившие Город.*

Потом **мать**, *теряя дыхание, распахнула дверь комнаты девочки и крикнула:*

— Да это ты все и устроила! Это ты — **демон**! *Он ушел, потому что понял! Да лучше бы я тебя и не рожала никогда!*

Утром **мать** *вела себя по-другому, уже забыв о том, что ее* **дочь** *была* **демоном**. *Но сама девочка твердо уяснила сказанное ею>>.*

– 1 —

Темная Птица кричит от боли, мчась сквозь лес — ее крыло после нападения саламандры сломано. Ее вопли удаляются в сторону фабрики — будто та для птицы спасительный маяк. Ты же остаешься у реки — близ саламандры, которая снова меняется. Не от полученных ран, а по собственному выбору, в силу жизненного цикла. Хоть это ты понимаешь.

Огромное тело рядом с тобой, поглощенное рекой, которая становится все настойчивее, тянет существо. Дергает за веревочки, за узлы тела. На твоих глазах саламандра начинает распадаться — хвост рассыпается на тысячи крошечных извивающихся саламандрочек, а ведь, казалось бы, только что был един.

Конечности и туловище осыпаются живым красным потоком в реку, и этот поток охотно подхватывает водоворот. Вскоре остается только глазастая голова — она смотрит на тебя до самого конца, пока распад не захлестывает и ее тоже, и все ее частицы уходят в воду — теперь река

кишит миниатюрной жизнью.

Зрелище так радует. Ты так рада, что на время забываешь даже про боль. Ты видишь реку, полную извивающихся красных тел. Крошечные глазки, такие яркие, смотрели на тебя дружно, а потом их хозяек уносила река. Они уносились прочь, меняя и саму реку, и весь этот мир. Воды реки объял огонь. Рассеянный и разобщенный, но в таком разъединенном состоянии — даже более могучий.

Ты не сразу поняла, но Темная Птица приближалась вновь. Ты потеряла много крови, и рана слишком глубока, слишком много яда попало в тебя, чтобы саламандра могла залечить. Нет тебе спасения. Но у нее есть план, замысел, коим она с тобой поделилась — шепотом, напоследок. И этот замысел ты готова принять.

Все равно ничего другого не остается. Ничего не попишешь, и ты не в силах что-то предпринять. Все уже свершилось давным-давно; все предопределено.

<<Жаркий весенний день, листья на деревьях умирали, и никто не мог догадаться, что их смерть и была всему причиной. Девочка вернулась из школы, вышла на заднее крыльцо и застала там мать нервно расхаживающей взад-вперед.

Никакого предупреждения не было вынесено заранее. По-видимому, и мотива-то никакого не было. Может, так действовал яд, нацеленный на мозг и занесенный в кровь. Может, так нашел себе выход некий потаенный гнев, захлестнувший ее мать безо всякой на то причины. Может быть, может быть.

– **Демоны в сарае! — сказала ей Мама-но-вроде-бы-и-не-Мама.** *— Они там заперты. Я поймала их в ловушку. Бери бензин, лей, разводи костер. Убей демонов. Ну же! — По этим красным змеиным глазам девочка сразу поняла: неповиновение грозит ухудшением и без того дрянной ситуации.*

Так что она отнесла канистры с бензином к сараю и полила из них дощатые ветхие стены. Сарай был маленький — ничего, кроме демонов, туда не помещалось. Внутри — сплошь грязь. Ничего плохого от того, что он сгорит, не будет, рассуждала девочка. Если Не-Мама успокоится — ладно. Если один спокойный вечер будет стоить лишь какого-то завалящего сарая — ну и пусть.

Запах был резким, как и голос **Не-Мамы***, поэтому она поспешила за спичкой — чтобы от запаха и от голоса этих сбежать, пусть ненадолго. Сарай занялся ярко-ярко — и сразу же стали*

слышны рычание, сопение, приглушенные крики. За считанные секунды пламя по стенам доползло до самой крыши. Та всегда была хрупкой, сухой и прогнившей. Больной.

Гул пламени обернулся человеческим криком, но было уже поздно. Пока Не-Мама смеялась, танцевала рядом с девушкой и кричала:

— Он вернулся! Вернулся! Но он был демоном! Вот я и заткнула ему кляпом рот! Вот я и связала его!

Сарай горел, горел, а потом потух, почернел, осыпался пеплом.

Отчим девочки был внутри. А был ли? Ее **Не-Мама** *заперла его там. Заперла ли? Если бы девочка не заглянула внутрь, она бы просто поверила в ту реальность, что не заставляла бы ее кричать по ночам, и преспокойно жила бы в ней. В той, где ей не пришлось бы таскаться по исправительным учреждениям, бросать нормальную школу, терять навсегда душевный покой. В той, где Не-Мама и демоны мало-помалу не сделались чем-то скучным, предсказуемым, закутанным в туман неопределенности — и даже это, вот забавно ведь, показалось ей своего рода утратой.*

Она так и не оправилась, но разве получится — от такого?

Но подумаем-ка: возможно, жаркий весенний день, предвестник беды, свел их обеих с ума. Если мир — это **демон***, алчущий убить всех, какое это имеет значение? Была ли толика правды в словах* **Не-Мамы***? Может быть, она сожгла его в сарае, потому что знала, что произойдет, и не была достойна этого? Недостойна пережить гибель мира? Если б она хотела умереть, то могла бы выбрать другой путь.*

Ноктурналия. Ноктурналия. Ноктурналия. Гигантская рыба ныряла, ныряла глубоко, задерживаясь в глубине под нею. Ждала момента, когда можно будет поглотить ее. Пожрать ее. Ждала, надеялась.

Она так долго говорила себе: да плевать, да будь что будет. Она так долго верила, что **демоны** *ушли вместе с* **Не-Мамой***, чья смерть наступила через несколько месяцев после инцидента с сараем. По крайней мере та при жизни не увидела свою дочь, скорчившуюся в туннеле под мостом и безумно корпящую над дневником, который не нес, не мог нести в себе никакого смысла. Ничего ни для кого не значил.*

Сарай сгорел, но… кто там был-то? Тело, которое выволокли с пепелища, принадлежало кому-то другому — не ее отчиму>>.

— 0 —

То, что можно сказать. То, о чем нельзя говорить. Обе стороны монеты изведаны. Дымовые трубы все еще изрыгают дым. Тем не менее, ты сидишь в туннеле под мостом, и никогда его не покинешь. В нем ты не будешь одна. Ты жить будешь вечно, даже и после смерти своей — никто не спросит, хочешь ли ты этого, осознаешь ли все последствия. У тебя останется лишь право помогать или не помогать. На протяжении всех версий — где ты есть и где тебя нет.

Тьма наползает с другой стороны реки: саламандра взаправду исчезла, и воды снова спокойны. В темноте, над туннелем, на мосту, застыл лис — просто еще одна тень. В конце туннеля — свет: наверняка просто галлюцинация, но свет всяко лучше, чем тьма, чем его отсутствие: сияющий Город, окруженный садами и ручьями, закутанный в дымку метели, овевающую портал — окно, световую глобулу. И ничего не остается, кроме как подойти поближе — ведь Темная Птица все еще преследует, висит на хвосте. Город впереди, ждет, и ты знаешь, что это за Город.

Когда ты входишь в это видение, тебя тоже окутывает снег. Хлопья падают сверху бесконечным

потоком, и ты чувствуешь мягкое, приглушенное дыхание и недобрый взгляд чьих-то глаз. Но ты не боишься. Тебе не страшно. Таков подарок от саламандры — тебе. Или не подарок — может, ты сама это у нее забрала.

Ты ступаешь в раскинувшиеся впереди снега. Сразу тяжесть будто спадает с плеч, и ты проходишь через туннель, через окно, и выходишь, с трудом сдерживая слезы, в пустынный Город. Чудесная метель не прекращается, и только теперь ты понимаешь, что она — из пепла, не из снега: здание Компании горит, кругом, куда ни кинь взгляд — поверженная туша циклопического Левиафана.

Впереди — ущелье с почерневшими деревьями, которого быть не должно. И разрушенный Город, которого тоже быть не должно. Оступаясь, ты бредешь, минуешь Балконные Утесы и сходишь к загрязненной реке. То и дело спотыкаешься, падаешь, ударяешь лицом в грязь. И поднимаешься снова.

И будет стена глобул. И будет человек с мышью в горле. Темная Птица вот-вот разорвет тебя на части, и никто не сможет ее остановить. Они будут просто стоять и смотреть. Странный человек произносит твое имя, и звук его пугает. «Тебе не

стоило этого делать. Не стоило брать дневник». Он кивает темным птицам. Кивает мужчинам, что стоят за его спиной. И они налетают все разом. Безжалостные.

Но саламандра тоже там, на берегу реки, в твоем сознании. И ты отдаешь себя ей. И она обволакивает тебя, заключает в прохладные объятия, кожей своей выдыхая в тебя. Говоря с тобой на том невыносимо прекрасном языке — неизвестном, непознаваемом. Непостижимом и глубоком.

Столь великий, вековечный свет; молекулы воздуха проносятся под звуки величественного оркестра.

В тот момент саламандра забирает у тебя все, прежде чем они успевают что-то с тобой сделать. Все, до последней капли. Горький яд души и сирость, несовершенство и нужду — все слагаемые твоей неизлечимой раны, все то, что делает тебя человеком, и потому — ограничивает. И все это она отдает твоим нынешним убийцам. Тем, кто всего этого заслуживает.

Ни она, ни ты уж не будете прежними. Никогда. Вы обе изменились — каждая по-своему. И все же, в этот момент, пред началом долгого пути, ты узнала, что не одинока. И больше никогда

одинока не будешь.

Тебе никогда не стать частью истории, но история — часть тебя. И даже несмотря на то, что окончательное избавление тебя еще только ждет впереди. Даже несмотря на то, что ты знаешь, что случилось с тобой на самом деле — саламандра рядом. Дарует свободу. Готовит тебя.

К тому, что грядет дальше.

<<Звали ту девушку Сара. Она не думала, что ее бродяжничество столь затянется, столь продлится, обретет столь иную природу. Она совсем не хотела становиться **демоном***>>.*

7. Труп

А были времена, когда посреди пустыни не было никакой Компании. И Города тоже не было. Только речка-чистоструйка тут бежала. И по берегам ее росла трава, и над ней парили птицы, и пресмыкающаяся живность населяла этот край. И сама равнина, как понимаете, не была пустынна — здесь рос тростник, росла трава, и в зарослях кипела жизнь.

Первая рыба из того же, что и Бегемот, рода вышла из этой реки. Уселась на глинистом бережку и вдыхала-выдыхала воздух, пока утреннее солнце нагревало землю, водянистую грязь. От этой рыбы произошли другие рыбы, а от других рыб — еще более другие рыбы. Они росли в размерах и количестве. Они охотились, на них охотились. Например, их ели цапли, а они сами ели головастиков и маленьких ракообразных.

Иные из сородичей Бегемота вырастали Левиафанами и бродили по земле в поисках пищи, прежде чем вернуться в святилище реки. Область равнин на краю того, что должно было стать Городом, заболотилась, и тогда появились стрекозы и всякие другие живые твари, коих раньше

там не было. Они плодились, размножались и проживали долгую жизнь.

Вперед… из кладки мягких прозрачных яиц. Вперед — с тростникового прутика на дно разлившейся реки. Бегемот рванулся вперед, подплыл к берегу и посмотрел на Город во младенчестве его — он за болотистым краем, что однажды станет пустыней.

Вперед: что я такое? Кто я такой? Как я со всем этим связан? Какова цель моя? Что это такое — данное мне в ощущениях? Почему оно такое красивое? А что такое «красивое»? Почему я не знаю? Чего еще я не знаю? Когда же я это узнаю? Узнаю ли когда-нибудь? Может, и не стоит мне знать?

Вперед рванулся крошечный Бегемот, уклоняясь от хищной жабы, юркнул-прополз между прудов-отстойников / плюхнулся в воду, ловко заработал плавниками / грязь ослепительно сверкала на солнце / он резвился с другими, себе подобными / покуда они все не исчезли / не канули в чьи-то пасти / не затрепыхались во чьих-то когтях / покуда не остался один лишь Бегемот / извивающийся в грязи / всем своим существом настороженный / ждущий, что и на нем вот-вот сомкнутся чьи-то жадные челюсти / однажды он

и сам обзаведется такими же

и ведь на самом деле, если рассматривать это как вопрос веры / Бегемот никогда по-настоящему не был одинок / не с таким количеством союзников на земле, небе и воде / это была не пустота / это были не звезды, ничем не стесненные / и вдали / за темной равниной / здание горело и никогда не превращалось в пепел / сердце заходилось, но билось все равно

лежа на грязном камне, Бегемот радуется солнышку / следит, как стрекозы носятся над болотом / их крылья такие тихие / их тонкий неуловимый узор / как бы насмехается над всем, что из себя представляет Бегемот / даже маленький / стрекоза, точно беспилотник, парит в воздухе / а Бегемот парить не может / разве что во снах своих

Она убегала от Бегемота, даже если он лежал неподвижно в своей выгребной яме и хрипел. Небо теперь напоминало серебристое зеркало глубокого пруда. Она бежала от Бегемота прямо по земле, забирая его часть, оставляя все, что можно не брать.

Она брала все, что могла, потому что однажды не будет ни здания Компании, ни Города.

Вперед: ты когда-нибудь жил так, как я хотела, чтобы ты жил? Была ли у тебя когда-нибудь

потребность столь великая, что сама миссия и цели ее казались тебе даже более реальными, чем ты сам? Ты когда-нибудь чувствовал себя призраком? Ты когда-нибудь достигал такой точки, когда одолевали сомнения — а существует ли еще твоя цель? И все-таки ты был здесь…

И чужой голос истончился, и вылетел из него точно пробка, и Бегемот понял, что на самом-то деле все время царила тишина. Тишина. Тишина. Ничто даже не двигалось, кроме ветра. Ничто не двигалось, кроме падальщиков из пруда, которые пришли на разведку, — чем тут можно поживиться? И застыли в ужасе. Все, чем можно было поживиться в достатке — тишина.

И вот я пришла в себя. Поползла, а потом пошла — прочь от наших тел. И я вернулась в Город, чтобы жить своей жизнью — жизнью, которой у меня никогда не было.

Огромная туша лежала рядом со зданием Компании. Она воняла несколько дней подряд. Туша рассыпалась. Падальщики кормились ею месяцами напролет — даже теми ее частями, где буквально остались одни только шрамы. Не осталось ни шрамов, ни даже костей в итоге — все растащили, подчистую, без следа.

Никто из них не остался прежним, никто из них

прежним никогда уже не будет. Они оба изменились, всяк по-своему. И все же, в этот момент, пред началом долгого пути, пришло осознание. *Не одинока. Никогда больше одинокой не буду.*

О, синее озеро юности, подернутое зеленой ряской. Слепящая зеркальная синева. Никак не упомнить. Никак не забыть.

Большая рыба ударяется о воду, уходит вглубь — там, где цапли не достанут. Выглядывает из камышей — еще раз и во веки веков.

Нырнула.

Пропала.

Не пропала бесследно.

8. Темная Птица

Убийственная хватка так и не отпустила до конца занесенный влекомым дыханием ветра песком полумертвый Город на берегу однозначно мертвой Реки. Как рычаг ходит в залитом подсыхающей кровью пазу, как маяк то вспыхивает ярко, то утихает — убийственная хватка то безжалостно сдавливает, то отпускает. Всюду по проклятой пустоши — трупы и память о трупах, каждый в своих координатах, каждый будто потайной экспонат в хранилище заброшенного музея, оставленный где-то на память. А память — это и есть убийственная хватка.

Лица, обрамленные блаженным покровом морской соли и крошащихся окаменелостей. Высохшие черные и красные трупы, мухи, личинки. Амнезия пьяного Творца — он замахнулся на свое дитя, а потом забыл, зачем. Забыл — и Темная Птица тоже забыла. И не должна уже помнить.

Убийственная хватка сумерек на одиноком мысу. Убийственная хватка в колючем шипении помех. Убийственная хватка в импульсе и ритме черных кузнечиков, стрекочущих и прыгающих по песку. Пирующих на трупах, или на том,

что вот-вот станет трупом, чуть-чуть отползет, прохромает в сторону и издохнет. Сигналы кузнечиковых тел царапают мозг Темной Птицы.

Она не помнила, как рука оторвалась от тела. Убийственная хватка. Свет — как импульс, затихающий в темноте темной птицы, затихающий долго. Беспамятство. Одержимость. Волоча сломанное крыло, она танцует жертвенный вальс. Да, в следующий раз надо будет потренироваться, прежде чем… прежде чем. Предвестница будущего тащит сломанное крыло, точно епитимью, сквозь марево знойного дня. И никаких больше указов и осуждений свыше, одно только вечное небо в голове и над головой.

Жужжащий голос команд Компании, противовес сломанному крылу, звучал все реже и реже. Внезапный рывок превратился в выпад, пробивающий череп Темной Птицы. Какое-то мягкотелое существо взялось панцирем, едва угодив ей в мозг. Пойманное в ловушку костью, ищущее выход, проявившееся в скрученном сломанном крыле, чей край стал бритвенно-острым. Быстрый острый клюв, демоны с двойными когтями.

7 7 7 7 7 7 7

3 3 3

10, 0

«Мы будем сражаться с 3, мы будем жить в пределах 7».

«Мы будем Компанией и в 0, и в 10».

Потрепанный дневник с цифрами и столбиками букв лежал в темном птичьем гнезде, там, где она отдыхала ночью. Гнезда были спрятаны по всему Городу, и это было удобно. Но для отдыха, не для сна. Темная Птица никогда не спала. Чудовище, живущее внутри Темной Птицы, никогда не будет спать. Оно не давало ей спать, и это возбуждало в ней ярость.

Слова, которые тоже звучали как цифры. Координаты, запущенные в нее, застрявшие в плоти иной жизни, скрытые внутри нее. Сдавшие свою позицию, ставшие ее позицией. Они извергались на песок, как мягкая галька или личинки. К тому времени они уже превратились в жидкость, шипели, сворачивались на солнце. Ничего, кроме крови. Никакой закономерности, которую можно было бы различить. Никакой закономерности, которую можно было бы ухватить. Нет задачи, которую можно было бы решить, кроме крови.

10, 7, 3, 0.

Если Темная Птица слишком долго задерживалась на цифрах, отклонялась от безжалостного патруля и заданных директив, монстр поднимал-

ся изнутри, и сломанное крыло выкручивалось все сильнее, причиняя боль.

Ищи злоумышленников. Будь бдительна. Мешай этим троим всякий раз, как они являются — запрограммированные и обреченные, нуждающиеся, разделенные с нуждой своею. Сейчас зданию Компании почти ничего не требовалось, кроме отдыха, автоматизации, установления границ, постоянного захода солнца. Сверкающий ятаган. Клюв, обмакнутый в кровь.

Убийственная хватка.

Она берегла дневник, не зная, зачем, потому что никто не знал, зачем это надо. Она могла читать его, даже не открывая. Потому что даже Темная Птица может скучать в ожидании очередного убийства. Потому что команды, незаметно просачивающиеся из Компании, приходили все реже и реже, а предварительные установки со временем размывались. В основном они пробуждали в ней тягу к насилию, но слабенько-слабенько, так что если она учиняла над кем-то расправу, то был ее собственный выбор. Выбор Темной Птицы.

Где-то в ночи возле прудов умирал Левиафан, убитый летающим чудовищем. В ночи что-то восстало из туши в ее последние мгновения, и Темной Птице показалось, что она узнала это

явление. Человек. Один из троицы, но все же — не один из троицы. Но Компания не велела ей вмешиваться, и она знала, что это значит — знала, что летающий монстр взял на себя ее роль. И это заставило существо внутри нее взбеситься.

Почитай мне сказку, о раздающая приказы машина, держащая меня убийственной хваткой. Почитай сказку, чтобы могла я уснуть. Пускай хотя бы существо внутри меня уснет.

Любая история подойдет.

~ Волшебный Сад ~

У меня есть волшебный сад в потайной комнате. У меня в голове звучит голос бога. И голос отца — тоже. Но волшебный сад спрятан. Там я держу дневник — покамест, позже все изменится. Там я исправляю ошибки — они сгружены в уголке сада, полного прекрасных зверей и цветов. Моя утка тоже там. Помню, когда она еще была утенком. Когда пугалась, если я навещал сад, — а ведь я поместил ее выше остальных, туда, где она процветала. Среди моих ошибок — столько всего съедобного. Сад был изобилен и щедр, и я держал его в тайне.

Когда отец привел меня в Компанию раз и навсегда, я не сразу услышал, как ее бог обращается ко мне. Слышал только отца — он поручил мне

разбираться с забракованными, с отбросами. Резать их, топить, травить. От каждого по жизни, каждому по смерти. Но делал я это не по своему желанию, я-то наоборот хотел их всех выправить. Мне просто не разрешали. Компания не хотела выправлять их, и мой отец, соответственно, тоже.

Понимаешь? Ничто не будет процветать, не будучи загубленным. Ничто не живет, не будучи сперва мертвым. Никуда не сбежать было от гласа Компании, от гласа божьего. Ведь звучал он громко. Компанейски. Божественно. И кто скажет, что из этого лучше? Я — точно не скажу. Если не бог — значит, Компания, если не Компания — значит, призрак моего отца, свернувшийся калачиком в моем мозгу, в разуме, в голове. Я бы его никак не вытащил, даже если бы тысячу дырок в черепушке насверлил. Он оставлял меня в покое, только если я слушался его.

Глас божий. Глас Компании. И то и другое пришло позже, но прозвучало так громко, как рев рога. Пришло после того, как отец усыпил меня на некоторое время, а когда я проснулся, то провел рукой по затылку — и почувствовал грубые швы. Тогда Глас прозвучал достаточно убедительно. Его никак нельзя было избежать, так же как я не

мог избежать своего отца, и все же, все же, мне некому было отвечать — кроме отца.

И Глас Компании велел: РАСШИРЯЙ И ПРИУМНОЖАЙ. И он провозгласил: ИСПРАВЛЯЙ ОШИБКИ СВОИ. (То же самое говорил отец, но он-то Компанией не был.)

И Глас Компании велел: БЕРИ ДРУГИХ — ПЕРЕДЕЛЫВАЙ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ СВОЕМУ.

И Глас Компании провозгласил: ЕСЛИ НЕ ПРЕУСПЕЕШЬ — МЫ ПЕРЕДЕЛАЕМ ТЕБЯ.

А я только хихикал в ответ сквозь слезы, потому что отец каждый день переделывал меня. Он бил меня по щекам, пинал ногами и кричал на меня, когда я ошибался, а я так часто ошибался, потому что не знал, как сделать правильно. И он вкалывал мне что-то прямо в голову, и я просыпался на каменной плите. И он вонзал кухонный нож мне в сердце — и снова я просыпался на плите. И он ломал мне ноги стальной трубой, а потом ломал шею — и я просыпался на плите. И все это — вдали от остальных, с которыми он спокойно беседовал, сверяясь со старинными фолиантами и, возможно, снимая очки, чтобы в глубокой задумчивости погрызть дужку.

Мы вылечим тебя, непременно выправим. Не обращай внимания на боль, сынок, ибо такова це-

на выправки. Все, что умерло, можно возвратить к жизни, так что не страшись небольшой боли, сынок. Так он говорил, а потом душил меня пластиковым мешком, потому что у нового выродка было три ноги, а не четыре.

Я бился в агонии, но агония, через которую проходишь так много раз, — это уже какой-то другой вид страдания.

Я тебя породил, я тебя и исправлю, говорил он как ни в чем не бывало, но я-то знал, что моя мать тоже породила меня, и если мы были мертвы и милосердны, то не потому, что это было ложью. Но потому, что это было правдой, и мой отец не мог вынести разделения ответственности. За ошибки, которые он непременно исправит.

Поэтому отец вычистил меня от всех воспоминаний о матери — всего меня, по частям. И теперь я не могу сказать, как она одевалась, чем пахла, какого цвета были ее глаза. Она обнимала меня часто или никогда? Кормила со стола — или объедками, брошенными на грязный пол? Ничего уже не упомнить, потому что ничего не осталось.

Так что мой отец исправлял меня и продолжал исправлять, и в какой-то момент я был достаточно исправлен в его глазах — возможно, потому

что я стал больше, возможно, потому что ему стало скучно. И я не должен был умирать каждый день, но был вынужден работать, заставляя умирать других. И потому что я знал, что значит умереть, и потому что я знал, каково это — вернуться к жизни, я старался одаривать их смертью точно милостью, чтобы все это было не зря. Всему надлежит быть фиксированным, утвержденным, определенным, прямо как числа, особо уважаемые Компанией: 10, 0, 3 и 7. Всему надлежит не противоречить сим числам. И как я понял позже, отец был столь запуган Компанией, что выправлял меня просто из страха ей не угодить, утратить контроль над этой далекой сущностью и ее цифрами, и остаться с одним лишь мной.

А может, ему просто нравилось причинять мне боль, и не было никого, кто смог бы ему помешать.

Послушай:

Жил-был однажды мальчик-мужчина, и был у него волшебный сад. Он его спрятал за лабораторией, и поначалу то была простая кладовка, которой никто не пользовался. Туда загонял его спать отец — после того, как мать умерла. Мальчик-мужчина по имени Чарли — пока еще не Икс, — все совершенные ошибки прятал туда. От-

части — чтобы они больше не умирали. Отчасти — потому что Чарли верил, что может их спасти. Не в лаборатории, не в стене глобул, не в прудах-отстойниках (которые ничего сами по себе не исправляли, а лишь позволяли неисправленным сбежать во внешний мир и беспрепятственно загрязнять его).

Свои ошибки Чарли переделывал в нечто хорошее, и хребет его трещал куда реже от работы в саду — по сравнению с работой в лаборатории. В том месте все были счастливы. Чарли делал их счастливыми, а некоторых, коим улыбаться на роду не было написано, даже научил улыбкам. Чарли радовался, когда они не грустили, потому что если кого-то ест грусть — нельзя говорить «ну и пусть».

И в священном том саду росла маленькая империя чудес. Здесь симбиотические связи спасали обе стороны от гибели, и если ты, пусть даже и трепеща, тянулся к свежей, неиспробованной жизни — ты жил. Там были растения, которые образовывали миниатюрные соборы для ряда голов, которые Чарли не мог прикрепить к торсам, и скамейки жесткой растительной жизни, светящиеся красным, зеленым, фиолетовым, на которых лежали торсы, в которых Чарли под-

держивал жизнь, прикрепив к мозгам. В этом заросшем сорняками саду росло все, что только можно, — птицы прилипали к концам листьев и хлопали крыльями в воздухе, ящерки выглядывали на манер змеиных язычков из сердцевин маковых цветов, и вся палитра — от нутряно-зеленого до артериально-красного — цвела и благоухала.

Грустно, всегда заставляет задуматься: общее благо должно перевешивать личное — как изрек Глас Компании.

Но разве не в волшебном саду сын своего отца понял, что «исправить» означает «сделать лучшей версией себя»? Зачем же иначе приводить тварь живую в надлежащий ей вид? Бабочка, зафиксированная на дощечке для образцов, — несомненно, хорошенькая, но всегда найдется лучшая версия, какой она может — под бдительным руководством сына, конечно же, — стать.

Каждый вечер перед сном сын своего отца чудесно проводил время с этими созданиями, созданными им самим. В своем зеленом-зеленом чулане, в изобилии миниатюр, которые, как надеялся сын, когда-нибудь вырастут в натуральную величину. Чарли ложился за фальшивой стеной среди бархатной толкотни множества рук,

копыт, когтей и перепончатых лап, грубых, гладких и израненных, и отдавался этим объятиям, обретал своего рода покой. Позволял голосам выправленных убаюкать его, погрузить в сладкую полудрему. Восхищаться своей живой постелью — и всем, что ее окружает. Он был уверен, что когда-нибудь волшебный сад распространится на весь мир, и отец поймет и примет его, и Компания поймет, и бог, возможно, тоже поймет и простит.

Но вместо этого, одной преждевременной ночью, Чарли застал отца у двери в комнату. Тот держался одной рукой за дверную ручку, и Чарли не мог смотреть ему в лицо, потому что не мог вынести эту сияющую удовлетворенную гримасу, эту широкую хищную улыбку. По одному взгляду в отцовские глаза стало понятно — грядет очередная выправка.

Но на сей раз она приняла особую форму.

Ибо отец распахнул дверь в волшебный сад и сказал:

— Я приготовил для тебя пир горой, сын мой. Во славу всей твоей тяжелой работы. И при готовке я использовал только лучшие ингредиенты. Твои собственные.

Там, на длинном столе, лежали, мертвые и зажаренные, все те существа, которых я так долго

прятал. Все до единого, молчаливые и одурманенные пламенем, кроме утки, которую, как он знал, я любил, и он, должно быть, тоже любил ее по-своему.

— И ты должен съесть все это, — прошептал мне на ухо отец. — Ты и птица — оба. Все до последнего лоскутка вы должны распределить между собой.

И вот мы с птицей энергично принялись за наш пир, хотя слезы текли по моему лицу, и я чувствовал себя таким же слабым и беззащитным, как все, над чем работал мой отец, распластанное на разделочных досках в его лаборатории. Мои нервы — это сеть, похожая на хрупкую морскую звезду, и мой отец отламывает кусочки, не заботясь о целостности узора.

Ах, мама, даже если бы я знал тебя в лицо — разве же это не ад?

~ Стишок о Мальчике ~

Вдруг маленький мальчик выходит из норки своей проведать как мир поживает, внезапно ему улыбается утка, и мудрой главою кивает, та утка — надежда и вера, мечта и луч солнца во тьме, из которой наш мальчик пришел. Но утка не друг нам, а лишь проводник, случайный попутчик на долю пути, а все остальное, что видим тут

мы, — колючки, шипы и опасные, злые враги. Не именно тело, и не бедствие будто, а враг у него в голове, сквозь призму уродливой жизни как будто он видит весь мир наш в огне. Тот страх принял он за правду бездумно, ту случайную встречу воспринял как роковую, и навеки запомнил обиды в своей голове, вообразив масштабные, но глупые и очень затратные планы, чтоб в будущем врата жизни пред собой отворить. И вот спустя пару на диво насыщенных лет наш мальчик не глуп уже и не юн, он несколько раз побеждал в сражениях жизни, от мелких смешных вплоть до самых коварных и жутких. Копаясь в себе, он пытался понять, почему, или что там ему не хватает, и почему утка так редко к нему прилетает. Что делать и как отвечать на вопросы извечного гнета во мраке души, где сердце колотится, и наш маленький мальчик находит ответ — в пути. Путь то ли к любви, то ли к цели конкретной — он это никак не поймет, он будто бы серый игрок в настольной игре, где вся доска покрыта радужным сном, он ходит, он ищет, он бродит кругами что первый год, что второй. А цель неизменна и ждет незаметно в тени — когда он придет и ее заберет.

Другое время — неважно, какое, ведь время по меркам Темной Птицы было весьма текучей

штукой, и она не всегда могла отличить один его момент от другого, так что — никакой разницы, без разницы вообще.

Ночь снова помрачила небеса, и порой в этой темноте птица зависала, будто прибитая к полотну грубой черной ткани, вонявшей хирургическим отделением. И даже звезды в этой темноте были будто бы острые булавки, за которые ее прикололи.

Там, в Городе, члены какого-то культа бродили от двери к двери в руинах трущоб, и в тени от солнца не заметили утку. Наверное, это был весьма упадочный культ, известный только тем немногим, кто в нем зачем-то все еще состоял. Темная Птица убила их, хотя приказано было — проигнорировать, но что-то в их поведении пробудило в ней гнев. Убийственная хватка ушла, но монстр все еще жил в ее черепе как в домике. Значит, она сама их всех решила убить. Осознание испугало.

Ничего священного — в останках, облепленных мухами, но тихих.

Там, под почерневшим небом, на одиноком холме, где у нее было гнездо, снова загорелся свет — и холм стал звездный вопреки воспоминаниям, величественный и богатый, залитый серым

или светло-пурпурным светом, или даже самой луной. Чернота, прореженная серебристым потоком, — точно холодной речной водой. Свет пал на клювастое темное птичье лицо, утешая.

С аванпоста Компании — никаких сообщений. Никаких увещеваний нападать или защищаться. Никаких сигналов тревоги. Только ночь — и смутное ощущение присутствия лис в пустыне, тех, кого она презирала, кого боялась, кому завидовала. Никто их не связывал. Ни один голос не направлял их из глубин голубого неба или сердца бархатной ночи.

Но она ждала в этом месте. Чтобы появились крошечные существа, которые не могли знать ее тип, ее предназначение или ее прошлое. Если бы Темная Птица могла извечно хранить неподвижность и безмолвие, она жила бы лишь этим моментом — как наблюдатель. Она не испытывала ни малейшего желания схватить их клювом, сдавить, разгрызть, проглотить.

Ночные цветы человеческому глазу казались черными, но для нее сияющее поле желтых, синих и шафрановых цветов — изобилие маленьких цветочков — поднималось на тонких стебельках, наполняя округу запахом розмарина, лаванды и мяты. Запахи, почти что из другого

мира, распущенные цветами как своего рода ловчая сеть, память о вещах, которых больше не существовало. Ведь это были искусные цветы, почти достойные волшебного сада.

И где-то там, между этими цветами, резвилась какая-то пустынная крыса-мутант, путаясь в трех собственных длинных лапах, и быстро-быстро скользила двухвостая змея, ловя насекомых, растревоженных ее приближением. Мыши гонялись за кузнечиками, а кузнечики, в свою очередь, притворялись цветочными стебельками… Маленькие драмы, сотканные из звуков, отблесков и движений, разыгрывались в тени Темной Птицы, застывшей неким мрачным изваянием.

Идиллия — застыть во мраке ночи, на взгорье пред темнеющей равниной. Не мысля. Не борясь с самой собой внутри. Смотреть на звезды, что горят в ночи.

Но:

Убийственная хватка. Убийственная хватка. Обгладывать мясо с хрящей, с тонких лодыжек, с локтей. Пировать сырым мясом в сыром тусклом свете. Ярость была такой знакомой, такой естественной — как дыхание, и Темная Птица осознавала лишь ее последствия, что было своего рода послаблением.

Откуда приходил этот импульс? Она не могла сказать, была ли это команда от Компании, потому что теперь осталось лишь эхо. Эхо команды, приказа? Или чего-то еще?

Темная Птица опустилась на утешительную тяжесть дневника.

Почитай мне сказку, о раздающая приказы машина, держащая меня убийственной хваткой. Просто еще одну. Пусть даже она — про меня.

И тебя не волнует, что сказка про тебя — ужасна?

Ни капельки.

Не волнует, что она — совсем не про тебя?

Я знаю. Знаю, что на самом деле все эти истории — о нем.

~ Гадкий Утенок ~

Отец всегда мне говорил: «Не сделаешь как надо — выпорю», так что давайте притворимся, будто я все сделал правильно в конце концов, потому что с поркой это наказание попросту не сравнить. Но мало у кого все хорошо получается с первого раза. Так что некоторых из тех, кто жил в волшебном саду, я не виню. Они не удались. Ошибки, ошибки. Им никогда было не стать такими, как моя утка. Утка, пусть и выглядела жутко, была триумфом моего рассудка, и я никогда не

называл ее «Темной Птицей», как остальные.

Потому что она была уткой — отважным утенком на троне живой изгороди, сделанной из плоти в волшебном саду. Королева этого места. Королева моего детства. Утка, восславленная в вечности. Где-то двадцать лет Темная Птица жила у меня утенком, прежде чем стала уткой. Подкидыша нашли, когда мне было всего семь лет. Или десять. Или ноль. Или три. Когда-то тогда. Ее оставили на нашем пороге.

Но где же этот порог теперь? Вместе с памятью о маме ушла память и о всех местах, где я когда-либо жил — до жизни в здании Компании. Где бы мама ни была теперь, в каких страшных далях — когда-то она все-таки была вполне реальна, ведь реален я сам — сейчас. Это мне совершенно понятно. Непонятно только, должно ли происхождение плоти жестко зависеть от разума, в эту плоть помещенного.

Мой отец всегда говорил: «Пусть эта тварь будет наглядным уроком, или я убью сначала ее, потом тебя. Снова».

Компания говорила: БУДЬ ЭФФЕКТИВНЫМ, БУДЬ НАХОДЧИВЫМ.

Компания говорила: ЕСЛИ УМЕРЛО — ТАК ТОМУ И БЫТЬ.

Компания говорила: ПУСТЬ ЭТА ТВАРЬ БУДЕТ НАГЛЯДНЫМ УРОКОМ, ИЛИ Я УБЬЮ СНАЧАЛА ЕЕ, ПОТОМ ТЕБЯ. СНОВА.

Так я и сделал. Я сделал утенка своим первым проектом: остановил процесс старения, чтобы утенок был вечно молодым, пушистым, никогда не крякающим, а лишь издающим переливчатый младенческий клекот. Иногда я давал утенку три крыла, иногда — одно. Иногда — крылья на макушке.

Но у уточки моей всегда были перья, голова и туловище, хотя со временем я нашел способы вплетать в ее облик рептильные черты, делая ее пушистую красоту еще более яркой и великолепной. Так я ее выправлял. Почти что по ошибке.

У меня не было матери, кроме этой уточки, или я был матерью уточки, которая стала уткой. Я никогда не была ни матерью, ни отцом, а только другом уточки и всех обитателей волшебного сада.

Слушай…

…а кому слушать, если только я это и прочту? Никто никогда не прочтет это — кроме меня, а в этой суматохе я могу растерять все свои мысли, утратить разум, забыть еще больше, пока однажды все это не окажется здесь — или не

потеряется навсегда. Этому я научился у Сары.

Был когда-то на свете сад пыток… в смысле, волшебный сад, но разрушил его злой колдун — отец, которому никогда не следовало заводить ребенка.

Все, кто жил в волшебном саду, кроме уточки, были приговорены к казни и поданы на огромный банкет, и съедены либо в первозданном своем виде, либо кусочками, либо вместе с запеканкой, с солью и сахаром. Ужасно и прекрасно было то событие, и было уже без разницы, вкусил ли сын свои творения или не вкусил. В приготовленном виде — было ли им дело до того, кто кусает их, кто хрустит их костями?

Ибо молвил бог и молвила Компания: РАЗ НАЧАЛ ЕСТЬ, ТАК ЕСТЬ ТЫ ВПРЕДЬ И БУДЕШЬ.

После банкета на мальчика-волшебника, Чарли, снизошли упадок и отчаяние. Даже после успеха Синего Лиса (которого так и не удалось найти) для Компании. Даже когда Компания распространилась так далеко и столь широко, что стала огромным ртом, поглощающим все и вся. Ничто в исследованиях или экспериментах мальчика-волшебника не могло поднять его настроение. Были только приказы Компании, приходившие все более издалека — по мере того,

как их версия Города удалялась от центра. Стену-портал окутал туман, и образ первоначального Города на берегах оживленной реки стал таким далеким. А мальчику-волшебнику на это было наплевать.

Не бог, но Компания повелела: ПРИБЕГАЯ К АЛХИМИИ, ИЗ ПЛОТИ ТЫ СОТВОРИ СТЕНЫ. ПРИСОВОКУПИ К СТЕНЕ ГЛОБУЛ ВСЕХ НОВЫХ ИЗ 7.

То ли бог, то ли Компания: ПРОИЗВЕДИ ДРУГИХ, ЧТО МОГЛИ БЫ ЗАСЕЛИТЬ 7 И ПРОТИВОСТОЯТЬ 3. У ТЕБЯ ЕСТЬ 10 СЕКУНД. 9, 8, 7, 6, 5…

Или я сам об этом сейчас подумал.

Чарли, невзирая на свой сплин, трудился над белковыми соединениями, голосовыми связками, сухожилиями, кровью и эпидермисом, чтобы в пределах этих 10 сотворить больше чудес — пусть даже его волшебный сад погиб. Для 7. Против 3. Хотя тогда он еще толком не понял, что за 3 (тройка… троица), и как они могли вступить в сговор с лисом. Лис был либо 1, либо 0. Он запутался во всех этих сказках, пересказанных и обновленных, и в итоге то, что было свято и священно, ушло в отвлечение, отречение, отсечение.

Как понять, что ты в аду, если бог и Компания все еще говорят с тобой? Или как раз по их голо-

сам в твоей жизни и можно это понять?

Это длилось годами.

Отец превратил мое лицо в морду нетопыря. Отец перерезал мне горло и набил его мышами. Мой отец переставил все органы внутри меня так, что по ним потом можно было счесть настоящее название Компании: 10, 7, 3, 0.

Но в конце концов удача (или случайность, или судьба) улыбнулась Чарли. Потому что в один прекрасный день, стоя у чанов, отец упал, ненароком вдохнув ядовитые испарения. А может, по неосторожности посмотрел в глаза какой-нибудь Медузе, которую сам и создал, — и мозг его окаменел. До сих пор трудно сказать, что с ним случилось — почему он рухнул, точно срубленное дерево, на пол Лаборатории. Сам факт такого падения казался невозможным. Как и то, что дерево, росшее во дворе в пору моей юности, срубили… это дерево никто, даже я, теперь уже и не может вспомнить. А ведь его было руками не объять — настолько оно огромное было. Казалось, этакая махина никогда не упадет.

И все почему-то уставились на мальчика-короля Чарли, как бы молчаливо приказывая исцелить отца. Но отец умер, а сын плакал, в душе смеясь так сильно, что слезы на глаза на-

ворачивались. Он смеялся с такой отдачей, что все его внутренние органы вернулись на предписанные им места, и из носа и ушей у него пошла кровь — но лишь потому, что был он нечестивым, неправильным существом.

И первым делом я… то есть, сын своего отца… заняв место родителя, приказал бросить тело последнего в чан, чтобы сохранить его, чтобы какая-то часть отца могла жить в творениях, которые я создам, спасу и сохраню. Ведь теперь никто не мешал мне вырастить волшебный сад на самом видном месте. И в этом новом волшебном саду было много бассейнов с целебной водой, а некоторые были грязевыми, и росли там высокие травы, и светило там искусственное солнце. Но главным образом там я прятал и хранил свои ожившие ошибки, подлежащие уничтожению, и на горе тех ошибок, точно на троне, восседала моя уточка.

И, возможно, утенком она осталась бы навсегда, чтобы напоминать мне о моей улыбчивой юности, о моем отце и обо всех других добрых, хороших вещах, которые встречались мне на пути.

Но и тогда мне в голову вонзился Глас Компании, а может, то был призрак призрака моей матери. В последние дни кто бы различил подоб-

ные вещи? Именно тогда Компания велела мне превратить уточку в утку. Утку со сломанным крылом. И поместить в утку то, что осталось от мозга моего отца.

Думаю, это было последнее испытание для меня. Компания хотела, чтобы я пожертвовал всем, чем больше всего гордился. Чтобы у меня больше не было поводов для гордости, и чтобы я повиновался Компании во всем.

Поэтому я превратил свою милую уточку в утку, и сделал это в мгновение ока. Двадцать лет уточка была и оставался уточкой, а тут — превратилась в Темную Птицу в мгновение ока. Она не стала от этого хуже — наоборот, возвысилась. Клянусь. Что испортило ее и свело с ума — так это та миссия, в которой она добыла Сару, и об этом я говорить не буду. Это уже не моя вина.

И когда все пошло наперекосяк, я ни в чем не был виноват. Я был единственным, кто прислушивался к голосу в моей голове, даже после того, как перестал понимать, от кого он исходит — от Компании или от бога вместо нее. Я спас так много потерянных душ, даровав им чудесное преображение в волшебном саду.

Но больше я не мог предсказывать Ноктурналию, знать ее не знал, потому что она вышла за

отведенные нами пределы. Я не мог понять, как взять под контроль творящийся по всему Городу хаос, потому что не знал, как взять под контроль хаос, что творился внутри меня.

Ох и ах, тогда я нуждался в Темной Птице как никогда, для стольких особых миссий. Для того, чтобы сдержать конец всего. Удержать занятую твердь. Выиграть время. Только это мне и требовалось. Только и всего.

Темная Птица, что была утенком, что был мной. Что был моим отцом.

Улетай, Темная Птица, улетай. Далеко-далеко. Со сломанным крылом своим.

Видите ли, я сошел с ума — и знаю это. И все же знаю я и кое-что еще.

Как рычаг ходит в залитом подсыхающей кровью пазу, как маяк то вспыхивает ярко, то утихает — убийственная хватка безжалостно сдавливает и… отпускает — на какое-то время.

Ноктурналия. На погруженной во мрак равнине устало танцует сломанное крыло. Его останавливает мысль об огне. Мысль о том, что осталось позади и что ждало впереди — совершенно симметричная. Всего лишь пассажир в собственном теле — пассажир, порабощенный яростью. Отчасти то была ее собственная ярость, вызванная

собственным бессилием. Ее собственная истинная природа. Неотвратимая — но, возможно, однажды ей удастся ее избежать.

Однажды ночью, в затишье перед очередным приказом. В промежутке между Темной Птицей и просто уткой с собственным разумом. Перед следующим приступом одержимости. Аэробатный рой насекомых пытался вычислить утку с земли, сонары летучих мышей взывали к ней сверху, с воздуха — и никто ничего не находил, ибо птица была мертва сама по себе, но могла ожить, если задержаться рядом с ней надолго.

Так вот, однажды ночью, абсолютно мертвой, безлунной и беззвездной, в то место явился Оборотень. Выброшен туда, как какое-нибудь ненужное изделие. Он проявил себя несколькими жизненными формами одновременно, зацепленными за извивающуюся черную плоскую подложку. Утка восприняла его как целую горсть координат — живое существо, ставшее картой.

— Я убью тебя, — сказала утка Оборотню. — Я убью тебя и сожру твои потроха.

— Ты — не утка.

— Да и ты — не то, чем кажешься.

— Я здесь чужой. Меня тут быть не должно. И вскоре меня тут не будет.

Она удивилась тому, что понимает речь Оборотня. Ярость в ней искала выход… и не находила, и приказов от Компании не следовало. Оборотень перекрывал ее сигнал. Порыв имелся, но разгореться в полную силу не мог — так, плевался бессмысленными брызгами.

— Ты — рифма к слову «утка»? — спросил Оборотень. — Призрак с лицом нетопыря все пытался найти эту рифму.

— Я об этом ничего не знаю.

Утка не могла понять, не говорит ли сейчас Оборотень за нее — собственные слова прозвучали как-то чуждо. Но вообще-то она и не знала, как собственные слова должны в принципе звучать на этом новом языке.

— Есть такие версии, что и не версии вовсе, а сам единый Источник. Но Старик все идет и идет через них. Он сломан.

— Я не должна его видеть, но вижу. Приходится притворяться.

— Ох, утка, это грустно и жутко.

— Зачем ты здесь? — Раз Оборотень мог притвориться чем угодно, почему же не пошел жить в Город? Оставаться отщепенцем его никто не обяжет.

— Потому что лишь очень немногие желают

видеть меня там. А здесь — безопасно. Мне это место очень даже нравится. Тут тихо и можно побыть одному.

— Мне оно тоже нравится. Люблю тишину. Люблю звезды.

Какое-то время они вместе смотрели на звезды.

— Ты не сможешь убить меня, — наконец сказала утка после долгих раздумий. — И поглотить — тоже.

— Я знаю. Вот почему ты мне нравишься, а я — нравлюсь тебе.

— Кто тебя сделал?

— Не знаю. А тебя кто?

— Я забыла. Возможно, тот человек, что живет внутри меня.

— Как косточка в сливе?

— Как кость в горле.

— Может, эта кость не видит Старика. Не улавливает его.

— Не знаю, что сие означает.

— Знаешь-знаешь. — Она и впрямь знала, и Оборотень спросил: — Так это от твоей кости-в-горле исходит вся злость?

— Чувствуешь, как падают саламандры?

Существо подняло все десять своих глаз к небе-

сам. Да, действительно. Ночь была подернута легкой дымкой падающих амфибий. Таких маленьких, нежных. В каждой — память о местах и временах, где птица была почти свободна. Почти, но не совсем.

— Прекрасно. Великолепно. Умопомрачительно. Умопомр-р-р-р-р… — Оборотень замурчал, точно довольная кошка. Темная Птица никогда не видела настоящую кошку, но оборотень вызвал в ее сознании требуемый образ. — После них земля под ногами будто приятнее стала! Хоть их больше и нет.

— Они когда-то были человеком. Был один человек, а стало много-много амфибий. Интересно, теперь, будучи столь многим… он счастлив?

— Счастье — это человеческое понятие.

— Я — не человек, но хотела бы стать счастливой.

— А сейчас ты счастлива?

— Ага.

— Ну, тогда этого достаточно.

Действительно. Ведь другого у утки не было.

— И ветер мне, кстати, нравится…

Ветер, гуляющий по пустыне, закрутился тихим быстролетным вихрем, что нагонял откуда-то со стороны Города душистую прохладу… и уверен-

ность в том, что где-то там, за Городом, есть еще места. За гранью разума.

— Что будешь делать — после? — спросил Оборотень.

— После чего? — спросила Темная Птица.

— После того, как все это закончится. После дождей. После решения всех решимостей.

— Не знаю. А ты?

— Ничего. Меня здесь не будет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, и все тут. Но ты тут будешь. Ты останешься здесь жить.

Темная Птица, она же Гадкий Утенок, воскликнула отчаянно:

— Можешь помочь мне? У меня в голове эта штука. Отрава. Протокол. Гниль. Присутствие. Я его никак не достану. Из-за него я все время творю жуткие вещи. Жуткие-прежуткие.

— Да и я — тоже.

— Значит, ты понимаешь!

— Еще как понимаю.

— Поможешь?

Барьер воздвигся против кровожадного порыва. Порыва, что жил внутри. *Убей бледных людей на другой Земле, занятой Компанией.* И она бы убила — просто потому что могла.

— Я собираюсь войти в твой разум. Я в твоем разуме, в будущем. Когда ты уже постарела и ослабла. Я могу заглянуть в твой разум там и тогда, но не сейчас. Я прерву соединение. Перережу связь. И эта безумная штука внутри тебя останется одна, изолированная. Продолжит жить в тебе, но не будет иметь к тебе доступа.

— А как быть сейчас?

— Придется тебе жить с ней до тех пор, пока не наступит будущее. Но придет день, и ты снова сможешь стать просто уткой.

— Просто.

Оборотень засмеялся.

— Я всего лишь кальмар, живущий на суше. Я — собака, которая выписалась в кошки. Я — птица, рожденная ящерицей. Я могуч, но притом — слаб. — И Оборотень захихикал, захохотал и заставил утку почувствовать себя веселой, доброй и умиротворенной. *Я гадкий утенок, выживший в волшебном саду. Я чего-то стою. Я не просто чудовище.*

— Ты когда-нибудь задумывался? — спросила она Оборотня. — Когда-нибудь задумывался, каково это — не жить в мире людей?

Оборотень на мгновение задумался и издал звук, похожий на грустный смех или плачущий

смешок. Отмахнулся от ее вопроса.

— Хочешь, я расскажу тебе одну историю, прежде чем уйду? — спросил он. — Это история, которой самое место в дневнике, но ее в нем нет.

— Да, расскажи. С удовольствием послушаю.

— Давным-давно, в эпоху, богатую на разных чудовищ, посреди дрейфующих дюн появился Синий Лис…

9. Никак не забыть

i.

к ребенку-душегубу

Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они уби-

ли меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они

сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они

воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что

Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня.

И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали

так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес

я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес

ли меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь. Они убили меня. И они сделали так, что воскрес я вновь.

Но однажды я сбежал.

Хочешь… чтобы вещи были всего лишь словами… которые на самом деле и не слова вовсе… и никогда ими не станут. Твой лис в каком-то другом здании. Мы на это не соглашались. Сами себя мы никогда не окрещали лисами. Та вещь, что тобою создана — это совсем не я. Подумай только: Аутопсия — это какая-то женщина. Поду-

май только: вскрытие — это тип мышления. Если я исполосую труп твой вдоль и поперек, найду ли я где-то там, внутри, тебя?

Но я дам тебе слова. Произнеси их так, как слышишь. Как непохоже! Всякое слово, что вылетает из меня и достигает тебя — потеряно. В этот момент я лишаюсь столь многого. Говоря с тобой. Нуждаясь в разговоре с тобой. Но в конце концов, ты вернешь все мои слова мне — в иной форме. И уж тогда-то они покажутся тебе чем-то, что ты отрываешь от себя, что из тебя вырывают.

Считай, я волшебник, дитя. Вот только все чудеса, что я тебе показываю, — они уже были здесь и без меня. Незримые — но лишь для тебя. В этом-то все и дело. Такой вот нехитрый, старый как мир трюк вынужден я показывать тебе. Но старый как мир, нехитрый трюк показывают тебе твои чувства. Свою болезнь ты сделал нашей болезнью, общей. Ты сделал из нас болезнь, потому что болен сам.

Запах может быть стеной, туннелем, словом, выложенным из еловых иголок на мягкой лесной подстилке. Он может быть мучительным, мягким, скромным и ошеломительным. Даже какая-то там пара летучих молекул запаха — это уже целая история дружбы и предательства. А

для тебя все проще. Слишком уж просто.

И какой тебе прок в определенных словах, если ты не можешь проникнуть в их суть и пожить там? Уши, языки, укромные уголки тел — все они несут какое-то чувство лису, но не тебе. Запах воды рисует линии — и резкие, и расплывчатые. Жар — это либо каскад линий, либо полная их неподвижность. Постоянно меняющийся, постоянно сливающийся запах других лис. Шорох игл дикобраза становится вкусом, задерживающимся на языке. Ультразвуковой крысиный смех. Густой, пьянящий запах медведя, прокладывающего себе тропу.

Я зароюсь даже глубже. И ты последуешь за мной.

Человек — это крепость, скрывающая слабость.

Жил да был лис, и стал он однажды астронавтом. Ему это не то чтобы понравилось. Астронавтом быть больно. Больно пребывать в таком покое. В таком упокоении. Как труп. Холодное и мертвое место под луной. Сначала я питался маленьким, а потом сам стал маленьким, схваченным и плененным Компанией. Они меня хотели съесть, но как-то по-особому, не так, как обычно едят.

Повсюду — клетки с мертвыми зверями, в их святая святых, в Лаборатории. Мертвые и больные, и раненые, и одурманенные, и невменяемые. И люди там были, рассованные по углам. Так много. Бледные. Застывшие. Ничем особо не пахнущие. Беззвучные. Бездушные. И все же они услышали звук, удержали его. В себе. Могли видеть, обонять, и так далее. Но они были рассованы по шкафам и нишам. Жесткие. Непоколебимые. Даже менее человечные, чем лис.

Я был просто еще одним животным в клетке, которое нужно принести в жертву. Ради плана, который мог сработать, а мог и не сработать. Ради Компании. Надо было по возможности послать одного такого. Вернуть обратно. Начать все сначала при неудаче, упростить, прежде чем выстраиваться дальше. Открыть путь. Закрыть путь. Я бы с ума, наверное, сошел, но я-то был лисом, а не человеком. Я был создан только для того, чтобы продержаться четыре года. Так что к смерти из поколения в поколение я привык.

Я уже был умен. Они пытались сделать меня более человечным. Разумным в том смысле, в каком люди называют себя разумными. Поэтому я крепко держался за свою лисью суть. Они не могли рисковать человеком, но им нужен был

человеческий ответ. Обезьяны и собаки, крысы и кошки — все погибли. Но лис? Лис знает нору. Лис роет яму в земле, лис прыгает через яму, которую вырыл, лис зарывает яму, если ему это надо. Так где сейчас лис?

Они сделали мой мозг более хитроумным. Перелопатили все в моем черепе, но все равно мои ноги могли думать сами по себе, уносить прочь от опасности, намечать стратегию отхода, находить путь домой. Превращать меня наполовину в уравнение, адаптируемое к назначению.

— Всякая плоть есть квант, — говорит один палач другому над полумертвым телом. Которое слышало его. И понимало его слова. И вполне могло бы вскочить и вцепиться хоть в одну вражескую глотку — так, напоследок, перед самым концом.

Но я был гораздо умнее.

Чужаки все трудились надо мной. Спринцевали. Переворачивали. Обривали. Окунали. Бинтовали. Посылали вперед.

Был ли я первым лисом? Или самым последним? Я никогда этого не узнаю.

Едва разобравшись с их языком, я прозвал его «Чарли-в-уголке». Сын старшего научного сотрудника. Всегда наблюдал, никогда не вмешивался.

Он был ярким, белым, блестящим и свежим. И тогда еще — не ужасным на вид. Должно быть, он мнил себя свежим и полным жизни, а для меня уже тогда он смердел смертью. Кишел трупными червями.

Чарли-наблюдатель. Все строчил в своем дневнике. Ни на что не годился, но вся эта чушь ему нравилась. Ему нравилось ковыряться в кишках. Вскрывать забракованных. За это я его и приметил. Пыл. Энтузиазм. Временами я думал, что Чарли создал этого своего «отца», что отец был просто марионеткой сына, маской или маскировкой.

Именно из червивой пасти Чарли я впервые услышал слово «Ноктурналия», но только позже понял, что он имел в виду.

Как много вони смерти и разложения в этом месте. Я ненавидел его, потому что оно превращало запахи, которые лисы любят, в запахи, которые лисы начинают ненавидеть всей душой.

А я, к примеру, возненавидел сделанный для меня портал. Сначала он был мелкий. Маленькое биомеханическое существо. Он мяукал и ходил под себя, и поначалу, пока он рос рядом со мной, присоединенный ко мне трубками, я думал, что это мой друг. Или товарищ по несчастью. Но это

была дверь, которую выращивали специально под меня, в интересах эксперимента. Странные сны от этой амниотической жидкости. Странные сны о Вселенной, о бесконечных норах. С камерами размером с целый мир и звездами, текущими по каменным стенам. Неведомое богатство запахов, скрытых во Вселенной, ждало меня за той дверью! И я охотно делился своими грезами, переведенными на лисий язык.

Однажды дверь поглотит меня, и я окажусь в другом месте.

От биотехнологических примочек, помещенных в меня на кончиках иголок и зондов, шли одни только неудобства. Потому что мои мучители не понимали, как работает лисье тело, как действует лисий ум.

Они изменили мое зрение — и я возненавидел их еще больше за то, что мой мир перестал быть привычной кладезью запахов, вкусов и звуков, и за то, что теперь я должен был как-то приспосабливаться к этой какофонии образов, противных и чуждых лисьей душе.

Или: однажды я видел лягушку, парализованную пауком и заключенную в кокон из паутины. Кокон медленно крутился, а лягушка, застывшая в нем, медленно переваривалась. Теперь я был

лягушкой, но кокон был живой, и он сам, а не тот, кто сплел его, поглощал меня. А потом я сам превратился в кокон.

Ты не поймешь меня, даже если я буду выражаться как-то иначе. Перед тем, как появилась стена глобул, была только одна глобула у огромной стены, и она хотела съесть меня, и я был в глобуле, и я был везде, но также и нигде. Меня избирали посланцем. Всякий раз. И в этой штуке я бороздил пространство и время, а она все пыталась надругаться над моим разумом — не со зла, просто такой у нее был побочный эффект.

Я замышлял месть. Я молча проклинал их. Пускай их отправляют в эти небывалые странствия. Пусть их пристегнут к каталке, обколют иголками, порежут и просканируют. Пусть в них загонят одуряющую воду из шприцев. Пусть их заполнят изнутри черви, жуки и мертвые листья, или хотя бы то чувство, будто гнилая опаль сморщивается и рассыпается в пыль где-то внутри тебя. Пускай они побудут посланцами — в качестве эксперимента; свернутся внутри глобулы, этой слезинки, что скользит по лику бездны, по лику многих бездн разом. Пусть они познают пустоту.

Мое тело было полем битвы.

Пусть они знают, как больно там, где все так

просто, так ясно, так открыто, что я не могу от этого спрятаться. Я не мог прятаться, не мог бороться, не мог убить себя, всегда был вынужден прыгать и бросаться в бой. Вынужден вернуться. Но я всегда был мертв по возвращении, и с этим они ничего не могли поделать — надо думать, потому что не знали, что такое разум, что есть тело или путь, проделанный телом. Необходимые им уточненные координаты терялись вместе со мной, но они продолжали рисовать карту. Карта становилась все больше, а компас — я — все так же исправно ломался.

Они перепрошили мой геном. Я мог обходиться без воздуха. Без тела и без разума. Я выживал в воде и в раскаленных недрах земли. А после они вскрывали мою голову, или то, что от нее оставалось, и все мои мысли жирным черным дымом воспаряли к потолку. Тогда они возвращали меня, мертвого, к жизни. Лишь ради того, чтобы отправить на повторную черную смерть.

Мой разум был сыт по горло. Мой разум отказался от всего. Я от всего отрекся в тот момент. Я не хотел, чтобы от меня хоть что-то оставалось — что-то, из чего меня возможно воссоздать вновь. Но то был лишь разум — тело с ним соглашаться не спешило. Тело жаждало борьбы. Тело хотело

убить их всех, размазать их по стенам и полу и гордо вышибить дверь, ведущую в эту преисподнюю.

Тело знало то, чего не ведал разум.

Будет ли когда-нибудь выход?

Координаты чудес. Координаты кошмаров. Координаты кошмарных чудес. Дико вращающийся компас в моей голове. Я уловил запах. Я взял след. Прошел по нему — и распался на молекулы.

Я весь внутри рассыпаюсь. Обломки — вот что я есть.

карта неба, сплошь зашифрована
привела меня в место новое
был как взгляд, мимолетно брошенный
мчал со скоростью огорошенной.
и несясь на той скорости пламенной
был недвижим я, словно каменный
и объятый огнем, в одиночестве
брошен был я
куда мне не
хочется

Мой дом был и так полон дыр, а они заставили меня просверлить еще одну. Просверлить прямо во тьме, в ночном небе. Звезды менялись надо мной, но я оставался неизменным под ними. Я

был и астронавтом, и космическим кораблем. У меня не было костюма. Только мой мех. У меня не было инструментов. Только мой мозг. Затянутый, я прыгал через пространство и время. Затянутый Я стал кем-то иным. Инаковым.

Если бы только я мог придумать какую-нибудь метафору и ей все объяснить, все было бы проще. Но я такой роскоши лишен. Мне предстояло узнать, что происходит на самом деле. И мало-помалу я узнал.

Зев-туннель-нора-зев.

Первый раз. Удивительно, но я все еще жив. Дрожу, дивлюсь, давлюсь — но жив-таки. Звездный ветер еще не остыл и не утих во мне. Хриплый, близкий, овевающий все сущее. О, этот самый близкий друг, прикованный ко мне все эти долгие месяцы. Отвязали только на день, а теперь Компания скармливала меня зеву и продолжала скармливать. О зеве мне велено было думать как о норе, но ведь в нору-то ты должен сам запрыгнуть, ни одна нора сама на тебя не прыгает, ни одна нора не дышит и не трепещет вязко вокруг тебя.

Взрыв, обращенный вовнутрь. Запуск. Ускорение, давление. До тех пор, пока вокруг меня не остается ничего, кроме темноты и осколков вре-

мени, проскальзывающих мимо, стукающихся об меня, грохочущих, рычащих, благословенных и воняющих трупным распадом. Умираю, чтоб снова жить? Снова заброшен в другое место лишь призраком, большущим эфемерным вопросительным знаком на том месте, где когда-то была живая плоть? Я слышал — наверху, в темной глотке, трепетал глубокий звук, звук, державший меня на расстоянии, смягчавший коконом вызванное транспортировкой трение. Двигатель из плоти тихо гудел — так функционировало живое существо, выведенное единственно для того, чтобы играть роль моего транспорта.

Большущий ноль в самой сердцевине. Невесомый. Бесхитростный. Без тела. Без ума. Уже не звезды окутывали меня, но что-то другое. Нечто элементарное. Миры, обозримые сквозь холст моей кожи. И ни грана пространства между мной и… *всем.*

Все закончилось в считаные секунды, дни или столетия. Я был огненным шлейфом собственного разума. Я был разумом, кувыркающимся из конца в конец до полной остановки.

Кружащийся калейдоскоп ошеломляющих цветов, слишком резких для лисьих глаз, и вот я остановился на краю огромного цветочного

поля, что пахли местами как кожный зуд, а местами — как ласкающий бархат. Меня выбросило на самом краю, и я зарылся в землю задними лапами: за полем — пустошь черных ущелий и расколов, пронизанных похожими на мавзолеи машинами.

А за мной — ничего. Даже старого друга, поглотившего меня в том месте, где я был. Никакого намека на то, что меня сюда привело.

Раздробленные осколки моих костей срослись воедино. Материя за моей черепной костью плавала, вращалась, восстанавливалась. Мои ноги снова стали моими собственными. И разум вернулся — некое его подобие, во всяком случае.

Резко вырвало из затмения: Солнце. Почва, сладкая от дождевых червей и насекомых. Захотелось навострить уши, настроиться на волну здешних звуков и побежать вскачь, разумно отмеряя силы на каждый прыжок.

Но что делать здесь до того момента, как меня, невольного слугу, потащат отсюда назад? Просто быть: здесь. Все мертвецы твердили мне об этом. Все те живые твари, что не смогли пережить путешествие. Вернувшиеся через несколько секунд обугленными остовами, отправленными на свалку. Вернувшиеся трупами, что были скормлены

другим животным, не желавшим такой подачки.

Мои глаза служили глазами всей Компании. Я был ее созданием, и меня возвратят в клетку — снова. Закуют в цепи. Но здесь и сейчас я был лисом, а не человеком, и потому бежал по лугу, точно синее пламя. Бежал себе и бежал, как существо вольное, естественное и знающее свое предназначение. Я охотился там, в странном том месте, как будто прошлого никогда не было, будто оно не могло меня здесь настичь.

До следующего раза. До ста следующих раз. О, конечно, не могу сказать, что меня не жалили, что я не чесал лапой за ухом. Но какие же это были пустяки после всего пережитого — и трава была так хороша, такая приятная к телу.

По ошибке они все сделали правильно в первый раз.

Но не второй. И не в третий. Не в четвертый.

Комнаты больше нет там. Интересно, а хоть где-то она до сих пор есть?

Столько неверных координат пересчитал я своими костями. Оказывался в таких местах, в каких не должен был оказываться. По мере того, как они совершенствовали этот процесс. Я орал, утопая в грязи. Орал, крутясь в космосе. Отфутбо-

ленный. Препарированный. Бестелесный. Снова посланный куда-то далеко.

Иногда мне даже это нравилось. Я думал о норах. О подземных недрах. Я — исследователь! Вот она, моя первая человеческая мысль. Я был в центре внимания целой Компании. Вокруг меня водили хороводы, и из-за этого я даже чувствовал себя отважным. И когда они попытались проникнуть в мои мысли, вместо этого — открыли мне свои. Туннели. Норы. Я пробрался сквозь них и вышел на свет.

Я умирал, но они снова делали меня лисом и забрасывали в другую часть карты. Я был не только компас, но и мореход. Мои суставы и сухожилия до сих пор скулят. Я до сих пор слышу этот звук. От пережитого стресса. И если б я оттуда не сбежал. И если б мне сослось освободиться. Возможно, до сих пор бы умирал. Чтобы потом опять на свет родиться.

Я не мог помешать им извлекать сведения, как сапфиры, спрятанные за моими глазами. В моем мозгу. Тащить их клещами. Я был их целью. Меткой на датчиках. Докладчиком. Докладывал собственной шкурой. Хоть мне и не хотелось. Я весь был забит останками червей, пиявок и других существ, живших внутри меня какое-то

время. Мне это не нравилось.

Но в своей незримой личной глобуле я становился сильнее. Они пытались задурить меня, но я перехитрил их. И в конце концов они посеяли свою реальность вместе со мной. По ошибке. Слишком много микробов, паразитов и симбиотов в их бульоне. Непреднамеренно образованные экосистемы воззвали ко мне.

Помню, вновь я вернулся домой, рассохшийся и расслоившийся, и они меня снова починили, чтобы получить сведения и координаты. Помню Чарли — в те дни он еще был никакой не Икс, и вместо лица у него была не рожа нетопыря, а какая-то гладкая мягкая белизна, трепыхавшаяся, как рассогласованный спутник на распадающейся орбите.

— Это было прекрасно? — спрашивал Чарли, затаив дыхание

— Ты не поймешь. — Но тогда меня еще не прокляли способностью говорить на языке людей, так что в ответ Чарли слышал только скулеж.

— Но все-таки? Прекрасно?

— Когда-нибудь, Чарли, я тебя укокошу, и вот это-то будет прекрасно.

Но я ему, конечно, ничего не сделал, и со временем почти позабыл о нем, хотя теперь он

преследует меня каждую ночь. И каждый день. Со своей призрачной высоты я взираю на этого ребенка-душегуба, но он давно забыл обо мне.

Временами я впадал в отчаяние. На миссиях в самые далекие места. Попадал в кромешный ужас, где нечего было исследовать, кроме смерти, где мысли мои от меня уплывали, будто отделяясь от разума. Темные глаза взирали из недр сырой норы. Одного лишь взгляда в них мне хватало, чтобы заработать страшную травму, и я бежал прочь — если мог бежать, — тявкая от испуга.

Жуткая радость. Радость в тоске и боли. Радость даже от созерцания смерти.

Со временем мой мех посинел. Непреднамеренный побочный эффект? Цвет, выведенный в Лаборатории или подхваченный по пути? Помазание, принятое мною от кого-то там, за гранью, куда меня посылали?

Никаких слов мне не хватит, чтобы все это выразить.

Пришло время, и Компания отыскала то, что ей требовалось, заселилась туда и распространилась, точно инфекция.

Пришло время, и — о да — я сбежал.

Но свободным я так и не стал.

ii.

к мертвым людям

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спускали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души. Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они

стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спускали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души. Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спускали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли

тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души. Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спускали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клет-

ках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души. Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спускали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и

наши сердца останавливались от страха. Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души. Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спускали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. (*Куда бы мы ни шли, везде пустыня была полна призраками деревьев и ручьев.*) Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души.

Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спускали на нас собак. (*Мы ходили по лесу так, как ты бы ходил по собственноручно построенному дому.*) Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души. Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спус-

кали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. (*Каково это — когда на твою долю выпадает слишком многое?*) Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. (*И мы умирали.*) Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. (*Но мы жили все равно несмотря на то, как они изводили нас.*) Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души. (*И мы закапывали свои секреты в землю, хоть они и пытались уничтожить их вместе с нами.*) Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спус-

кали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас. Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. (*Вплоть до этого самого дня.*) Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни. Они каждый год, без передышек, приходили по наши души. Приходили каждый день, без передышек.

Они ловили нас в силки. Они травили нас. Они стреляли в нас. Они резали нас ножами. Они душили нас. Они забивали нас ногами. Они спускали на нас собак. Они загоняли нас в капканы. Они морили нас голодом. Они сжигали нас заживо. Они морили нас жаждой. Они истребляли тех, на кого мы охотимся. Они резали нам глотки. Они затапливали наши норы. Они топили нас.

Они топтали нас лошадиными копытами. Они разводили нас на меха и забивали до смерти. Они держали нас в столь плотно набитых клетках, что мы просто трескались. Они травили нас ядовитыми газами. Они душили нас. Они клали нас в мешки и забивали дубинками. Они отрезали наши языки, и мы истекали кровью. Они свежевали нас заживо. Они взрывали скалы, и наши сердца останавливались от страха. (*Они все приходили и приходили; они никогда не переставали.*) Они раскручивали нас за хвосты и разбивали наши головы о камни.

Но нельзя убить нас всех.

Каково это — когда на твою долю выпадает слишком многое? Не быть живым — вот каково это. Но мы оставались живыми несмотря на то, что они изводили нас. Мы хранили секреты, хоть они и пытались уничтожить их вместе с нами. Да, мы умирали. Да, мы жили. Вплоть до этого самого дня.

Лис должен прыгнуть в огонь, чтобы стать человеком, так утверждает миф седой. Нигде в нем не сказано, что человек, прыгнувший в огонь, может стать лисом. Вы — обычный вид. Или были обычным видом. Обычное явление. Обыденность. Общественное достояние.

После побега я некоторое время жил в хижине в лесу. В каком лесу и когда — не имеет значения.

Позволь мне рассказать тебе о рассказе, прочитанном мной в той хижине. В рассказе том был попугай, заключенный в клетку на шестьдесят лет. В конце рассказа попугай простил своего пленителя, потому что тот был астрономом и посвятил себя благородной цели — разглядыванию звезд в телескоп.

Прочитав этот рассказ, я начал убивать людей.

Было забавно загонять их в ловушки. Ставить на них капканы, ловить, травить. Стрелять в них из лука, топить, рвать на куски. Давить, трамбовать. Повсюду на полянках можно было увидеть мертвых людей. Никто не обращал на это внимания. Место, выбранное мной, давно покинул всякий разум.

Это было похоже на кошмар. Это было похоже на сон. Но я был лисом. Как я мог сделать все это? Может быть, это был сон или кошмар. Может быть, это просто сказка.

А ты как думаешь, человек? Как думаешь — разве ж я мог?

Огромная золотая гостиница, похожая на корабль, рухнула боком в ущелье. Люди выплес-

нулись из бассейна на вершине сего ковчега и разбились насмерть. Их тела лежали гниющие и тускло-красные. Разорванные на части. Их сосуды забились плесенью и стоячей водой. Лица застыли не столько в крике, сколько в монументальном разочаровании — великолепный монумент подвел их.

Остальных мы убили.

Кроме шеф-повара, сердившегося на меня за то, что у него было в тот день работы невпроворот. За то, что я не дал ему подготовить кухню. Ряды кухонь. Ряды кладовых, полных вонючего червивого мяса. Для всех погибших гостей.

Консьерж съежился рядом с ним, прося прощения за слова повара.

Но эти слова ничего для меня не значили. Кухня для меня ничего не значила. Все эти утопленные, перекошенные столы и кровати, стулья и диваны, покосившиеся картины, смердящие ядами, которые источала краска. Все бесполезные люстры, разбитые о бессмысленные мраморные полы. Ничего не значили. Какое убожество сотворил ты из мира, который тебе был дан.

Я отпустил их. Смотрел, как они бегут по опустошенному ландшафту. Куда они хотят сбежать? Куда ни беги — везде в этом мире одно.

Повар и его консьерж, консьерж и его повар. Сбегающие в никуда. И когда они скрылись вдали, слова «повар» и «консьерж» исчезли вместе с ними, ужались. Их больше не было.

Со всеми этими убийствами, убийствами и хаосом войны, у меня было мало времени, чтобы поговорить с добычей. Но я разговаривал с некоторыми из них.

Был, например, художник, который верил, что мы все священны, и просил у меня окорок или любой кусок мяса, и цеплялся за изодранные остатки своей шубы, дрожа от холода. Он считал нас святыми, но, возможно, недостаточно святыми для того, чтобы не убивать. Я откусил ему голову. Это заняло довольно много времени. Он не переставал болтать без умолку.

Был лесник, думавший, что мы таскаем его кур. Он был уперт, как какой-то великан из сказки. И даже когда мы взывали к нему на его родном языке, он отказывался нам верить. Тогда мы съели его и выпустили на волю его кур, чтобы показать, что мы можем быть честными и справедливыми. Вареным или сырым? Какая разница? Тебе ли не все равно?

Был старый биолог, что сидел в своей лачуге и ел тушеное мясо, приготовленное из тех живот-

ных, которых он не кольцевал. Он устанавливал дырявые сети из тонкой сетки, потому что мозг подсказывал ему, что старый биолог в своей лачуге, поедая тушеное мясо из каких-то животных, которых он не кольцевал, делал то же самое, что и старый биолог в своей лачуге, поедая тушеное мясо из каких-то животных, которых он не кольцевал — устанавливал дырявые сети из тонкой сетки, потому что мозг подсказывал ему, что старый биолог в своей лачуге, поедая тушеное мясо из каких-то животных, которых он не кольцевал, устанавливал мелкоячеистые сети. Которые все в дырках.

Мы сели обедать на скамейку, окружив его со всех сторон. Он не стал кольцевать нас. Он не мог нас съесть. Но мы видели тех, кого он случайно раздавил, проверяя свои сети. Видели тех, кто, улепетывая от него с кольцом на лапе, был слишком дезориентирован, чтобы уклониться от хищника, прыгающего сверху или пикирующего снизу. У биолога был сарай, там он держал чучела животных. Сарай когда-нибудь, возможно, сгорит дотла, но то уже не наша забота.

Заботил нас только старый биолог, сидевший на скамейке и уплетавший свое рагу, запивавший его бульоном.

— Вкусно? — спросил я.

— Отменно, — ответил он, и на его лице отразилась его собственная слабость.

Мне хотелось спросить, зачем он убил зимородка и большерогую овцу, последнюю из своего стада, и набил их опилками, паклей и глиной. Но я не стал. Он бы наверняка ответил «чтобы сохранить», не понимая (или понимая, но лукавя), как глупо звучат такие слова в таком контексте. Поэтому я просто сказал:

— Нам нужна кое-какая информация о тебе.

Биолог стал возражать. На шее у него висел на кожаном ремешке бинокль, и мы слегка придушили его этим самым ремешком, и возражения вроде как унялись. Мы взяли у него кровь, взвесили, осветили его морщинистое лицо ярким светом. Он ничего не понимал. Как он мог? Мы и сами-то едва понимали друг друга. Сугубо по наитию, следуя непонятному ритуалу, мы погнали биолога в ночь. В ночи жили чудовища. Твари, которые никогда не будут изучены должным образом. Они устроили засаду. Биолог пытался отбиться от них биноклем. Его, голосящего на все лады, утащили в ночь, и где-то там, в ночи, сожрали. В этом не было нашей вины. Мы просто хотели получить у него информацию. Возможно,

эксперимент вышел из-под контроля.

Мы сожгли сети. Сожгли дом. А сарай пощадили. Я внял какому-то отклику, отзвуку — не знаю, откуда он ко мне пришел, то ли из будущего, то ли из прошлого.

Покончив с экспериментом, мы двинулись на север. Наше дыхание перехватывало, глаза покрывала белая патина льда.

Скорняков, которые держали наших арктических братьев и сестер в крохотных загонах, а потом заживо сдирали с них шкуру, мы согнали со скалы в заброшенную каменоломню. Лиса может быть подобна гончей. Лиса может быть такой, какой захочет, вопреки мифам. Сгрудившиеся на краю обрыва, умолявшие о пощаде, скорняки пытались продержаться как можно дольше. Но мы погнали их дальше. Они низвергались вниз неровными рядами, падали с небес на землю. Их крики разбивались о скалы, но мы к ним и так были глухи. Самый последний, самый краснолицый, размахивал руками и просил помиловать. Если бы только он не был с ног до головы одет в лисьи шкуры, может, мы смогли бы простить одну-единственную душу. Возможно, тогда, поняв свою ошибку, он освободил бы своих пленников. Но мы уже сделали это за него. А душа

— всего лишь иллюзия, укоренившаяся в теле. Ни одна иллюзия не сильнее смерти. Смерть — в конечном счете — куда более честна.

После того как все они оказались на дне, после того как кровь пропитала снег, стало ясно, что из их шкур уж не пошить шуб. Но кто, кроме неотесанного варвара, станет носить шкуру своего врага?

Согласен, какое-то время мною владело чистое безумие. Я не мог уняться, думая о них. Как напрасны были все их усилия. Никто из них так и не увидел меня настоящего — а как отчетливо их чуял и слышал я! Да по одному запаху о них я узнавал больше, чем они сами могли узнать о себе. Вот этот — умирает от рака. У того — опухоль мозга. Хриплое дыхание, потраченное впустую на мольбы, все равно что хрип предсмертный — до него уж недалеко. А что они знали обо мне? Только то, что я демон, пришедший убить их всех.

И для спасенных мной я был не меньшим злом. Они смывались, прыгая через тела павших своих палачей, утекали прочь, оставляя лишь липкую вонь страха. Потому что наши арктические сородичи не доверяли нам так же, как не доверяли людям; они видели, на что мы способны.

От них так сильно и долго воняло, что казалось,

будто они оставляют за собой огненные спирали в ночи. Ни один из освобожденных не присоединился к нам, не смог понять нашу миссию.

Лиса — это просто пленница, которая еще не сбежала.

У лисы, которую заметно днем, должно быть, что-то не так.

Лиса — это вопрос, на который нужно ответить.

Лиса — это паразит. Подлежащий расстрелу. Совершенно верно. Спусти собак, мой добрый друг. Сначала тренируй их на лисятах, иначе собаки никогда не научатся убивать взрослую лису. Фас! Апорт!

Лиса — это не просто лиса, лис не просто лис.

Мой крестовый поход начал мне самому казаться утомительным и по другим причинам. О, как эти мертвецы, жившие в домах на участках, где срубили большую часть деревьев, любили деревья. Как любили они прогуливаться среди деревьев. О деревьях — и о своей великой любви к ним — они слагали сказки. Возможно, лишь потому, что деревья не могли им возразить. Они ведь порой даже падали сами по себе, словно желая доказать свою любовь к топору. Цепная пила, что свалила большинство из них, всего-то воплотила

в жизнь невысказанную просьбу дерева.

И доказательство тому — тот факт, что деревья никогда не обращали бензопилы против тех, кто ими орудовал. У бензопил даже были имена — как будто они были в той же мере живыми, что и деревья, будто была у них некая индивидуальность. «Грета». «Берта». «Чарли». «Фрэнк». «Сара». Поэтому некоторых врагов мы валили при помощи бензопил, напоминая им, каково это на самом деле — быть деревом. Грязное дело. Непростое — что для них, что для нас.

Глупо со стороны лис делать все это. У нас не было рук. Мы не ходили прямо. Мы не созданы для использования человеческих инструментов. И все же мы сделали это, и сделали с блеском.

Ты сомневаешься во мне? Разве ты не видишь трупы, разбросанные там, перед моим мысленным взором? Неужели не можешь отличить правду от вымысла? Или тебя никогда не учили различать?

Я смеюсь не над тобой, а вместе с тобой. Вот только лисы не смеются, лишь ухмыляются. Знаешь ли ты, что означает ухмылка лисы?

Но я не был удовлетворен, ведя такую неравную войну с врагом. Я собрал великую освободительную армию и стоял в сумерках, глядя на

сверкающую равнину, где разбили лагерь люди. Они не знали, что мы их враги. Они пришли в это пустынное место, чтобы сразиться с другой армией людей. Таков был их путь — сражаться друг с другом, даже и ведя параллельную войну с нами. Но война против нас была случайным делом, быстрым, как мысль, но без мысли.

Я стоял над сверкающей долиной, над пыльной равниной и смотрел, как там собираются легионы. Армия, которая не считала себя армией. Даже когда они убивали нас быстро и небрежно, медленно и расчетливо. Отравляя тьму вечным и жестоким светом. Они не чувствовали запаха нашей крови, не слышали ни криков, ни стонов.

Мы напали на вас ночью. И вы подивились тому, что ваша добыча полна такой ярости, словно убийство стало подарком — от вас нам. Вас смущало то обстоятельство, что мы дрались насмерть. Что мы, оказывается, способны преодолеть животный инстинкт бегства, выживания, бездумного существования.

Мы штурмовали ворота. Мы умирали толпами. Мы погибали в осаде. Умирали внутри и снаружи. И все же — продвигались вперед. И все же нас хватало — на какой-то срок.

Даже в разгар битвы я чувствовал столько все-

го недоступного им. Электромагнитные поля. Следы, оставленные мышами-полевками, — пересекающие ночную землю, горящие зеленым светом. При такой-то связи с миром я никогда не потеряюсь. Для меня свет и отсутствие света были равны.

И все же я проиграл, потому что был человеком.

Убивать легко. Думаю, именно поэтому люди так часто это делают.

Но вскоре я понял свою ошибку. Я просто делал то, что делали со мной и моими близкими. Месть не была сладкой. Месть деформировалась. Я увидел свою ошибку и искупил ее, потому что я был плохим; революционером, превратившимся в террориста. Вскоре я снова был в походе со своей армией — на сей раз восстанавливая то, что мы разрушили, помогая людям отстраивать заново их города, зажигать их фонари, открывать магазины и запускать транспортные средства. И они были нам благодарны. Они благодарили нас, как всегда, и стало казаться, будто возникло некое чудовищное недоразумение. Мы-то думали, что они нас не любят, а оказалось — они любили нас, еще как любили, и говорили о том открыто.

Нет, дело не в этом. Все совсем не так. Кто в глу-

бине души способен простить массовых убийц? Вас было слишком много, а нас слишком мало. От рассвета и до заката могу я пожинать ваши жизни — и даже этим никогда не уравняю счет.

И все же я попытался понять вас. Я посещал светские мероприятия. Наблюдал за вами и обдумывал увиденное. На маскарадных шествиях, на вечеринках с коктейлями. На другой Земле, где вы, люди, собирались в общественных учреждениях и домах, чтобы выпить и поговорить, потому что все еще были учреждения, потому что все еще были у вас дома. Если бы я мог убивать людей, я мог бы замаскироваться под одного из них, влиться в их толпу. Соответствовать толпе — великое дело для людей, большая проблема. Нужно хвастаться домами. Хвастаться достатком. Вроде как для нас — помечать территорию.

На стенах этого дома медленно умирали бесполезные предметы. В этом доме воняло ядовитыми очистителями, еда воняла пестицидами, и люди тоже воняли пестицидами, но не знали об этом. Мне не пришлось никого из них убивать; большинство умирало и так, медленно, и даже не подозревало об этом. У большинства животы были набиты пластиком. Пластик будет копиться в их животах, пока через много лет, на

очередной встрече, при очередном распитии дорогого вина, их животы не лопнут — вот тогда-то весь накопленный пластик и выплеснется на пол. На какое-нибудь синтетическое напольное покрытие. Пластик и синтетика — извечные любовники. Не чините им препон.

На вечеринку приходили бизнесмены. Пообщаться с художниками, которые делали им на заказ удивительные скульптуры. Абстрактных животных. Миленьких животных. Хозяину дома очень нравилась ироничная таксидермия жертв наездов.

— Наезд — это не преднамеренное убийство. Так что никакого греха тут нет. Я просто возвращаю им красоту. — Так сказала женщина-таксидермист. Она тоже там была.

Я подумал, что бы она сказала, если бы я переехал ее насмерть, а потом вернул ей красоту. Собрал бы и сшил все ошметки. Никакого греха тут нет. Как бы она чувствовала себя, если бы после наезда осталась живой на какое-то время. Молила бы о том, чтобы промчалась еще одна машина и избавила ее от страданий? Вот бы спросить, но выдавать себя нельзя, так что придется делать вид, что порхание светской болтовни меня поистине увлекает.

— Что насчет погоды? — Но нельзя говорить о погоде на этой Земле. Погода испортилась. Погода стала предательницей.

— Что насчет спорта? — Но нет смысла говорить о спорте, ведь погода «подосрала» спорту.

О чем мы могли бы поговорить? Я похвалил хозяев за их дом. Тогда мой голос прозвучал хрипло. Я еще не привык говорить по-человечески. Мой голос был хриплым, и я посмотрел на голову бизона на стене, и охрип даже пуще прежнего. Я смотрел на замшелый камень, привезенный из другой страны, на воду, текущую из кранов, и хотел лишь одного — упасть на четвереньки и напиться из пруда. Всмотреться в свое отражение — и увидеть того, кем я был, а не того, кем стал.

— Ты купил это где-то здесь, или в Интернете заказал?

— Эта скатерть, созданная принудительным трудом, потрясающе смотрится на столе, обработанном формальдегидом в подпольной мастерской.

— Как прекрасен твой новый телефон, сделанный бедняками на другом континенте! Я слышала, они там умирают от голода, потому что фабрики по производству телефонов вытеснили все сельскохозяйственные угодья и загрязнили

леса — ну не умора ли?

Было приятно слышать такие откровенные разговоры, пусть даже и звучали они только в моей голове.

— А вы чем занимаетесь? — спросили меня.

— Восстанавливаю справедливость, — ответил я хрипло.

— Справедливость?

— Ну да. Вершу правосудие под покровом ночи.

— Ночью все кошки серы.

— Не только кошки, но и лисы, — заметил я.

И сбросил маску, и мои эмиссары рванули внутрь через специальное непрозрачное стекло, предостерегавшее птиц от столкновения с ним на лету — пустая трата денег, ведь машины, аэрозоли и пестициды владельцев дома извели всех птиц в округе.

Есть вопрос, который я должен задать, но я чувствую, что вы забыли ответ. Я чувствую, что сейчас нет смысла спрашивать.

За чем вы гонитесь? *Зачем* вы гонитесь? Вы когда-нибудь бегали по кругу, гоняясь за собственным хвостом? А если поджечь вам хвост, вы будете за ним гоняться? Кругами. Возвращаясь в одну и ту же точку. Возвращаясь…

…в огне, точно космическая капсула. Раскаленная добела. Зачем искать уязвимые места, если можно вытянуть все жилы, посмотреть, как дерево падает, а уж потом, на досуге, вдоволь бегать во мраке кругами.

Иногда смысл был не в охоте и не в убийстве. Иногда смысл был в том, чтобы уравновесить бесконечную горечь. Отмерить столько же. Беспокойства. Бесконечного непокоя. Пусть не знают они никогда отдыха, как никогда его не знаем мы — те, кому не дают просто жить своей жизнью. Пусть всегда они будут в бегах, пусть бегут неуклюже, оглядываясь через плечо, и да воцарится мир.

Это была не хижина. Это была нора. Мы знали, что они придут за нами. Но мы видели то, что не могли видеть они, мы знали больше, и к тому времени, когда они прибыли, нас там уже не было. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Мы сошли вниз — под сосновые иглы, под опад, грязь и известняк. Мы слышали, как ступают они по нам — громкие, неуклюжие. Мы рассеялись. Растворились, как дождевая вода в субстрате.

Чтобы спрятаться, я вернулся к себе. Через все потайные двери. Для этого я слегка расширил

границы своего тела. Я сотворил много версий самого себя. Мы размножались через норы. Мы выпрыгивали с другого их конца… всякий раз — в разных местах.

И я смотрел…

Я смотрел на Грейсон на пустой лунной базе. Она замерзала там. Никак не могла принять решение. Для этой Грейсон я стал шумом за углом, который заставил ее побледнеть, принял решение за нее. Для другой ее версии я прозвучал как тысяча вылупляющихся беспозвоночных выродков Компании — тех, что и опустошили базу подчистую. Может, для какой-то третьей Грейсон тишину так ничто и не нарушило. Может, третья Грейсон вообще предпочла миру одиночество, и Компания так и не достигла той версии Луны.

Я смотрел…

Я смотрел…

Я вернулся в себя. Упал в грязь, истекая кровью. В песок и грязь. Я стал есть лишайник со старого камня, с мертвого древесного ствола. Снова принялся охотиться на мышей. Извалялся в желтой траве и потрохах. И все равно меня не признали за своего. От меня ужасно пахло — человеком, не лисой. И я не мог избавиться от этого запаха. Для них я был пришельцем, спустившимся со

звезд. Лучше бы так оно и было. Жаль, что я не могу бежать вместе с ними. Не могу ничего не помнить. Не могу позволить Луне украсть мою память. Не могу навеки сгинуть в дурном сне.

Но я все равно вернулся к ним. Я вернулся в их сознание через их запах. Они обнюхивали меня и танцевали вокруг меня, а я все еще был сам на себя не похож. Не то что они.

И все же они остались со мной и последовали за мной.

Ты спрашиваешь, зачем спасать опустошенную Землю? Я чувствую этот запах на тебе, слышу его в твоем голосе. Твоя память пуста из-за жизни, которую ты прожила. Пуста лишь потому, что ты помогла ей стать такой, и не подумала хорошенько загодя.

Мы — бесконечны. А вот люди когда-нибудь придут к своему концу. Они не поймут даже — никогда, ни за что. Не поймут, что без нас они не существуют. Вымываются из существования. Становятся чем-то другим, необратимо. А когда меня не станет, что останется? Все.

Все — вот что останется после меня.

iii.

к моим возлюбленным отпрыскам

Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремать на гладких камнях, на мху,

на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремать на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без

неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость

от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и

воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. (Но мы чувствовали ее в земле, в мертвых листьях, в водах ручья, что бежал за грядой многоквартирных домов, и смотрели на солнце, на эту сияющую звезду, и хранили солнце в наших сердцах.) Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. (Знали, что вернемся туда, если проживем так долго.) Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. (Если бы только мы, изгои, могли выжить.) Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в ме-

ху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость

спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость

дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. (Видел ли я тебя сквозь ежевику? Один или два раза. Неужели я пробрался на опушку леса, чтобы наблюдать за фабрикой?) Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком. Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха. (Неужели я видел Темную Птицу за работой, но так ничего и не предпринял? И я был призраком? Был ли я так далеко, что все равно ничего не мог сделать? И что можно было сделать? Да ничего.) Мы жили в радости, в радости жить без помех, без преследований, без неестественной угрозы. Радость от бега. Радость от копания. Радость охоты на дождевых червей в грязи. Радость от ветра, играющего в меху. Радость от грязных лап. Радость спать рядом с самкой и выводком.

Радость лазания по деревьям. Радость купания в ручьях. Радость спаривания и воспитания детей. Радость рытья нор. Радость от игры в лугах. Радость ловить светлячков в сумерках. Радость дремоты на гладких камнях, на мху, на клумбах папоротников. Радость от теплого меха.

Но в конце концов радость не может противостоять злу. Радость может только напомнить, за что ты сражаешься.

Это не всегда был ты, здесь, в этой комнате, со мной, полумертвым, висящим на стене. Когда-то это были они, очень далеко отсюда. Те, забравшие меня. Откуда они меня забрали? Да из какого-то обычного места. Ты также не замечаешь, потому что на самом деле даже не видишь их. Ты живешь там, но можешь жить где угодно.

Моя жизнь была не так уж и хороша. Не по твоим меркам, конечно. Для тебя она была странной, слишком тихой, сделанной из пустоты и протяженности. Не в те ворота игра. Там, где я и не заметил бы забора, ты крепко бьешься о него лбом. Не можешь перемахнуть его даже в прыжке.

Я был древесным лисом, водяным лисом, я не был рожден для пустыни. В самую счастливую пору своей жизни я жил на острове, который

находился буквально в нескольких метрах от материка. Там была роща и пасмурный ручеек, уставший от людей, бросавших в него мусор. Ручей, выстланный по дну камнями, — приподнимешь один, а там вкусный рак притаился. Мне нравилось прыгать по речным камням на мелководье. Сидеть там, пока солнце пробивается сквозь деревья к воде, одаривая все сущее внезапным, но таким приятным вниманием, распространяясь и обнимая нас, поощряя рост нового и распад старого.

Солнце было звездой. Я знал это даже тогда. Я знал, что мы живем на планете. Я чувствую магнитные поля. Я чувствую, как вращается Земля. Я могу слушать, как болтают меж собой деревья, просматривать их собственную карту созвездий. Я знаю все куда лучше тебя. Лучше всех тех мудрецов, что написали об астрономии огромные труды.

У меня была самочка, и у нас были дети, и мы хорошо их воспитали, а потом они ушли, чтобы найти пары себе и приумножить наш род. Мы жили в пещерах, берлогах и заброшенных зданиях, увитых виноградными лозами. Всегда — близ реки. Всегда рядом с обласканными солнцем камнями.

И не было бы мгновения, подобного любому другому, как не было бы и ничего такого, что эти мгновения отличало.

Мы спали на деревьях, на ветвях, густо поросших мхом и папоротником. Это было наше ложе. Мы спали в жаркие сонные часы, вставали, чтобы поиграть, посидеть на солнышке и поохотиться на кроликов и мышей. Мы исследовали сердца заброшенных городов, вновь заросших сорняками и ежевикой, обживали оставленные кемпинги. Осмелев, мы стали много шуметь, но нам было все равно — особенно по ночам.

То, чего мы не знали, дитя мое. Но чувствовали. Причина, по которой мы начали предвкушать время, когда сможем быть по-настоящему беспечными: то был конец, а не середина, конец, а не начало. Время твоего рода подходило к концу. Мы знали это по оживленным местам, которые становились тихими, настороженными. Мы знали это по тому, как все меньше огней светило ночью, и по приросту бродячих собак (о, они такие неуклюжие, даже самые ловкие из них! Уж слишком сильно изменилась их исконная природа).

И все же ты кое-что у нас отнял. Даже тогда. Вымирание ожесточило тебя — возможно, и ты прознал о нем глубоко в душе своей.

Ты сжег часть леса на острове. Мы перебрались на материк. Мы жили в садах. Ты вырубил сады. Мы стали ютиться в тени газонов. Ты засыпал газоны гравием. Мы жили на крышах домов. Ты не мог забрать у нас небо; и его, и подземные ходы мы приберегли-таки для себя. На древе жизни людей мы висели яркими гирляндами — и люди умудрялись никогда не видеть нас.

Но мы-то видели.

Может быть, когда-то, давным-давно, здесь были мост и загрязненная речка. Может быть, однажды, в наших странствиях, мы проходили мимо охваченной огнем постройки. Может, мы знали. Может, я знал, что это значило.

Став беспечными, мы все-таки не дали себя погубить. Мы не попадались в капканы, под пули, не ели отраву. Человек всегда знал, как убить нас. Теперь люди роптали по всей стране. Недоуменные. Растерянные.

Тогда я был осторожен и мягок — юный, наивный. Я либо зарычал бы на тебя открыто, либо встал бы тихонечко в тени — и ты бы меня даже не заметил. Второе, конечно, лучше. Скорее всего.

Однажды меня похитили, и я стал Синим Лисом.

Меня привлекла какая-то летучая штука. Парящий дрон, сделанный из плоти и металла. Помню, я встал на задние лапы, чтобы получше его разглядеть. Как он сиял на солнце!

Люди явились гораздо позже. Тени. Металлический запах, как будто накликанный некими чарами. Звук из старого заброшенного здания, которое раньше всегда было безопасной территорией. Бледные люди, которые всегда приходят перед концом, которые сигнализируют о вторжении. И местные жители, завербованные ими. Говорящие глухими голосами и не отдающие себе отчета в том, что делают. До тех пор, пока их не вынуждают дать отчет. Люди, бездумно разрушающие собственные ареалы, отравляющие собственную пищу, притом — убежденные в собственной праведности.

Мне следовало быть осторожнее. Нет ничего такого, что нельзя услышать, если мир достаточно тих. И если мир не будет молчать, придется заставить себя умолкнуть. Так тихо. Что все звуки вокруг ничего не значат. Но я все равно ничего не слышал, по крайней мере в тот день. Попал в ловушку. Упал на пол в самом низу мира, кувыркаясь в темноте, на другой стороне, в чьих-то чужих угодьях.

В плече протянулась туго натянутая нить боли. Подступило головокружение, я зашатался и упал на листья и мох, в самую гущу улиток и дождевых червей. Там, внизу, где земля пахла раем.

Моя самочка наблюдала за ними из кустов. Она знала, что не сможет спасти меня, и я не хотел, чтобы она пыталась. И все же я смотрел на нее. Перед тем как сгинуть. Перед тем как раствориться, превратившись во что-то другое, не новое и не старое. Когда они увозили меня. Я все глядел ей в глаза.

Сентиментальная сказка. Сказка, о которой всегда нужно заботиться. А это значит, что тебе нет до нее дела. Почему же нам нет дела, если даже тебе есть дело?

Однажды я дошел до крайности, до самого края реальности, столкнувшись с невозможным. Я был болен своей силой, одурманен ею. Я думал, что нигде нет такого забора, за который я не пролезу — поверху ли, понизу ли. Думал — те места, что обнесены забором, на самом деле не опасны. Мой разум был диким местом, странные существа метались по нему в ночи. И я приветствовал их.

Ушел дальше даже того места, куда Компания всегда хотела меня отправить. Увидел больше, чем они от меня хотели. Возможно, это было

прошлое, а не будущее. Возможно, все ответы остались в прошлом, а может быть, время идет совсем не так, как мы думаем. Может, когда мы движемся, мы сами задаем точку отсчета, а не она задается нам. Числа пронизывают этот мир и делают его таким, какой он есть: 3, обратный отсчет от 10, 7, вереница нулей.

Поправ все барьеры и заслоны, я прибыл в мир, где Луна была огромной-преогромной, цвета слоновой кости, изрытой оспинами. Она даже заслоняла Солнце над тем зеркальным близнецом Земли. В том странном краю все было живым, и ничто не было мертвым, даже мертвые, и я, прокладывая путь, не мог уловить ни одного хоть бы и смутно знакомого запаха. Зато там все говорило со мной — камни, вода, песок, растения.

Там, в конечном счете, я и обрел свою цель. Там я снова преобразился — и окончательно стал Синим Лисом. Там, где все запахи сливаются воедино, и нельзя доверять своим чувствам.

То, что жило там, давным-давно лишилось имени. То, что жило там, меняло форму и очертания, и говорило разными голосами. Оно было создано как одно, но воспитано как другое. То, что жило там, было серьезным, игривым и одиноким, но притом — не одиноким. Оно знало меня и рань-

ше. Теперь оно знало меня еще лучше, читало мои мысли, мои намерения, поощряло их.

— На свершение твоих планов уйдет много времени, и при жизни ты их триумф не застанешь. И однажды время возвратит тебя сюда, в той или иной форме. В это самое место.

— Откуда ты знаешь?

Лишь смех служил мне ответом.

В конце концов, если враг под твоим натиском сильно изменился, если он тобою измотан — даже проигрыш не столь плох.

Такова моя мудрость, одна из множества познанных мною мудростей.

Однажды я разговаривал с тремя мертвыми астронавтами. В прошлом ли, в настоящем, в будущем? Такие гордые и решительные, такие… обреченные. Они поведали мне о своих планах. Они были так чисты. Они не спрашивали меня о моем прошлом, о том, откуда я пришел. И даже не думали, что я, вообще-то, могу на них походить, и весьма сильно. Но в итоге именно они послали меня туда, куда больше никто не хотел идти. Я понимал их гораздо лучше, чем они думали.

Теперь я могу говорить как Грейсон. Или как Чэнь. Быть может, даже как Мосс. Я мог бы заявить, что взываю к Левиафанам, к огромным

медведям и саламандрам. Я мог бы облаять тебя. Мог бы смолчать — и ранить тебя в темноте одним лишь запахом. Найдя по звукам, которые ты неосторожно оставил после себя.

Возможно, ты был прав, пригвоздив меня живьем к этой стенке в качестве трофея и предупреждения одновременно. Оригинальности в твоем поступке нет — одна Морокунья так уже поступала. Теперь она — живой мертвец, пережиток. Я от нее сбежал. Но само собой, в конце концов именно человек опять настиг меня. Какой-то человек. Которому было плевать, что у меня за дела. Который не помнил, что за дела я свершил. Он отрубил мне голову и прибил ее к стене обсерватории.

Да любой бы смог это сделать.

А я вот не смог защитить своих детей. Не смог защитить свою самочку. А она не смогла защитить меня, раз уж на то пошло. История этого не допустила. У истории были другие планы. Эти простые нужды — они принадлежат мне или им? Лужица воды. Поток. Саламандры в потоке. Вкусные дождевые черви. Нора. Мы все вместе, в норе.

Моя самочка. Мои детки. Они все мертвы вот уже триста лет как.

И я должен был умереть вместе с ними. Лис живет всего четыре года.

Но я больше не был лисом.

Люди убили меня. И сделали так, что воскрес я вновь.

Однажды я сбежал. Но было уже слишком поздно.

Призраки выходят по ночам, дитя мое. Вот только здесь они на самом деле не призраки, а глаза этого места. В безмолвном зале, под разрушенным куполом, в часы, когда вы спите без задних ног, до тех пор, пока утро не воскресит вас, являются призрачные образы — в особом спектре, недоступные глазам вашим. История этого места, данная в воспоминаниях, задерживается на какое-то время, а после — улетучивается, уступая место другому отрезку времени и другой порции памяти. Так — испокон веков, и вся разница в деталях. Во взлетах и падениях.

Но все это время, в сумерках, в тенях, мои сородичи тихо прокладывали себе путь. Покидали подземные туннели. Невиданные людскому глазу, они приступали к творению собственной истории, к утверждению собственных жизней, пока еще никем не записанных.

И я, пригвожденный к стене, ни живой, ни

мертвый. Я смотрю вниз на Чарли Икса и вижу, как призраки проходят сквозь него, смотрю на человеческие тени, на застывающее в янтаре минувшее. Бойня имела здесь место очень давно, с нынешних позиций она кажется каким-то затянувшимся танцевальным номером, в котором все принимали участие, не отдавая себе в том отчет. В конечном счете вы сами себя погубили. Нам просто нужно было продержаться подольше, вынести больше потерь. Чарли Икс никогда не был прагматичным, как лис, никогда не был сознательным, как лис.

Это воскрешение прошлого проходит по-своему мирно — ведь, как уже сказано, бойня произошла целые эпохи назад. Я чувствую внезапную потребность в отдыхе. Образы все танцуют свой меланхоличный несмышленый танец. Смерти, ссоры… все это — было, быльем поросло. А сейчас в этом месте так тихо. Так спокойно. Наверное, это конец.

Вся ирония в том, что я изменился, дитя. Сильно изменился. И я должен сказать тебе это. Должен загнать свой разум в капкан в надежде на то, что однажды ты увидишь лиса или хотя бы его след — и напишешь о том, что увидел. Как-нибудь это сохранишь. Каким-то образом придашь всему

этому значение.

Это, конечно же, никогда не произойдет. Не хочу и тешить себя надеждой. Но однажды, днем или ночью, ты заснешь и не проснешься, и пролетит время, и плоть, пожранная червями и мухами, сползет с твоих костей, и по тем костям… сочтут *мою* историю, а не твою.

Ведь она была моей с самого начала. Эта история.

Ослепительная голубая звезда вспыхивает над пустыней, озаряя все и вся. Лишь на мгновение проливая свой свет. А в свете том и в мгновении том — вечность.

Теперь, когда я иссякаю и становлюсь просто шкуркой зверька, приколоченной к стенке… я вижу все — и все понимаю. Вижу мою самочку и детей из давно минувших времен. Вижу, как резвятся они на берегу реки. Смотрю за ними с прохладного плоского камня. Вода и сама резвится меж камней. Солнце светит сквозь частокол деревьев, столетней давности сияние собирается в маленькие пятнышки. Так давно это было, несколько миров назад.

Я ощущаю края грубой прохладной норы, закапываюсь глубоко — и ухожу вглубь, в землю. Там, в прохладной земле, в уютной темноте, я и

отдохну. Лис умеет прятаться. По воле древнего рода своего, лис умеет ждать.

Когда-нибудь наступит час — тогда
освобожусь я раз и навсегда.

10. Мертвые астронавты

Компас, не знающий своего названия. Карта, не ведающая своих границ. Путешествие в поисках места назначения.

Мертвая астронавтка на побережье. Ее ноги устали, а ступни болят. Она видит только одним глазом. Другой видит то, чего нет. У нее саднит плечо и постоянно ноют колени.

На это ушли годы, а не месяцы. На нее напали враги, которых она не могла знать. С неба, из-под земли. Сбитая с курса, она все же победила всех: убила или убежала, или спряталась. Сразила клинком или съежилась в тени, когда огромная туша топала мимо. Пистолет она давным-давно выбросила, скормила пескам — ибо стал он бесполезен.

Океанский бриз, налетающий из-за песчаного гребня впереди, омывает ее лицо с такой нежностью, что в доброте своей — почти жесток. От соленого привкуса ветра ей хочется пускать слюни, хоть во рту и пусто.

Она опустошена. Ее кожа обрела пепельно-серый оттенок, седая щетка волос почернела от копоти. В горле у нее пересохло, кожа рук потрес-

калась и покрылась мозолями. Конец так близко, что она, пусть и без слез, плачет от облегчения. Конец — это уже хоть что-то. Ее тело сотрясают эмоции, которым она даже не способна более дать имя.

Женщина, бредущая вверх по гребню, — маленькая, и все возможные нехватки сказались на ней. Нехватка воды, нехватка пищи, недостача общения. В последнее время она говорила только с темными птицеподобными дронами, кружащими в вышине, слетающими резко вниз для проверки, не распознающими в ней угрозы. Этот мертвый пейзаж кругом — достоверное отражение того, что царит в ее душе.

Она делает маленькие шаги с необходимым минимумом усилий. Одна нога вперед, другая нога вперед. Бредет в сторону побережья. Все ее нужды легко уместятся на кончике иглы, и иголку эту без особых сожалений можно забросить в какой-нибудь стог сена.

Только теперь она поняла, кто она такая.

Оживет ли ее голос? Потрескивает — будто глотка заржавела.

Безграничная, обжигающая синева на мгновение ослепляет ее.

На вершине дюны мертвая астронавтка дро-

жит. Лохмотья скафандра треплет ветер. Она шатается, кажется — вот-вот упадет. Но не падает.

Впереди простерлась тонкая полоска хорошо знакомого пляжа, золотого с черными крапинками, и умиротворенная бухта с неподвижной водой, темно-синяя, облепленная водорослями по краям, испещренная глубокими приливными бассейнами. Ландшафт казался призрачным. Доступным лишь наивным глазам, горящим зеленым огнем, — тем, пред чьим взглядом горизонт, как и прежде, безграничен.

Но… здесь нет руин. Нет полуразрушенных арочных ворот океанариума. Ни одного доступного памяти ориентира.

Она медлит. Окидывает царство песка и водорослей, и все, что простерлось за ним, неспешным взглядом.

Что-то движется — там, на скалах? Можно пока не отвлекаться. Пока не отвечать на этот вопрос. И она сосредотачивается на волочении своих полусогнутых ног по песку.

Сначала одна. Потом другая. Ее взгляд уперся в собственные рваные башмаки, обмотанные окровавленными бинтами, позаимствованными у мертвеца.

И вот она на пляже. Горячие дюны пустыни так непохожи на шершавый гравийный берег.

Мертвая астронавтка поднимает глаза от ног идущей. Придется взглянуть ей в глаза. И не найти в них то, что так искомо. Так ведь?

Внутренняя дрожь не находит отражения на лице астронавтки, но она дрожит — и боится, что этот страшный тремор никогда не отпустит.

Идущая останавливается у приливного бассейна. Склоняется, чтобы посмотреть на что-то в его глубинах. Солнце скрывает ее, спасает от выжигающего взгляда мертвой астронавтки. Она прикрывает глаза дрожащей рукой. Все еще непонятно, кто эта девушка. Возможно, вообще никто. Она никого не знала. Возможно, это не имеет значения. Какой-то трюк, последняя шутка Синего Лиса. Мираж, рожденный из ее неверий и мольб, все еще блуждавших где-то в лисьем сознании.

Что же ждет впереди — узнавание или страшная пустота космических недр, возвращенная зеркальным отражением? Она ведь никогда не покидала лунную базу. Никогда не рисковала вернуться на Землю в поисках счастья, о котором она думала как о чем-то навечно закрытом от нее.

Если это всего лишь игра света… она просто

отправится дальше. Заплутает где-нибудь. Будет идти до тех пор, пока не упадет, чтобы больше никогда не подняться.

Ей требуются последние крупицы мужества, чтобы продолжить. Чтобы дойти до края скал. Девушка у бассейна, кажется, не подозревает о ее присутствии. Мертвая астронавтка уставилась на свое отражение в приливных водах, как будто ей было больно смотреть прямо.

Все эти прекрасные создания в приливных бассейнах. О которых Компания никогда не узнает. Которых Компания никогда не коснется. В их силах создать что-то новое, что-то вечное. Вернуться в море. Процветать и размножаться. Как это все странно, но в то же время — мудро и чутко. Любящий бог позаботится о них. Бог, который достаточно умен, чтобы со временем удалиться.

Девушка выпрямляется, напрягается — заметила, что кто-то смотрит. На ней очень старый плащ, и волосы у нее короткие — совсем не такие, какими запомнила их мертвая астронавтка. Девушка поворачивается, но даже так солнце скрадывает черты ее лица.

Мертвая астронавтка — вещь неодушевленная, ничем не лучше топляка, разве что топляк обретает-таки покой рано или поздно. Но она не

отводит взгляда.

Девушка приближается, из солнечного ореола выступая в обычный смертный свет. Неужели… правда? Она сомневается. Сильные сомнения гложут ее, но если они правы — к чему все это? Осознание того, что она столь многое позабыла о своей любви, причиняет страдания.

— Ты меня знаешь? — говорит она девушке, что стоит перед ней. Она даже не знает, произнесла ли хоть слово. Она трепещет от яркого света, льющегося отовсюду, всепроникающего, от которого ничто уже не утаишь. Разве может она знать ее? Ее никто не знает уже много лет.

— Мосс?

Что-то незнакомое в лице девушки толкает мертвую астронавтку на этот вопрос. Что-то, чему нет места в памяти.

— Извините, но я не Мосс, — откликается девушка. — Меня зовут Сара.

Должно быть, лицо мертвой астронавтки выдало ее.

— Сара. — В этот раз — тверже. Блеск этих зеленых глаз, уверенность, в них живущая. Ужасно. Пусто. Безотрадно. Упав, мертвячка рассекает ладони о кораллы и скалы. Но — радуется боли, виду крови, холодному прикосновению воды.

Девушка тут же оказывается рядом, хватает ее — телесный контакт навевает куда больше воспоминаний, чем голос.

— Простите-простите! Я не хотела… честно… — Ее голос срывается в бормотание. Точно не она. Но от простой встречи с таким же человеческим существом на душе все же ощутимо легче.

— Вы давно так идете? У вас такой вид…

Астронавтка издает смешок — сухой, резкий.

— Не так давно. Недавно.

— А Мосс, подруга ваша… она жила здесь?

— Давным-давно. Когда-то.

— Она много для вас значила. — Это не вопрос.

Астронавтка кивает. Она не может заглянуть в голову Сары. Странное это чувство — одурение пополам с облегчением.

— И я похожа на нее? — озадаченно спрашивает Сара, будто решая загадку.

— О да.

Сара медлит, будто оценивая про себя некие риски.

Затем — обнимает мертвую астронавтку, пусть мягко, но крепко. Она не обязана, в конце концов, и астронавтка даже противится ей, пробует вырваться, но потом — обмякает. Нет больше сил быть сильной.

— Давайте я принесу вам что-нибудь поесть. И воды, — говорит Сара. — Ждите здесь, я сейчас вернусь!

Она уходит, и мертвая астронавтка старается не цепляться за нее и сохранить хоть какое-то чувство собственного достоинства. Нет смысла умолять ее задержаться. Надо проявить доверие.

Она ждет там, пока вода дразнится и плюется на камни. Вот какая-то одинокая птица дрейфует от берега, к ней присоединяется вторая. Ветер, бьющий в лицо, усиливается.

О, радость моя, что я буду делать без тебя?

Все и ничего.

И все же здесь, в приливных бассейнах, полных всякой причудливой жизни, так много от Мосс, и в Саре от Мосс тоже так много… Осознание причиняет боль, но она борется с ней. Возможно, если выбросить старую Мосс из головы, убрать ее образ с глаз долой, на освободившемся месте взрастет что-то новое.

Где-то там могла быть Грейсон, погибшая в пустыне безо всякой надежды. Где-то еще могла быть Грейсон, которой даже Сару не довелось повстречать. Где-то могла быть Грейсон, страдавшая меньше, но желавшая большего.

Но мертвая астронавтка оставалась в мило-

сердной неопределенности где-то между этими точками на карте — и пребудет там всегда.

Грейсон застыла, не в силах и шелохнуться после столь долгого пребывания в движении. После гальванизирующего тепла объятий Сары. Которая, сама того не ведая, сказала ей столь многое, ничего не утаив. О радостях жизни. Радостях жизни без помех, без преследований. Без неестественных угроз. Без. Если ей вообще позволено думать о каких-то там радостях.

История продолжалась бы и без нее, без Компании, Лиса и всего остального. И все же их поиски продолжались. Даже без них самих. Будущее все равно останется будущим, в той или иной форме. Пока мертвая астронавтка не состарится. Или до конца света. В зависимости от того, что наступит раньше.

Грейсон лежала на мокром песке, глядя в безоблачное небо над берегом моря.

Чэнь стоял в прибое, глядя на волны. Она видела его своим больным глазом. Она всегда могла его видеть. Руку она держала в кармане, пальцы стискивали клочок бумаги, оставленный им. Стоит ли вернуть его Чэню? Стоит ли ей прочесть то, что там написано? Или просто встать и крепко обнять его? Слова давно уже растворились в

пустоте. Сложенная бумажка дарила сухое, грубоватое касание, прошедшее вместе с ней многие тысячи миль.

Мы всегда будем рядом. Даже до того, как мы узнаем тебя.

Даже после того, как узнаем тебя. Даже тогда.

И теперь наконец-то она была свободна.

Клочок бумаги, найденный в костюме Чэня

они прибыли в город
под злою звездой
не нуждались в тепле —
в них самих жил огонь
то, и так чем богаты
нет нам смысла давать
мощью первого взгляда
дано убивать
смысла нет никакого
за весь мир нам трястись
вот они снова дома —
все знаменья сошлись.
и пусть нет в лице качества
страшной школе под стать
два начала пытаются
единением стать
тенью стать рукотворною
необъятных пространств
но для синего моря —
блажь, порок, ассонанс
внять разметке родителя,

что дитя позабыл
дара путь — и дарителя
слишком тягостен был
ведь любой путь кончается,
всякой жизни есть срок,
жуткий недуг скрывается
в красоте — между строк.
слишком много заплатим мы
за то чудо — внутри,
небосвод держат подмости,
пошатни — и прозри.
обжигающей скорости
и покою-смиренности
никогда уже полностью
не сберечь неизменности
никогда, повторяю я,
не хранить неизменность им
до скончанья времен
там, где слаб — я силен
рубикон жизни/смерти
обретенный в огне
под сиянием звездным
под движеньем планет
и в своем одиночестве
я лишен одиночества
и в своем поражении

ты победу урви,
только ради любви.

От автора

Выражаю беспорядочную благодарность всем тем, кто прочел эту вещь еще до отправки в печать: Джулии Эллиот, Гвинет Лим, Грегу Басету, Энн Вандермеер, Рите Бульвинкль, Эми Брейди, Эльвии Уилк, Элисон Спирлинг, Тимоти Мортону, Джонатану Вуду и Джейсону Сэнфорду.

Я также в долгу перед кафедрами биологии и экологии колледжей имени Хобарта и имени Уильяма Смита за беседы с преподавателями и студентами, что повлияли на этот роман; еще — перед выдающейся защитницей окружающей среды Эрикой Корин Бродерхаузен. Спасибо и организаторам фестиваля Bloom 2019-го года за публикацию отрывка из главы «Не забыть» в программном буклете сего мероприятия.

Благодарен я и тем милостивым и терпеливым мертвым астронавтам, что до сих пор трудятся в миссиях от лица MSD/FSG[12]. Да благоволит вам

[12] Примечания: 12

Нью-йоркское подразделение издательства Farrar, Straus & Giroux, специализирующееся на необычно оформленных изданиях экспериментальных, нетрадиционных художественных произведений.

корюшка, и впредь не знайте горюшка[13].

[13] Примечания: 13

В оригинале «may the eel always favor you, and no ill eel come to you» — дословно: «Да благоволит вам угорь, и пусть ни один больной («плохой», как вариант) угорь не встретится вам». Автор обыгрывает одинаковое звучание слов eel («угорь») и ill («больной, плохой»). В переводе на русский ради донесения авторского каламбура угрем пришлось пожертвовать.